

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

5/2018

Содержание

ПРОЗА

Николай САМОХИН. Любовь без мягкого знака. Маленькая повесть.	3
Мария ШВЕЦОВА. Истоки. Рассказы.	32
Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ. Жертва. Рассказ.	47
Татьяна САПРЫКИНА. Померанец. Рассказ.	60
Геннадий БАШКУЕВ. Чемодан из Хайлара. Роман с одушевленными предметами. <i>Продолжение.</i>	69
Михаил СМИРНОВ. Позднее возвращение. Рассказ.	119

ПОЭЗИЯ

Светлана КЕКОВА. «Бабочка бьется в стекло...» Стихи.	65
Василий РЫСЕНКОВ. Срок давности. Стихи.	115
Иван ПОЛТОРАЦКИЙ. Советские стихи. Стихи.	133

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Александр ПЛИТЧЕНКО. Дальнее синее море. Стихи.	136
---	-----

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Константин ГАПОНЕНКО. Наши вернулись!	143
---	-----

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Сергей КУНЯЕВ. Русский беркут. Главы из книги.	156
--	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Сергей МОСИЕНКО. О блондинках и ангелах Александра Шурица.	187
--	-----

Авторы номера	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Щукин.

В феврале этого года в новосибирском Доме актера прошла церемония награждения лауреатов премии имени Н. Я. Самохина, которая была учреждена Новосибирским фондом культуры в 2014 году.

Николай Яковлевич Самохин — классик сибирской литературы, мастер юмористического рассказа, крупный прозаик, оставивший заметный след и в публицистике. Практически все его прозаические произведения впервые были опубликованы на страницах «Сибирских огней». Несколько лет он работал ответственным секретарем журнала.

В этом году на соискание премии им. Самохина было подано 86 заявок со всего Сибирского федерального округа, а в шорт-лист вошло 16 человек. Работы анонимно предлагались для оценки компетентному жюри: главному редактору журналов «Алтай» и «Культура Алтайского края» Ларисе Вигандт (Барнаул), главному редактору журнала «Огни Кузбасса» Сергею Донбаю (Кемерово), писателю Владимиру Костину (Томск) и председателю Новосибирского отделения Союза писателей Анатолию Шалину.

Спонсором премии выступило ЗАО «Ломмета»; наградной фонд составил 50 000 рублей: 1-е место — 25 000 рублей, 2-е место — 15 000 рублей, 3-е место — 10 000 рублей. Церемония награждения была организована Товариществом сибирских драматургов «ДрамСиб» при участии книжного магазина «Плиний Старший» и новосибирских отделений Союза писателей и Союза театральных деятелей России.

В церемонии также приняла участие дочь писателя Софья Самохина, а живой голос самого Николая Яковлевича прозвучал с аудиозаписи, сделанной Евгением Иорданским на творческой встрече со студентами Водного института в 1986 году.

Итак, лауреатами стали: Мария Швецова, Новосибирск (1-е место); Вероника Шелленберг, Омск (2-е место); Татьяна Сапрыкина, Новосибирск (3-е место). Сегодня мы публикуем малоизвестную раннюю повесть Николая Самохина «Любовь без мягкого знака» и работы лауреатов премии его имени.

Николай САМОХИН

ЛЮБОВЬ БЕЗ МЯГКОГО ЗНАКА

Маленькая повесть

Клавдия Федоровна достает из портфеля стопку синих тетрадей и низко склоняется над ними.

— Митя Агарков!

Я встаю.

— Я поставила тебе четверку, Митя, — говорит Клавдия Федоровна. — Ты опять написал слово «любовь» без мягкого знака.

I.

Вагон наш был уже полный под завязку, а в дверь все лезли и лезли с чемоданами, с мешками, с орущими ребятишками.

— Что за проклятый вагон! — сказал Женька. — Прямо как в разруху.

— Тринадцатый, — ответил Алексеич. — Дополнительный.

Объявили, что до отхода поезда остается две минуты. Я опустил оконное стекло и, обдирая локти, полез наружу.

— Решит брючишки, вражий сын! — ахнула мама.

Они с Кручинихой стояли на перроне, в одинаково подвязанных платочках, и щурили глаза, стараясь разглядеть нас за мутным стеклом.

Настасья Филипповна сразу же вцепилась в мой рукав и запричитала:

— Митенька, уж вы там вместе, родной. Доглядывай за ней, ради Христа. Только с тобой и отпускаю.

Во мне вдруг шевельнулась досада на эту женщину, всегда испуганную и глуповатую, но я сдержался и бойко сказал:

— Есть, тетя Настя! Глаз сводить не буду.

И смутился, представив, что мать и Кручиниха подумали о втором смысле этих нечаянных слов.

Полинка протиснулась в тамбур и махала мне рукой: трогаемся. Я подставил матери щеку и, на ходу ловя ее «Пиши, вражий сын!», схватился за поручни.

Тамбур скоро очистился, и мы с Полиной остались одни.

Тогда она хитро посмотрела на меня:

— А раньше сводил?

— Чего?

— Глаза.

Ага. Запомнила.

— Вот что, Кручинина, — пробормотал я. — Слышала материнский наказ? Допустим, мне чихать на тебя, но с меня спросят.

— Митенька, — дурашливо пропела она. — Ты — надежда, ты — опора, ты — скала...

— Поля! — сказал я.

— Ох, Митенька, я серьезно.

Выглянул Алексеич и скомандовал:

— Дети, в купе!

Женька разложил уже на второй полке хлеб, колбасу, откупорил две бутылки пива.

— Будем обмывать товарищество, — сказал Алексеич.

Ужасно он предупредительный. Подсадил Полинку на полку, пододвинул бутерброд, разостлал газету. Потом налил всем пива и провозгласил первый тост:

— Чтобы поезд не свалился под откос.

Женька усмехнулся, сощутив свои красивые серые глаза. Снизу на нас неодобрительно поглядывали взрослые: разгулялась молодежь. Мы с Полинкой засмутились. Женьке и Алексеичу хоть бы что. Они люди бывалые, «шаромыжники»: из школы рабочей молодежи. Я знаю, что у них спрятана бутылка напитка покрепче, но они щадят нашу единственную даму. А может быть, и меня.

Вот наше товарищество. Самый старший — Алексеич. Бывший черноморский моряк, бывший шахтер. Удивительно добродушный. Наверное, это от силы! Меня он поднимает одной рукой. Когда Алексеичу вручали аттестат зрелости, он вздохнул:

— Ну вот и документальное подтверждение.

Его я узнал через Женьку. А с Женькой встретился весной, на тренировке. Тренер наш всех новичков испытывал на испуг.

— Два раунда по две минуты! — сказал он и подмигнул мне.

Я добросовестно избил Женьку. Он снял перчатки, промокнул рассеченную бровь и усмехнулся. Потом мы сдружились.

Четвертый член товарищества — Полинка. Парни с нею познакомились только сегодня, на вокзале. Когда она отошла к матери, всегда хладнокровный Женька сдвинул кепку на затылок и негромко присвистнул. А Алексеич весело сказал:

— Так вот она какая, Полинка!

И взъерошил мне волосы.

Какая она? Кто она? Что она такое для меня? Вот ребятам все ясно: Полинка — моя девочка. И матери хорошо. Она твердо уверена: Полинка — моя невеста. Наверняка они с Кручинихой по дороге с вокзала обсудят нашу жизнь лет на десять вперед.

Только все не так просто. Товариществу, например, не объяснишь. Разве расскажешь им про то, как я впервые увидел ее? На школьном крыльце стояла незнакомая девчонка, и солнце горело в ее волосах. И солнце тонуло в неправдоподобно зеленых глазах и дробилось в улыбке. С этого дня время мое поделилось на неровные отрезки: с ней и без нее.



Я ложился и торопил сон. Вставал и улыбался: я ее увижу. Мы вместе ходили в школу, вместе возвращались обратно. И даже если я встречал ее четвертый раз в один и тот же день, сердце мое все равно радостно вздрагивало.

В седьмом классе я не сказал ей только два слова: «Давай дружить». Другие ребята говорили девочкам эти слова или писали записки. А мы так хорошо дружили, и я думал, что слова не нужны. Но Полинка ждала их. И ей написал записку хулиган и тупица Кузьминых. Написал и увел самую красивую девочку в школе, мою Полинку, мое открытие.

Кузьминых через год выгнали из школы. Он пырнул кого-то ножом. А у Полинки стали меняться кавалеры. Ее провожали с вечеров и водили в кино рослые парни в тренировочных брюках и волосатых кепках с подрезанными козырьками: спортсмены. От ревности и отчаяния я занялся боксом. Неделями носил кровоподтеки и ссадины, но освоил эту жестокую науку.

Наверное, надо было драться. Разбивать вдрызг морды чемпионам в кепках с недоразвитыми козырьками. А я тянул Полинку по математике. И по физике. До самого аттестата. Репетитор я, дорогие мои, мужественные товарищи! Преданный и незаметный друг легкомысленных девиц!

Я самый счастливый человек на свете! Это случилось вчера. Мы шли из кино, и Полинка вдруг задумчиво сказала:

— Если бы тогда ты написал мне записку, Митя, мы все это время были бы вместе. Ты ведь нравился мне больше других мальчишек.

Я тут же обругал себя как мог и, наверное, сильно побледнел, потому что Полинка даже взяла меня за руку:

— Ну что ты, — сказала она ласково, — что ты?! Ну хочешь, мы поженимся? Вот только перейдем на второй курс — и поженимся?

— Хочу, — пробормотал я.

Вот что такое для меня Полинка.

Но довольно об этом. Пока что картина такова: есть битком набитый прицепной вагон № 13. В этом вагоне на верхних полках едут четверо завоевателей. В карманах у них аттестаты зрелости, в чемоданах — справочники для поступающих в высшие учебные заведения. Впереди — большой город и неясное будущее. И мы разговариваем об этом будущем.

Алексей: Мне бы только на троечки. У меня льгота матросская. Только бы на троечки, а там я эту науку дорубаю.

Женька: Попробуем. Попытка не пытка. Электролизный цех все равно от меня никуда не уйдет.

Полинка: Больше всего физики боюсь... и сочинения. Ой, мальчишки! Я с этой полки обязательно ночью грохнусь!

Я: Нельзя тебе падать — медкомиссию не пройдешь.

II.

Толпа на перроне быстро растаяла. Как сквозь землю провалилась. Стало просторно и, наверное, поэтому очень тихо. Все звуки отпрыгнули разом и по одному вернулись издалека. Вздохнул где-то паровоз, заворковал голубь высоко под крышей вокзала, провезли тележку с багажом по соседнему перрону.



Потом, спугивая тишину, прямо над нами щелкнул громкоговори-
тель:

— Московское время — четыре часа!

Ну вот, а местное, значит, восемь.

Полинка поежилась.

— Дать куртку? — спросил я.

Она мотнула головой: не надо.

— Какое сегодня число? — спросил Алексеич.

— Двадцать четвертое июля тысяча девятьсот пятьдесят третьего
года, — ответил Женька.

— Ну, пошли.

И мы тоже провалились сквозь землю. Нырнули с перрона вниз,
миновали освещенные переходы, две короткие лестницы и через зал ожи-
дания вышли на площадь.

— Оглянитесь, братцы! — сказал Алексеич.

Мы оглянулись и теперь увидели вокзал во всей красе: огромное бе-
лое здание, с башней посередине. Опираясь на два крыла-лапы, оно слов-
но лезло вверх, прорастая сквозь асфальт площади и гранит лестниц.

— Один из лучших в Союзе, — похвастался Алексеич.

Повернулись обратно — ничего особенного. Разворачивается на пло-
щади старенький красный трамвай, а рядом человек тридцать пассажиров
придавили к оградке сквера одинокое такси и бьют его чемоданами.

Нам-то спешить некуда. Мы пешком идем. Женька несет Полинкин
чемоданчик. Как будто это мои обязанности. Мог сообразить. И когда
он успел? Женька останавливается закурить, и я беру чемодан. Он при-
курил, схватил рукой воздух и сделал вид, что ничего не заметил.

Но теперь я так забаррикадирован, что идти со мной рядом нельзя.
И Полинка берет под руку Женьку. Быстро освоилась! Правда, разго-
варивает она при этом с Алексеичем. Смешно так обращается к нему на
«вы».

— Вы, Алексеич, — говорит она, — были здесь, да?

— А где я не был? — отвечает он и кивает головой налево: — Цирк
городской... Я даже в Сан-Франциско был.

— Правда?! — изумляется Полинка. — Наверное, страшно инте-
ресно?

— Ничего, любопытно, — соглашается Алексеич и машет рукой на-
право: — Госдрамтеатр. Бывшее купеческое собрание...

Мы глазеем на драмтеатр — бывшее купеческое собрание.

— А прямо, — показывает дальше Алексеич, — проспект Сталина.

— Как у нас, — говорит Полинка. — Только у нас — улица.

— Как везде, — добавляет Женька.

Странный город. Интересный. От вокзала тянулись деревянные
дома, одноэтажные, с аккуратными калиточками. Если бы не асфальт
кругом — самая раздеревенская улица. А машин побольше, чем у нас на
главном проспекте.

А теперь пошли большие, каменные. И разные. Вперемежку с «ку-
печескими собраниями» — новые громадины, вроде вокзала.



Огромный, видимо, город. Все идем, идем. Посидели в скверике, возле фонтана. Полюбовались оперным театром — тоже одним из лучших в Союзе. Зашли в столовую, поели сосисок.

— И пятую часть не протопали, — сообщает Алексеич.

И вдруг — длинноногий деревянный мост через крутой овраг, и склоны у оврага тоже деревянные — вымощенные домами, домишками, засыпухами, барачками, сараюшками. Такой Шанхай — куда там наша Вторая Болотная улица.

А за мостом...

— А за мостом, — говорит Алексеич, — я и сам не знаю что.

Ничего, язык до Киева доведет.

— Гражданин, где здесь институт связи?

— А все прямо и прямо...

— Тетя, далеко ли до института связи?

— Далеко, милые. Как базар пройдете, там и спросите.

— Пацан, мы по этой улице к институту попадем?

— Уперлись уже, а все спрашивают! Ну и темнота!

Застыдившись, мы поворачиваем к большому красному зданию.

— Эй, студенты! — насмешливо кричит мальчишка. — Не туда поплыли! Вот он, ваш институт, напротив!

Напротив из-за курганов строительного мусора выглядывает облупленная казарма со входом, взятым напрокат у средней руки дворца.

— У-у-у, — разочарованно протянула Поинка.

— Общежития у них наверняка тю-тю, — сказал Женька.

— Да вы что, братцы? — заволновался Алексеич. — Институт новый. Отгрохают еще. Первый сорт будет. Вот увидите.

Алексеич заперевивал: со связью — это его идея. Но «братцы» молчали, и он нерешительно сказал:

— Может, все-таки зайдем потолкуем?

Идти «толковать» выпало мне и Алексеичу.

Кабинет у директора оказался маленький, временный. Директор весь серый: глаза — серые, волосы — серые, серый двубортный пиджачок — сидел на шатком стуле с выщербленной спинкой. Нам достались две табуретки.

Директор долго не мог понять, почему мы заявили к нему, а не в приемную комиссию.

— Так что вас, собственно, интересует? — недружелюбно спросил он.

Мы замычали. А что нас, собственно, интересовало? Хотели поговорить — о том о сем.

Серый директор тихонько вздохнул и скучным голосом нарисовал обстановку: общежития нет, лабораторий не хватает, учиться будем в две смены. Конечно, все со временем утрясется, а пока вот так... Похоже было, что он не очень-то нас агитировал.

Мы извинились и вышли.

Поинка и Женька о чем-то спорили. Поинка смеялась и качала головой — не соглашалась. Тогда Женька подбросил монету. Монета прыгала по тротуару, и он прижал ее ногой.

— Решка, — подходя, сказал я.

Женька убрал ногу.

— Орел.

— Значит, будем поступать? — спросила Полинка.

Они все стояли на узком тротуаре так, что мне места не оставалось. И я взобрался на кучу битого кирпича. И вдруг, как это вышло — не понимаю, я произнес речь. Настоящую. Даже размахивал руками и стучал себя в грудь.

Я сказал, что всегда представлял институт храмом науки. Видел каждую аудиторию. Любил каждую ступеньку. Мечтал о том, как буду приходить в него по утрам, открывать высокие двери с тяжелыми медными ручками. Вдыхать его запахи. Слушать его тишину...

Словом, Митю Агаркова прорвало. Полинка смотрела на меня круглыми глазами. Даже рот приоткрыла. У Алексеича медленно лезла вверх левая бровь. На мгновение мне стало неудобно перед насмешливым Женькой, и я осекся.

Но Женька поднял голову и задумчиво сказал:

— А на ручках — солнце...

— На каких ручках? — спросил Алексеич.

— Да на медных, на медных! — нетерпеливо притопнула ногой Полинка.

— Тыфу ты! — Алексеич резко сел на свой рундучок. — Заморочили совсем! Что делать-то будем?

— Поступать, — ответил я. — В другой. В медицинский, например. Медицинский здесь — сила.

— Слушай, — сказал Алексеич Женьке. — Ты какой-то теткой хвалился. Помнишь? Говорил, в Барышево живет.

— Тетя Маруся, — уточнил Женька. — Полчаса на электричке. Солености, маринованности, лес и речка.

— Вези! — распорядился Алексеич. — Так нельзя, честное слово! Обалдеть можно. С поезда, устали. Вот отдохнем, пескарей половим, заночуем. А завтра пораскинем на свежую голову.

Женькина тетка поставила на стол кастрюлю с картошкой, из которой ударил столб пара. Потом кастрюлю начали окружать посудины поменьше: блюдо с помидорами, с малосольными огурчиками, с грибочками, тарелка с селедкой, с баклажанной икрой.

Алексеич перемигнулся с Женькой и достал из рундучка заветную бутылку. Тетя Маруся расхрабрилась, махнула рукой: «А, да когда ж такое дело!» — и выпила вместе с нами. Потом все подналегли на закуску.

Тетка не спускала ревнивых глаз с Полинки. Она прямо истекала нежностью.

— Кушай, деточка. Кушай, красавица. Кушай, сердечко мое. Женечка, подложи ей помидорчиков. Шо ж ты сидишь, как тот пень? Девушка с дороги, проголодалась...

Вот так всегда. Стоит Полинке появиться в чьем-то доме, где есть мама, тетка или бабушка, как ее начинают примерять в невесты. Иногда мне хочется очутиться на необитаемом острове. Чтобы только я и По-

линка. И больше никого. Никаких теток и мам, никаких друзей, никаких трамваев, где разные пижоны пялят на нее глаза.

Полинка опрокинула на скатерть свою недопитую рюмку и растерянно прикусила губу.

— Ах ты родная моя! — прямо сомлела от восторга тетка. — Та бог с ней, со скатертью! Та гори она синим пламенем, чтоб из-за нее расстраиваться!

Нас с Алексеичем тетка вообще не замечает. Так, сидят два рта, пережевывают ее огурцы, и все. И вообще наш квартет она разделила по своему: приехал в гости племянник, а с ним такая красавица!

Впрочем, Алексеича это вовсе не смущает. Он деловито подкладывает себе картошки, отколупывает здоровенный кусок масла, тянет поближе блюдо с помидорами. И вдруг, не дожидаясь, когда тетя Маруся кончит свои причитания, спрашивает:

— Это что ж, супруг ваш будет? — и показывает на большой портрет усатого мужчины.

— А? — встрепенулась тетка. — Это кто? Муж, шоб ему очи повывлазили, заразе.

— Мгу, — говорит Алексеич, поддевая селедку.

— Мотается по белому свету неизвестно где, вражина!

— Мгу, — говорит Алексеич и пинает меня ногой под столом.

Теперь мне ясен его маневр: отвлечь огонь на себя и дать Полинке спокойно поесть...

А потом мы собрались на речку. Тетя Маруся сказала:

— Всё вниз и вниз, огородами!

Мы и пошли огородами, по узкой стежке. Впереди Полинка, за ней я и Женька, позади всех Алексеич с удочкой.

— Может, действительно, в медицинский? — спросил я. — Как, трудящиеся?

— Правильно, давайте в медицинский, — сразу откликнулась Полинка.

Она повернулась к нам лицом и, отступая пятками вперед, смешно подбоченилась:

— Доктор Кручинина! Здорово, да?

— Шикарно, — сказал я. — Смотри не трахнись затылком, доктор Кручинина.

Полинка показала язык и прошлась чечеткой.

Алексеич повернул ладонями вверх огромные, как лопаты, руки и, с удивлением рассматривая их, спросил:

— Вот этими... больных лечить?

— Почему этими? Главным образом вот этим, — постучал я по лбу. — Головой зовется, между прочим.

— Ладно, старик, — сказал Женька. — Давай завтра об этом. В медицинский так в медицинский. Придем — посмотрим. Ты опять речь скажешь — и подадимся в строительный.

Речка оказалась тихой и приятной на вид. Только этот берег был крутоват. Он уходил в воду двумя песчаными ступеньками. Я быстро раз-

делся и прыгнул ласточкой прямо с верхней ступеньки. Наверное, треть речушки я прошел под водой и потом только вынырнул.

— Как вода, Мить? — крикнула Полинка.

— Молоко, — сказал я. — Не лезь в глубину.

— А я с Женей. Он меня плавать поучит. Поучишь, да?

У Женьки стройная, гимнастическая фигура. Хоть сейчас на плакат. Чего он поперся в секцию бокса?

— Махнем на ту сторону? — предложил я.

Женька, щурясь на закатное солнышко, покачал головой:

— Соревнуйся один. У меня место твердое — второе после топора.

Второе после топора, а берется учить! Ну ладно. Я поплыл красивым, идеальным кролем — пусть посмотрят, как это делается.

Я плыл и плыл, пока не зацепил пальцами дно. И тогда лишь встал на ноги. Черта с два они любовались моим кролем. Алексеич поймал пескаря, и они бежали посмотреть, держась за руки.

«Вот что, парень, — сказал я себе, — не психуй. Запомни — товарищество. Ничего здесь такого нет. Уловил? То-то».

«Может, они поцеловаться вздумают — тебе какое дело?» — думал я, пересекая речку еще раз.

«Непринужденные отношения! — Я развернулся для третьего заплыва. — Чисто дружеские! Понял?»

Когда я наконец выбрался на берег, у меня стремительно колотилось сердце и дрожали руки.

Алексеич поймал еще двух пескарей...

III.

Мы опять шли от вокзала пешком. В павильоне возле цирка съели по пирожку. Алексеич предложил еще выпить портвейна, но Женька сказал:

— Правильно. А потом дружно дыхнем на приемную комиссию?

По другую сторону железных ворот цирка стоял тир.

— Стрельнем, ребята? — предложил Женька.

Со вчерашнего дня у них с Алексеичем на лицах выражение вроде: «А черт его знает». И они что-то тянут, цепляются за каждую мелочь. Медицинский, что ли, их так смутил?

Мы выстрелили по три раза. Алексеич все промазал, расстроился и закурил.

— Слон — толстая шкура! — сказал Женька и сбил слона.

Потом он так же небрежно поразил медведя-кузнеца и пикирующий самолет.

Я долго прицеливался в какого-то селезня. На третий раз почему-то угодил в мельницу, которая, на радость всем, закрутилась, и не сознался, что попал случайно.

Полинка защурила не тот глаз и сказала:

— Говорят, они там всех в анатомку водят. Брр... А сами ходят и в глаза заглядывают. У кого в глазах туман, того к экзаменам не допускают.

— В голове у тебя туман, — сказал я. — Молчи лучше, а то промахнешься.

Полинка замолчала, но все равно промахнулась и виновато посмотрела на Женьку.

— Наплевать, — усмехнулся Женька. — Это у них ружья такие... непристрелянные. Ну-ка, дай. — Он взял ружье, рассеянно взвесил его на руке и сказал: — Ну да, это влево забирает.

Видели его? Ворошиловский стрелок! Зверобой!

А Полинка рассмеялась. Что за дурацкая манера у нее смеяться? Смеется и как-то вопросительно заглядывает в глаза. Будто это не ее расшумели, а она. Будто проверяет — нет ли там тумана?

Мы прошли драмтеатр, библиотеку, уже сверкнул впереди чешуйчатый купол оперного, как вдруг из боковой улицы навстречу нам вышагал... Даже не скажешь сразу, кто вышагал. Шел высокий, красивый парень, в настоящих матросских клешах, в черном кителе с узенькими погончиками, в мичманке с крабом и — черт возьми! — в белых перчатках.

— Ого! — ошеломленно протянул Женька.

— Тридцать четыре, — сказал Алексеич, посмотрев на идеально заутюженные клеша.

А Полинка совсем уж бессовестно уставилась на парня. Он заметил это и чуть-чуть улыбнулся.

— Братцы, — хлопнул себя по лбу Алексеич. — Совсем забыл! Здесь же где-то рядом водный институт. Может, свернем, для интересу?

И мы свернули. И сразу увидели его: высокое белое здание, окруженное сквером, и разбежавшиеся на три стороны ступени лестницы.

...На каждом повороте длинного коридора были приклеены красивые стрелки с надписью: «Приемная комиссия».

— Тут не заблудишься, — сказал Алексеич, с неуклюжей осторожностью ступая по ковровой дорожке. — Ай-ай-ай! Вот храм так храм, Митя! Без подмесу!

В приемной мы потонули в мягких кожаных креслах и завертели головами, рассматривая макеты белых теплоходов, каких-то диковинных приземистых машин, картины, на которых голубели речные просторы и уютнообразные буксиры тянули баржи. Все это восхищало, ошарашивало, било наповал.

А председатель, седой, с тонким насмешливым лицом, деликатно журчал:

— ...Не торопитесь, обдумайте, взвесьте. Профессию человек выбирает на всю жизнь. Надо выбрать ее по душе. Институт наш готовит...

Он поднес нам рекламную брошюру и выпроводил в коридор — подумать. Мы вышли и уставились друг на друга. Наступил ответственный, исторический момент. Полинка с интересом перебежала глазами по нашим лицам — мужчины решали свою и ее судьбу.

— Ну? — подал голос Женька.

— А что «ну»? — сказал Алексеич. — Может, ты с детства мечтал романсы петь? Может, заботливые учителя развили в тебе талант к астрономии? Копайся не копайся — сто рублей не выкопаешь! Пошли!

Мы сели, теперь уже за длинный стол. Секретарша, студентка в форменном платье, с двумя угольничками на рукаве (второкурсница, видно), раздала нам по листку бумаги, для заявлений.



И тут обнаружилось, что перед каждым из нас три дороги на разные факультеты. Деликатного председателя мы прослушали, в коридоре этот факт не обсудили. Еще раз советоваться — неудобно. Надо решать в одиночку.

— Кем был Владимир Черданцев на славном Тихоокеанском флоте? — забормотал Алексеич, не поднимая глаз от бумаги. — На славном Тихоокеанском флоте Владимир Черданцев был судовым мотористом.

И он написал: судомеханический.

Женька покусал ручку и негромко спросил у секретарши:

— Девушка, есть тут разница в коэффициентах проходимости?

— Что? — не поняла она.

— Где конкурс меньше?

— На эксплуатационном, — сказала девушка, улыбнувшись.

— Ну что? — сердито спросил Женька, взглянув на меня. — Программа минимум — поступить. А там видно будет.

Я опустил глаза.

Судомеханический — это звучало слишком узко. Эксплуатационный — я почему-то сразу представил себе конторские столы, сводки и арифмометры. Гидротехнический — солидное название. Гидро-технический. Гидро-технический.

Девушка-секретарша склонилась надо мной и прошептала:

— На гидротехнический больше всего заявлений.

Я пожал плечами.

Полинка все еще думала. Крутила на палец светлую прядь и смотрела исподлобья на меня, на Женьку, на меня. Я загадал: если напишет — гидротехнический, мы сдадим экзамены, и выдержим конкурс, и перейдем на второй курс...

«Эксплуатационный», — вывела Полинка.

— Интересно, кем мы станем? — шепотом спросила она.

— Инженерами, во всяком случае, — ответил я. — Это уж точно.

IV.

— Ну как же ты, Митя?! Ну смотри: вот лиловый. Что же ты? Вот к оранжевому ближе. Правда ведь, ребята, ближе к оранжевому?

Ребята молчали. Полинка расстроено опустила на колени учебник физики.

— Урод — вот и все объяснение. Чего там... — сказал я.

Из нашего товарищества выбито первое звено. Это звено — я. Полчаса назад меня забраковали на медицинской комиссии. Вот уж чего не ожидал.

— Раздевайтесь, — сказала врач. — До пояса.

Я разделся. Прослушивала и выстукивала она меня с пятого на десятое. Я, конечно, не такой гигант, как Алексеич, но ведь сразу же видно закалочку.

— На юге загорали? — спросила врач.

— А что такое юг? — небрежно шевельнул плечом я.

Она рассмеялась.



Потом отошла в угол и стала шепотом произносить разные слова. По-моему, даже слишком громко. Проверила зрение.

— Не надо, не надо! — сказала, когда я начал читать самый нижний ряд букв.

А под конец раскрыла учебник физики на последней страничке — там, где вытнут полосочками солнечный спектр.

— Какой цвет?

Я назвал.

— А это?

Я опять назвал.

— Ну, а это?

И ткнула пальцем в какое-то хилое пятнышко. Я протер глаза. Черт его знает: не то зеленоватый, не то светло-коричневый.

— Ну, ну, — сказала она. — Это какой?

И снова палец ее замер на квадратике между двумя основными цветами.

Я молчал.

— Да-а, — протянула врач. — Как ни жаль, а документы придется вернуть. Нельзя вам учиться в нашем институте.

— Из-за таких пустяков? — спросил я как можно спокойнее.

— Хороши пустяки! На реке, товарищ, обстановка. Белые бакены. Красные бакены.

— Но ведь я же на гидрофак поступаю, — попытался я схватиться за последнюю ниточку.

— Неважно, — строго сказала она. — А если случится война? И вам поручат вести земснаряд? Что?

— Ничего. — Я еще заставил себя усмехнуться. — Война все спит. Куда за документами?..

— А я, братцы, билеты в цирк купил, — сказал Алексеич. — На четверых...

— А он взял и умер, — сказал Женька. — Что ты его хоронишь?

— Я не хороню. Обидно просто. Там один при мне через двое очков смотрел — и ничего, пропустили.

— Конкурс, — сказал Женька. — У него дальтонизм. У тебя могли заворот кишок обнаружить. И привет.

Алексеич пропустил «заворот» мимо ушей. Он соображал вслух:

— Надо ему к декану пойти. Рассказать все: так, мол, и так. Говорят, декан у гидротехников справедливый. Я его видел. Лысый такой, здоровенный. На Стеньку Разина похож...

Странное у меня состояние. Вот сидят ребята, разговаривают обо мне в третьем лице. Еще не чужими, но уже далекими-далекими кажутся. Даже расположились на скамейке отдельно. А я — ломоть отрезанный. Торчу в стороне на заборчике. И так мне тоскливо. Оттого, что остался вдруг один. Оттого, что Полинка сидит не рядом, а напротив, между парнями, и смотрит на меня как на приговоренного. А больше всего оттого, что снова надо мне что-то решать. И еще, как назло, гидротехнический факультет кажется теперь самым лучшим на свете.

— Не пойду я к Стеньке Разину. И в цирк — тоже. А вы идите. Чего вам из-за меня сохнуть? Идите. Загоните лишний билет — купите даме мороженого...

Я чувствую, что меня разносит. Сейчас наговорю им обидного, а они не виноваты. Вон Поинка уже надула губы, а у Женьки удивленно светлеют глаза. Чтобы замаять неловкость, я начинаю валять дурака.

— Пойду я лучше к физкультурнику. Прицеплю значок, мускулатуру продемонстрирую. Пусть вытягивает будущего чемпиона. Может, мне к нему для убедительности на руках войти, а? Вот так? — И я жму стойку прямо на земле.

А через несколько часов я впервые поссорился с Поинкой. Они, конечно, ушли в цирк. А я, понятно, ни у какого физкультурника не был. Проболтался по городу и вернулся в общежитие к вечеру. Ребят в комнате не было. Я постучал к Поинке.

Дверь открыла какая-то бледность в кудряшках и кокетливо сказала: — А ее нет.

«Ладно, — зло подумал я. — Ладно. Черт с вами...» И снова ушел на улицу. Просто невозможно было сидеть одному в пустой комнате.

Я брел вдоль институтского скверика в самом раскисленном состоянии и мечтал: вот сейчас неслышно подойдет Поинка, тронет за руку, так, как только умеет она одна, и скажет: «Ну куда ты пропал, Митька? Я тебя везде обыскалась». И тогда я осторожно уберу с ее лба эту бесконечно милую прядь и буду смотреть, как медленно она опадает обратно. А Поинка, забавно выпятив нижнюю губу, дунет на волосы, чтобы они не закрывали левый глаз.

А потом мы будем сидеть на скамейке, близко, плечом к плечу, и молчать. Потому что совсем не надо сейчас говорить и давать мне какие-то советы...

Так, без остановки, я и примечтал в дурацкую историю...

Это была типичная сцена. Здоровый подвыпивший парень, расставив руки, загородил дорогу девчонке. Девчонка сначала пяtilась от него, пока не коснулась спиной штaketника. Тогда она решила, видимо, прорваться.

— Пустите! Да пустите же! — отчаянно колотила она его книжкой по рукам.

А что такому бугаю эти удары?

— Вот это ко-о-осы! — дурашливо тянул он и не опускал рук.

Косы, действительно, были редкостные. Темно-русые, толщиной каждая в руку, они, казалось, даже голову девчонки оттягивали назад.

— Эй, друг, — тронул я за плечо парня. — Ну чего ты к ней привязался?

Он повернулся и, как-то дико всхлипнув, изо всей силы ударил меня в ухо. Я почувствовал, как мотнулась в сторону голова, ослеп на мгновение и в следующий момент получил еще один удар, который отбросил меня к ограде. Теперь мы оказались лицом к лицу и я увидел глаза парня. Может, свет луны так окрасил их, но это были страшные, побелевшие от бешенства глаза.

«Убьет», — подумал я.

— И-эх! — крикнул парень и, отскочив, занес обе руки.

И тут я встретил его левой в солнечное сплетение. Встретил скорее машинально, но, видно, попал точно. Парень как-то сразу обмяк. Тогда я, собрав силы, дважды ударил его в подбородок, и каждый удар звоном отозвался в моей голове. Он сел на тротуар сразу, будто из него вынули кости.

— Вам больно? — подбежала ко мне девчонка.

Теперь я понял, почему она откидывает назад голову. Это не из-за кос. Это от привычки смотреть снизу вверх: девчонка была совсем маленького роста. Маленькая и тонкая, как стебелек.

— Ничего, — сказал я. — Пойдем отсюда... Пойдем.

Мы прошли несколько шагов, и я подтолкнул ее в темную аллею.

— Пойдем сюда...

— Вы что? — встревожилась она. — Вы испугались?

— Нет... не в этом дело.

Мне не хотелось объяснять ей, что если этот верзила встанет, а он встанет, то будет безобразная, звериная драка, с кровью и катанием по земле. И мой бокс вряд ли поможет — я только что понял это.

На подбородок побежала теплая струйка крови.

— Давайте я... — потянулась девчонка, вытащив откуда-то из рукава малюсенький платок.

— Не порть платок. — Я сорвал листик и вытер кровь. — Ты откуда?

— Из Киева.

Она сказала мягко — «с Киева».

— Нет. Я про другое. Здесь откуда?

— А вон. — Она показала глазами на освещенные окна института. — Поступаю.

— Ага. Ну пойдем — провожу. Зачем же ходишь одна так поздно? Здесь не Киев.

— Где это тебя, старик? — испуганно спросил Женька, приподнимаясь.

Они сидели втроем и пили чай. Хозяйничала, наверное, Полинка, потому что тумбочка была уставлена баночками-скляночками.

— Подрался, — буркнул я. — За девушку вступился.

— За девушку? — сказала Полинка и вроде бы даже растерянно опустила стакан.

И здесь такая жгучая обида вдруг затопила мое сердце! На комиссии забраковали! Какой-то гад ни за что набил морду! Дружья тоже хороши — цирк им дороже!

А теперь и Полинка! Ну зачем она так? Неужели думает, что я слепой? Не замечаю, как они, забываясь, смотрят друг на друга с Женькой? А если слепой, и дурак, и все мне только кажется, то почему она сегодня тоже ушла?! Почему не случилось то, о чем мечтал я в сквере?!

— Да, за девушку! — вызывающе сказал я, почти крикнул, и прямо посмотрел ей в глаза. — За очень красивую! Из Киева. Мы с ней отлично погуляли. Папа у нее, между прочим, в Киеве — генерал!



Папу-генерала я непонятно зачем придумал только что. И вид у меня был, наверное, отчаянно глупый, потому что Алексеич вскочил, оттеснил меня в угол и умоляюще зашептал:

— Что ты, Митяй? Митя, зачем ты так? За одну девушку вступился. Другую обижаешь!

А Полинка встала, теперь уже и в самом деле растерянная, и вышла из комнаты.

Остались на тумбочке баночки-скляночки.

Утром к нам пожаловала комендантша. Мы еще лежали под одеялами. Правда, Женька и Алексеич уже с книжками в руках.

— Долго спите, молодежь, — физкультурным голосом сказала комендантша и прицелилась глазом на Женькин «Беломор». — Не возражаете? — решительно вытряхнула она последнюю папиросу.

Женька не стал возражать.

— Кто староста комнаты? — спросила комендантша, прикуривая.

Староста был я.

— А который из вас Агарков?

Агарков тоже был я.

— Сдадите постель кастелянше, Агарков, — сказала она, — с одиннадцати до часу.

И вышла. Осталось только перистое облачко дыма.

— Как сон, как утренний туман, — сказал Женька.

Я встал и начал одеваться. Ребята почему-то вели себя абсолютно спокойно. Ни гу-гу. Только когда я взялся за дверную ручку, Алексеич заметил ласковым голосом:

— За документами, Митя, рановато.

— Ничего, — бодро сказал я. — Подышу воздухом.

В скверике, на полукруглой площадке, спиной к цветнику стояла вчерашняя девчонка. А перед ней на скамейке сидело... раз, два, три, четыре, пять. Мамочка! Шесть парней. Вот это свита! Где только они вчера были, голубчики?

Девчонка, видимо, держала свой секстет в строгости. Дирижируя худенькой ручкой, она читала им книгу, и рыцари преданно смотрели ей в рот. Между прочим, косы у нее оказались не темно-русыми, как мне показалось в сумерках, а классически каштановыми, если, конечно, этот цвет так назывался. А глаза — классически голубыми.

— Здравствуйте, — приветливо сказала она. — Хотите с нами заниматься? У нас бригада.

— Гутен морген! — ответил я. — Нет, спасибо. У меня собственный метод. Индивидуальный.

— Вы, наверное, уже приготовились? — вздохнула девчонка.

— Да-а, в основном. Прогнал на четыре раза.

Парни смотрели на меня, как вьючные мулы на своего необъезженного собрата.

Я сделал ручкой и с независимым видом зашагал прочь.

— Кому непонятно, мальчишки? — скучным голосом спросила за моей спиной девчонка.

Я ушел в глубину сквера, выбрал скамейку, достал из кармана справочник для поступающих, лист чистой бумаги и принялся решать невеселый кроссворд. Выписал все здешние институты, с адресами и факультетами. Торопиться мне было некуда, и я красиво выводил:

1. Инженерно-строительный
 - а) архитектурный,
 - б) ПГС,
 - в) гидротехнический,
 - г) канализация и водоснабжение.

Потом стал вычеркивать. Исключил педагогический, загадочный НИИГАиК. Поставил большой жирный крест на водном. Скоро незачеркнутыми остались два слова: инженерно-строительный, гидротехнический.

Здесь, в дальнем уголке скверика, уже можно было заметить, как рождается осень. Один желтый лист, а может, он был ближе к оранжевому, даже сорвался и, перевернувшись несколько раз, стукнулся о дорожку зубчатым своим боком. И сразу на том месте, где он висел, образовалась дырочка, и в нее стало видно одно из институтских окон. Я прикинул по вертикали — приблизительно пятый этаж. На четвертом и пятом — общежитие. Прикинул по горизонтали — получилось, что окно Полинкино. Я постарался не шевелить головой — откроется окно или нет?

Какой-то проспавший утренний холодок парень делал обстоятельную зарядку. Он пробежал мимо меня, высоко и правильно вскидывая бедро. Потом еще раз. Окно все не открывалось. Парень закончил третий круг. Выдыхательно помахал руками, сел рядом.

Заглянул в мой листочек и громко сказал:

— В строительный документы уже не принимают. Я знаю, у меня туда кореш поступает...

Я промолчал.

— А на гидрофак — тем более, — добавил он. — Там конкурс — шесть человек.

Я зачеркнул последние два слова и поднялся. Теперь было вполне не рано забирать документы.

В комнате приемной комиссии сидела только секретарша, та самая, с золотыми нашивками на рукаве.

— Агарков, Агарков, — сказала она. — Что-то такое, не могу вспомнить... Да! Вас просили зайти в деканат.

— Ничего не понимаю, — сердито сказал декан. — Вы же почти круглый отличник — и забираете документы. Передумали? Так у нас другие факультеты есть. Да и поздно передумывать.

Я объяснил ему, в чем дело. Декан слушал, приговаривая «так-так», и вроде веселел. Потом, неожиданно переходя на «ты», спросил:

— Что ж, черное от белого не отличаешь?

— Черное от белого отличаю, — сказал я.



— Какой цвет? — вдруг ткнул он кривым мундштуком трубки в карту, прямо в Советский Союз.

— Красный.

— А это? — Он поднял авторучку.

— Голубой.

— А лысина моя какого цвета? — закричал декан.

— Голова у вас розовая, — сказал я.

— Голова! — фыркнул декан. — Какого же они черта!..

Я пояснил, что путаюсь только в оттенках.

— Ишь ты, — явно издеваясь, сказал декан. — Серьезный недостаток. А ну-ка, пойдете к этой мадам.

Уже в коридоре он остановился и, больно взяв меня за руку, сказал:

— Кстати, дорогой, как будущему гидротехнику, вам надлежит запомнить: земснаряд никуда вести не надо. Это судно не управляемое, а буксируемое. Го-ло-ва!

...Алексеич зубрил физику.

— Ну? — отбросив учебник, спросил он. — Помог лысина?

— Мировой дядька! — сообщил я, не успев даже подумать, откуда он знает, что я был у декана. — Просто замечательный дядька!

— А ну-ка, какой цвет? — спросил Женька, поднимая синюю учебную тетрадь.

— Черный цвет! Зеленый! Бутылочный! Серо-буро-малиновый! Черт полосатый! — Я повалил Женьку на кровать и начал дубасить кулаками по спине. — Коричневый! Бордовый!..

— Митя, — остановил меня Алексеич. — Побереги энергию. Физика послезавтра.

Да, послезавтра физика — первый экзамен.

А я не прочитал ни странички. И как раз по физике-то у меня четверка.

— Физик у нас, ребята, между прочим, был... Враг народа.

— Ого! — сказал Женька. — Школу поджег?

— Да нет. В тюрьме за что-то сидел. И вообще темная личность.

Я ему на экзамене трансформатор сжег.

— Двойка? — спросил Женька.

— Нет, четверка.

— Ну какой же он враг народа? Это ты враг прогресса.

— Заткнитесь, — сказал Алексеич и встал.

И сразу половина комнаты стала полосатой из-за его тельняшки.

— Ты, Митя, когда последний раз шамал?

— Вчера утром.

— Вот, — покачал головой Алексеич, — видали йога? Давай за Полинкой — и в столовую. Ну что ты окаменел, генеральский зять? Давай, давай, она же еще ничего не знает. Да есть у тебя совесть или нет?

И чуть не выдвинул меня за дверь вместе с кроватью, за которую я уцепился.

Наверное, это был такой счастливый день. Полина первым делом обследовала мое ухо.

— Распухло. Будешь еще гулять с посторонними красавицами?

— Ладно, — сказал я. — Довожу до сведения: был у декана...

— Он был, — дернула плечом Полинка. — Да Алексеич и Женя еще вчера к нему ходили. Сразу же, перед цирком. Съел?

Я съел. Проглотил не пережевывая. Ну хватит! Идиотских положений больше не будет. Отходил в несчастеньких. Оттенки кончились. Начинаются основные цвета — экзамены.

V.

— Хорошо-о! — говорит Алексеич с какой-то зыбкой бодростью, словно только что выскочил из-под холодного душа. — Ух, хорошо.

Хорошо... Впрочем, у него-то не совсем. У него — посредственно. У меня — отлично. Мы с ним сдали физику. Женька с Полинкой написали сочинение. Они в другом потоке.

Мы сейчас все в одном потоке — в уличном. Мы шагаем легко и четко, как на параде, и милиционеры сигналият нам полосатыми, как Алексеичева тельняшка, жезлами: путь открыт!

Все пути открыты! Все дороги ясны. Прав Алексеич: хорошо жить на свете! Только... Только впереди идет Полинка — узкоплечая, стройная, с тонкими, изящными, как у танцовщицы, руками. Она знает, что мы смотрим на нее, и дурачится. Надела мохнатую кепку Алексеича, чуть пританцовывает на ходу и через плечо улыбается нам, морща нос.

— Ах, ребятишки, ребятишки, — совсем уж растроганно бормочет Алексеич и обнимает меня за плечи. — Никогда больше не ссорьтесь. Слышишь, Митя?

Ах, милый человек, Алексеич! Неужели он совсем ничего не замечает? Не видит, как все дальше и дальше уходит от меня Полинка?

«Женя рассказывал... Женя считает... Женя передумал... Женя, Женя, Женя!» — без счета повторяет она. Просто удивительно, когда успел молчальник Женька рассказать ей столько историй, высказать столько мнений, обнаружить столько желаний?

Я осторожно высвободил плечо из-под тяжелой руки Алексеича. Успокойтесь, дорогой товарищ Черданцев! Кажется, мы никогда больше не поссоримся.

В кинотеатре Полинка вдруг закапризничала.

— Ты сядешь рядом со мной, — сказала она.

— Мне и здесь хорошо, — ответил я, оставляя между нами Женьку и потом Алексеича.

— Нет, ты сядешь с этой стороны. — Полинка бросила кепку на крайнее кресло. — Вот сюда.

Наступило замешательство. Ребята стояли. Алексеич простодушно улыбался. На лице у него было написано совершенно определенно: ну что ж ты, чудак, ломаешься? Женька, как и я, понял, наверное, смысл



этой вспышки. Он терпеливо ждал, слишком пристально рассматривая экран.

Я обошел ряд кругом, поднял кепку, сел и сказал как мог просто:

— С Алексеичем бы я мнениями обменивался по ходу. Не люблю, понимаешь, молча смотреть.

— А? — повернулась Полинка. — Мнениями? Поговоришь со мной...

Жужжит за спиной движок. Тянется через весь зал тоненький желтый лучик. На экране мужественный человек красиво любит растерявшуюся, беспомощную женщину. А если скосить глаза чуть в сторону, то можно разглядеть, как в темноте встретились их руки.

«Хорошо поговорили», — думаю я и незаметно вытираю слезы мохнатой кепкой Алексеича.

— Побродим? — предлагает Женька и переводит ожидающий взгляд с меня на Алексеича.

— Нет, — говорит Алексеич. — Я на боковую. Эх, и спать же буду сегодня!

Полинка смотрит вниз, молчит и вращает туфельку, словно растирая что-то на асфальте. Они стоят близко друг к другу, напротив нас, и я чувствую, как вырастает между нами стенка, по неписаным законам которой мне тоже полагается зевнуть и присоединиться к Алексеичу. Но я заставляю какую-то пружину внутри себя распрявиться, шагаю через вязкую пустоту, беру Полинку под руку.

— Побродим, — говорю я и твердо гляжу на Женьку.

Женька опускает глаза:

— Нет, пожалуй, и я — спать.

...Мы гуляем с Полинкой. Мы добросовестно обходим кругом институт. Девятьсот сорок восемь шагов. И ни одного слова. Второй такой круг я не выдержу. Я завою.

— Домой, Поля?

— Да.

Вот и кончился первый день экзаменов.

VI.

Алексеич, оказывается, любит оперетту. Мы собрались на «Сильву». Он в этот день получил очередную тройку, но все равно до самого вечера насвистывал «Без женщин жить нельзя на свете, нет...»

— Оперетка вообще-то не первый сорт — хабаровская, — сияя, говорит он. — Ну ничего — зато оперный здешний посмотрим... «Сильва, ты меня не любишь!..»

К нам поселили четвертого. Его зовут Гена. Он из Якутии. Кажется, парень ничего. Тихий, розовощекий. Все хочет с нами подружиться. По вечерам организовывает чай. Приносит батоны, любительскую колбасу в прозрачной бумажной обертке и деньги не берет. Мне Гена одолжил пиджак. Увидел, что я натягиваю куртку, и сказал:



— Возьми надень.

Пиджак был только чуть-чуть узковат в плечах, а так подходящий. И еще Гена понацеплял для чего-то столько разных значков, что хватило бы четверым спортсменам. Я попробовал снять их. Нехорошо. Все лацканы в дырках. Привинтил обратно.

— Готов? — спросил Алексеич. — Силен! Полный георгиевский кавалер!

И тут вошел Женька. Прислонился плечом к косяку, будто в гостях, и сказал:

— Поговорить надо. Выйдем.

Я вышел.

— Не опоздайте! — крикнул Алексеич.

Женька-то не опоздает. Он в театр не идет. У него завтра математика.

— Ну говори, о чем хотел.

Женька шел молча, засунув руки в карманы. Мы спустились вниз, прошли через сквер, мимо поликлиники, оставили позади кино «Пионер». Женька сутулился и все прибавлял шагу.

— Может, за город пойдем? — спросил я, догоняя Женьку.

И тогда он остановился прямо на улице, в самом людном месте. Его зацепили плечом, толкнули в спину. Он не заметил.

Я не сразу понял, откуда у него веснушки. Крупные, отчетливые: стоит дунуть, и они посыпятся со щек.

Потом я сообразил: Женька просто бледный. Бледный как мел.

— Брось свою опеку, Митя, — тихо сказал Женька. — Слышишь?

Его еще раз толкнули, и он снова не заметил.

— Не ходи за ней больше. Она сама тебе не скажет. Не умеет она. И мучается. Понимаешь?

Она!

Тебя!

Не любит! — ударил он меня три раза.

Веснушки его вдруг поплыли у меня в глазах. Я повернулся и пошел в обратную сторону.

Женька догнал меня, схватил за рукав:

— Митя! Подожди. Ну что же делать? Встретишь другую девушку. Митька!

— Ладно! — сказал я. — Все! Не переживай! Квиты мы!

Он не понял.

— В расчете, — сказал я. — Два раунда по две минуты!

— Ах ты! — выдохнул Женька.

Я резко выдернул руку и прыгнул в трогаящийся автобус...

В пустом автобусе гудит ветер. Встречные машины с коротким рываньем проносятся мимо, словно выпущенные из пращи. Водитель включил радио на полную катушку, и бьется о стекла, рыдает, взвизгивает на выбоинах вальс «Березка». А в открытом заднем окне кабины раскочи-

вается пластмассовый Петрушка. На крашеном лице его застыла вечная бессмысленная улыбка.

Я сижу у открытого окна. Ножевой ветер полосует разгоряченное лицо, путает волосы, выжимает слезы из глаз.

...Ветер выжимает слезы из глаз, колетса сахарным снегом, свистит в ушах. Я опускаюсь все ниже и ниже, совсем превращаюсь в маленький напряженный комок, только палки как крылья — в сторону и назад. Стремительно вырастают передо мной заиндевелые кусты боярышника, мчатся навстречу первые дома улиц. И вот я уже не птица, а снаряд. Сейчас я пробью коричневую стену сарая, дом и густой штакетник. Я распрямляюсь, резко бросаю тело вправо — и широкая, ровная улица распаивается мне навстречу.

Возле своего дома стоит бледная, закутанная в шаль Поинка, держится рукой в синей варежке за ограду и говорит:

— Здравствуй. Ты почему так долго не был? А я болела. Целую неделю.

...Я болею. Сижу на заборе маленького заводского стадиона и смотрю, как пожилые ферросплавщики играют в городки со строителями. Они пораздевались до маек, лица у них медные, а руки молочные, незагоревшие. Ферросплавщики расставляют ноги в широченных штанах, деловито щурятся и бьют с одного раза «бабку в окошке», «самолет» и «колодец».

— О! Но ведь это же Агарков! — раздается вдруг за моей спиной.

Я оборачиваюсь и вижу нашу немку Клару Ивановну Бер.

— Гутен таг, Клара Ивановна! — машинально здороваюсь я.

— Что вы здесь делаете? — с недоумением спрашивает немка.

— Болею.

— О-о! — И Клара Ивановна делает круглые глаза.

Вероятно, она решает, что я сошел с ума.

А рядом с нею почему-то стоит Поинка и беззвучно смеется, закинув голову.

...Поинка смеется и быстро-быстро крутит педали.

После поворота я обхожу ее и кричу:

— Ближе к бровке! Ближе! Смотри, как я!

Нас обгоняют «мазы» с абашевским углем. Они оглушительно режут и, протягивая из-за наших плеч по два желтых луча, далеко впереди высвечивают дорогу. И вдруг у самого края ее — частые наплавы асфальта. Я не успеваю крикнуть. Меня начинает подбрасывать на седле, а руль рвется из рук. «Вот сейчас...» — успеваю подумать я и в этот момент слышу за спиной металлический треск...

Разорванным платком я перевязываю Поинке ссадину на колене. Совсем рядом белеет в темноте круглая, нежная нога. Можно прижаться к ней щекою. Нет, я только наклоняюсь чуть ниже. Еще совсем немножко. Вот если бы она погладила мне волосы. Почему она не погладит? Я так этого хочу!

...Мчитса автобус, дребезжа стеклами. Пляшет под грустную мелодию неунывающий пластмассовый человек — Петрушка.

VII.

Наконец понял все и Алексеич.

Я вернулся с тем же автобусом и до утра прошлялся по городу. Сначала я все ходил по главному проспекту. Пока не разбрелись последние гуляющие. Тогда на пустом, ярко освещенном проспекте стало неудобно и я свернул в первую боковую улицу. Я не помню, сколько прошел их за ночь, потому что сначала шагал без разбора, а потом стал высматривать тихие и узкие улицы. Такие, где редкие фонари с трудом пробивали переплетающуюся листву, а от одного желтого круга до другого тянулись прохладные тоннели. В тоннелях были особенно звонкие тротуары.

Иногда я садился на низенькие оградки и курил одну, вторую и третью папиросу. В одном таком месте я задремал и проснулся оттого, что надо мной стоял человек и просил спичку. Я дал ему прикурить.

Мужчина поежился и спросил:

— Прохладно?

— Не знаю, — ответил я. — По-моему, нет.

— Прохладно, прохладно, — сказал мужчина и ушел, спрятав руки в карманы.

Под утро я немного заблудился и вышел к институту с непривычной стороны. Я перелез через металлическую ограду. Верхние окна института плавильсь под солнцем. А низ его и весь сквер были еще в тени. На пустой аллее какие-то парни, показавшиеся мне необыкновенно высокими, старательно делали зарядку. С одной из скамеек поднялся Алексеич и шагнул мне навстречу.

— Ты где пропадал, дурной? — спросил Алексеич.

И по его лицу было видно, что он обо всем догадался или ему рассказали.

— Переведусь в другой институт, — сказал я. — Вот сдам последние и переведусь. Не могу я так больше.

— Ну и мысли тебе натошак приходят! — бодро сказал Алексеич. — На-ка вот расческу, распутай чупрыну и пошли шамать.

Совсем он не умеет притворяться, Алексеич. Будто я не вижу, как ему весело на самом деле. Я, конечно, пойду с ним. Наверняка он немало здесь просидел. Караулил меня, психа, переживал.

Мы пошли в самую раннюю на проспекте столовую. Еще минут пять ждали, пока откроется. За только что накрытыми столиками было пусто. Мы сели в уголок, к окну. Подошла молоденькая официантка с припухшими глазами. Видно, тоже совсем недавно прибежала на работу.

— Ну что, по стаканчику бы? — вопросительно посмотрел на меня Алексеич.

— Нельзя, — сурово сказала официантка. — Так рано не подаем.

Алексеич отвел ее в сторону и стал что-то шептать, показывая глазами в мою сторону.

Наверное, вид у меня был не очень жизнерадостный. Официантка сочувственно закивала головой и ушла за перегородку.

— Чего ты ей заливал? — спросил я вернувшегося Алексеича.

— Сказал, что бабушка твоя умерла, у которой ты с двух месяцев воспитывался. А мне тебя подготовить надо.

— Умерла бабушка, Алексеич! — усмехнулся я. — И готовить меня не надо. Я уже готов.

— Да ладно тебе, — сказал он. — Брось, честное слово.

Нам принесли по стакану красного вина и котлеты.

— Знаешь, Митя, — сказал Алексеич, когда мы выпили. — Если хочешь, я ее не одобряю. И его не одобряю. Но любовь я, Митя, одобряю. Мне объяснить трудно, я оратор плохой. Но ты поймешь, у тебя голова светлая. Ну вот помнишь, как ты нас отговаривал в связь поступать? Тогда у тебя слова нашлись, и все такое. И лицо у тебя горело, и красивый ты был. Мы ведь не пацаны, кое-что в жизни видели и все равно рты поразевали. А для нее у тебя нет слов. Ты же ее только воспитывал: туда не ступи, того не делай, в глубину не лезь. Как будто тебя пионерское звено в буксиры приставило. А ей, может, как раз в глубину хочется.

Так. Явление первое: Митя любит Полю, Алексеич умиляется, Женя чуть-чуть переживает. Явление второе: Поля любит Женю, Митя очень переживает, Алексеич ведет разъяснительную работу. Ради святого товарищества. Все как по нотам: сначала дружеское участие (расчеши волосики, утри нос), потом стакан вина для создания обстановки, наконец, душеспасительная беседа. Полный порядок. Любовь не картошка. Я уже понял.

— Понимаешь, в этом деле тоже опыт нужен. Я не о плохом. Не про то, чтобы знать, когда кому подол задирать надо. Как бы тебе объяснить? Ты на нее все переложил — пусть, мол, сама отличает настоящее чувство. А она, Митя, не рентгеновский аппарат.

Вот и поговорили! Ах какие они принципиальные, мои друзья. Режут правду-матку. Сначала один, теперь другой. Трудно им, но режут. А я-то идиот!

Мы шли в институт и молчали. Алексеич, наверное, потому, что не получилось душевного разговора. Чего же он ждал? Что я пожму ему руку и растроганно скажу: «Спасибо, чуткий друг, ты открыл мне глаза»?

Солнце выбралось уже из-за домов и успело нагреть асфальт. В главной аллее, где утром приседали физкультурники, сдвинув прямоугольником четыре скамейки, разместилась свита маленькой киевлянки. Сама она, забравшись с ногами на скамейку, читала им вслух учебник химии. Какой-то новый парень, длинный, в цветастой тубетейке, видно, еще не прирученный, громко острил, нарушая идиллию.

На пустых и длинных, выбеленных солнцем ступенях сидела Поинка. Такая печальная и такая красивая, что у меня комок подступил к горлу. «Для нее у тебя нет слов...» Вот подойти сейчас, взять за руки и... самые нежные, самые непридуманные...

Поинка подняла на нас глаза и сказала тихо:

— Женька провалил математику. Только что.

Алексеич молча опустился рядом с нею.

— Он в обратных функциях плавал, — сказал я. — Всегда. Я ему говорил.

Алексеич поднял со ступеньки корочку засохшего раствора, переломил ее, потер в пальцах и сказал:

— Правильно, Митя, плавал. А ты говорил. Он за прошлый год в электролизном цехе восемь рацпредложений внес. Заодно они с главным технологом авторское свидетельство получили. Это его прямые функции были. Только они в аттестат не записаны. А тригонометрией он, Митя, занимался с двадцати четырех ноль-ноль и так далее. Верно, плавал маленько.

Женька сегодня уезжает. Снова товарищество собралось на том же месте, где сидели когда-то по случаю моих оттенков. И опять они трое на скамейке, а я опять сбоку припеку — в стороне, на оградке.

Вчера случилось что-то неладное. Вечером Алексеич и Женька принесли в общежитие бутылку водки.

— В комнате пить нельзя, — сказал я.

— На прощанье, Митя, — улыбнулся Женька. — За обратные функции.

— В комнате пить нельзя, — упрямо повторил я. — Такой порядок, ребята. Я же староста, поймите.

Алексеич, поставив локти на тумбочку, смотрел на эту бутылку и молчал. Потом, не поворачивая головы, мягко сказал:

— Пойдем, Женья, под заборчик. Нам, работагам, не привыкать.

И они ушли. А я лег на кровать и закрыл голову подушкой. За что судил меня Алексеич? В конце концов, разве мне сейчас не хуже всех? Конечно, Женька завалил математику. Но ведь в обратных функциях он все-таки плавал. Это факт. И разве кто-то виноват, что рационализаторские предложения не засчитываются на экзаменах? И что по внутреннему распорядку нельзя пить в комнате? Почему они крутят и путают там, где все ясно, как дважды два?

...На скамеечке у них тихо. А мне и вовсе ни к чему шуметь в одиночку. Я заклеиваю рваную беломорину. Я заклеиваю, а она расползается. Я заклеиваю, а она расползается.

— Возьми другую, — кидает мне пачку Алексеич.

Полинка словно и не вставала со ступеней. Сидит в той же позе. Совсем уронила голову.

— Не хмурей, маленькая, — говорит Женька и осторожно убирает со лба ее светлую прядку волос. — Все будет отлично.

И волосы медленно падают обратно. И Полинка не дует на них.

VIII.

И еще проходят дни. Похожие друг на друга. Я никого не вижу, не выхожу из комнаты. Читаю, читаю, читаю. И когда Алексеич зовет обедать, говорю: «Схожу попозже».

А потом наступает один — стремительный, все переворачивающий, обидный, непонятный день.

— Вот, вот и вот! — яростно вычерчиваю я обломком кирпича на асфальте пирамиду. — И сечем так! Ты же знала это!



— Я забыла, Митя, — безучастно говорит Полинка, даже не взглянув на мой рисунок.

— Как забыла?! Мы же решали столько подобных задач! Я приходил, и мы решали! Помнишь?

— Я забыла, Митя, — повторяет она.

Она медленно поднимается по ступеням к институту, и двери перед ней открываются. За ними стоит наш розовенький Гена. Он зачем-то снимает очки. Глаза у него растерянные.

— Вам стало плохо, да? — вежливо спрашивает он, становясь из розового свекольным. — Закружилась голова? Можно объяснить преподавателю. Я схожу. Хотите?

Полинка молча обходит его. Гена поворачивается за ней, но тут я ловлю его за руку:

— Стоп. Ты видел? Ты что видел?

— Она мне задачку решила, — говорит он. — А свой билет отнесла назад. Ничего не понимаю...

Алексеич брился. По самые глаза в крутой белой пене.

— Тихо! — отшатнулся он. — Сдурел — мотаешься так! Отхвачу щеки — будешь платить страховку.

— Она положила билет. Не пошла отвечать. Понимаешь? Она знала — голову даю на отсечение!

Алексеич уронил на колени шматок пены.

— Так, — сказал он. — Так. Я сейчас... Я быстро. Ты почитай пока... Письмо тебе.

Он кое-как добрился и ушел. А я развернул письмо.

«Сынка! — писала мать. — Видела во сне тебя, и нехорошо. Беспокоюсь — не случилось ли чего... Заходила ко мне Филипповна, жаловалась на Полинку — не пишет. Просила тебя поругать ее. А Григорян Алик, дружок твой, сдал все экзамены до срока. Только на учебу его, сына, не приняли...»

Алексеич вернулся через несколько часов. Смущенно потоптался у дверей, показал билет на поезд:

— Просила купить. Сегодня едет.

— Институт, значит, побоку, — сказал я. — Самое главное — побоку!..

— Может, и не самое главное институт, Митя, — сказал Алексеич. — Проводить ее надо.

— Нет уж, хватит! Понялся! Провожай один. Поругать ее, кстати, можешь. Мать вон очень просит.

— Ну, извини, — сказал Алексеич. — Я понимаю, конечно. Там, в тумбочке, билет на футбол. Сходи, если хочешь. Я-то не успею.

Я не пошел на матч. Я стоял на перроне, спрятавшись за киоск «Пиво-воды», и видел широкую спину Алексеича. И Полинку. Алексеич время от времени шумно вздыхал и качал головой. А Полинка что-то быстро говорила ему, улыбалась и вытирала слезы...



IX.

У меня остался последний вопрос — разбор предложения. Любого предложения: своего, чужого, из книжки или из головы. Я пишу то, которое знаю назубок и могу разобрать в любое время дня и ночи, даже подвешенный вниз головой: «Их зинге ви дер фогель зингт».

— А чьи это стихи? — растягивая слова, спрашивает немка.

— Гёте! — бойко рапортую я.

— Зо, — говорит немка. — А как будет дальше?

Как будет дальше, я не знаю.

— А что стоит впереди?

Я тоскливо молчу.

— А какого цвета моя лысина?! — гремит невесть откуда взявшийся декан. — Зо?!

Это ужасно, но я не могу понять, какого цвета его лысина, и чувствую, что окончательно проваливаюсь...

Я проснулся и долго еще лежал с закрытыми глазами. Лежал и улыбался. Вчера я сдал последний экзамен. Мне негде больше проваливаться. Немка не стала спрашивать, что там впереди и как будет дальше.

— Зо! — удовлетворенно сказала она, услышав о Гёте, и поставила мне пятерку.

Я открыл глаза и увидел Гену. Он сидел против меня, на бывшей Женькиной кровати, и тоже улыбался.

— Интересно ты спишь, Агарков! — сказал он. — Списки, между прочим, вывесили. Твоя фамилия — первая. А его фамилию, — он кивнул на пустую койку Алексеича, — я забыл.

Я быстренько оделся и побежал вниз. В коридоре, возле дверей приемной комиссии, действительно, висели списки. Возле них толпились абитуриенты. Свою фамилию я нашел сразу: она, в самом деле, стояла первой. Потом в конце отыскал: Черданцев В. А.

Рядом со мной оказалась маленькая киевлянка. Она тоже рассматривала списки, старательно шевеля губами.

— Звенько! — подсказал я и ткнул пальцем в одну из колонок.

— Откуда вы знаете? — радостно спросила она.

— Случайно. Поздравляю. И до свидания. Привет папе-генералу!

— Ой, подождите, — догнала она меня. — Вы, конечно, тоже прошли? Да?

— Конечно, прошел, да, — ответил я.

— А ваши... друзья, — она подняла на меня голубые, как небушко, глаза, — они все поступили?

— Нет. Поступил один друг. Тот, который в тельняшке.

— Как жаль, — сказала она, безуспешно пытаясь изобразить на своем милом личике скорбь. — Кстати, папа у меня не генерал, а только капитан. Я ему про все написала, про тот случай...

— Ну-у, это зря. И как меня лупили?

— Нет, — улыбнулась она. — Он, знаете, очень вас благодарил.

— Рады стараться! — щелкнул каблуками я. — До свидания все-таки.



— До свидания, — махнула рукой девчонка.

А вечером мы распрощались с Алексеичем.

— Домой теперь, Митя? — спросил он.

— Да, сметаюсь дня на четыре.

— Ну... кланяйся там. А я к сестренке, в Барабинск. Завтра уеду. Может, проводить тебя?

— Нет, — сказал я. — Чемодан легкий. Гантели Генке отдал, за мичманку. Ты ему скажи — пусть комнату эту забудет. Хорошая комната.

— Скажу, — кивнул Алексеич. — Ничего комната. Поживем.

Х.

Поезд пришел в мой город днем. Я вышел из вагона. Неторопливо осмотрел себя. Пофасонистее сдвинул мичманку. Переложил поближе тоненькую справку: «Зачислен на первый курс гидротехнического факультета...» и так далее.

За переходным мостом разворачивался на кольце длинный, двухприцепный трамвай. Он постоял немного и, словно успев за это время прикипеть к рельсам, рывком тронулся с места.

Я не сел в трамвай. Специально. Честно говоря, мне хотелось встретить хоть какого-нибудь знакомого. Ведь я возвращался домой первый раз в жизни. Конечно, не обязательно, чтобы кто-то хлопал меня по плечу и восхищенно орал: «Молодец, Митька! Поставлен у тебя котелок!» Нет, мне хотелось спокойных, взрослых расспросов, понимающих и достойных слушателей.

И первым я встретил своего лучшего друга Альку Григоряна. Похудевшего, коричневого и усатого. Мне не надо было ничего объяснять. Я все уже знал из письма матери. Алька сдавал в металлургический. Он набрал двадцать восемь из тридцати и не прошел мандатную комиссию. Он написал в автобиографии, что отец его — инженер-нефтяник, был арестован в тридцать седьмом, в городе Баку. Алька не знал отца, не помнил. Так и написал: не знаю, не помню, не считаю отцом. Его позвали к ректору и там сказали: учиться вы, конечно, можете. Но работать на наших предприятиях вам вряд ли удастся. Идите в пед, мы дадим справку. С такими оценками вас там с руками оторвут. Идите, какая вам разница?

Была разница, Алька хотел варить сталь. Он не пошел в пед.

Мы отошли в сторонку, к стене дома, и я поставил свой чемодан на зеленую металлическую урну.

— Ну, у тебя-то как? — спросил Алька. — Девочка рассказывала: ты шел ровно, как всегда.

— Все у меня отлично, Алька, все в порядке. Она правильно говорила.

Не мог я сейчас рассказывать ему ни про свои радости, ни про свои неровности, ни про свои болячки, ни про Полинку, которую он почему-то всегда звал девочкой. Не мог, и все.



— Пойдем, Алька, выпьем, — сказал я.

Вдоль киоска, на низкой завалинке, сидели черные, белкастые электролизники и потягивали пиво, сдувая пену на утоптанную землю с намертво вколоченной подсолнечной шелухой. Какие-то два парня по очереди пили прямо из бидона, отдувались и деловито переговаривались.

— Ну вот и порядочек. Один здесь навернем, один домой утащим.

Мы взяли по сто с прицепом и плотно друг к другу сели на чемодан. Пена в кружке лопалась и оседала с нежным шуршанием. Белая, прохладная пена, похожая на мыльную.

— Алька, — сказал я, — как же получается, Алька? Ведь дети за отцов не отвечают.

Алька молча опустил курчавую голову.

...А вторым я встретил нашего старого физика Михаила Ароновича. Он стоял на тротуаре против своего дома и, задрвав крючковатый нос, рассматривал что-то на крыше. Седой, похожий на сатира. В другой раз я свернул бы в сторону. Я не любил физика. У нас в школе мало кто любил физика. На уроках он мучил нас опытами. Расставлял свои штучки, все у него щелкало, подмигивало, жужжали электромагниты, светились катодные трубки. А он, прихрамывая, метался по лаборатории, быстро писал на доске, стирал и снова писал. И ни черта невозможно было понять. На следующий день он заставлял нас повторять эти опыты, психовал и беспощадно лепил двойки.

И был еще случай. В тот мартовский день, когда ТЭЦ, и алюминевый завод, и ферросплавный, и паровозы на станции Обнорской тревожно загудели на разные голоса и над городом встали ватные столбы пара, словно забили вдруг десятки горячих источников, когда наш школьный комендант Селиверстов плакал и все стрелял, стрелял, стрелял в синее небо из двустволки, в тот день Миша купил в магазине бутылку водки. Мы с ребятами случайно увидели это и пошли за ним. Мы жались к заборам, обклеенным афишами, прятались за углы домов, стараясь не упустить из виду сутулую спину физика. В общем, это было бесполезно. Все равно мы бы не увидели — станет ли Миша пить свою водку.

Но кто-то из парней сказал:

— Праздничек ему, гаду! Вот посмотрим, висит ли у него на доме траурный флаг.

Флаг у физика висел. И мы вернулись.

В другой раз я свернул бы в сторону. Но сейчас мне захотелось козырнуть перед Мишей, подпортившим мою серебряную. А сто грамм с прицепом сделали меня смелым. Помахивая чемоданом, я двинулся прямо на физика и громче, чем следовало, прокричал ему в спину:

— Здравствуйте, Михаил Ароныч!

Физик повернулся всем корпусом.

— А! — сказал он обрадованно. — Молодой человек! Я вижу — вас надо поздравить! — Он бесцеремонно стащил с моей головы мичманку. — Капитаном решили стать, если не ошибаюсь?

— Ошибаетесь, — сказал я. — Гидротехником.

— О! — скрутил мичманку физик. — Да, да, да! Строить гидростанции — понимаю! Нет уж, пойдёмте! Тут надо пить чай! И не только чай, а, может быть, кое-что ещё!

Он схватил меня за руку и потащил в дом.

Это были не комнаты, а лаборатория, склад металлолома.

— Как сдали мой предмет? — спросил физик, сдвигая со стола книги, мотки проводов и приборы.

— На отлично!

— Вы знали физику! — закричал он, уставя в меня палец. — Вы были у меня лучшим учеником!

Потом он решил показать будущее моей профессии. Кинулся к полке, вытащил журнал с крупной фотографией Луны и сунул его мне под нос.

— Вот она! Атмосферы нет. Воды нет! Ни капли! — заволновался физик. — Вы создадите там моря, молодой человек! Рахиль! — закричал он вдруг без всякого перехода. — Иди познакомься с товарищем студентом. Он расскажет тебе, что это совсем не просто — поступить в институт! Надо кое-что иметь здесь! — Физик постучал пальцем по лбу.

Вышла Рахиль, рыхлая черноглазая девочка, и стала печально смотреть поверх моей головы.

Мне почему-то стало вдруг стыдно. За себя, за суетившегося Михаила Ароновича. Казалось, что девочка с умными глазами понимает что-то такое, чего не понимаем мы с ее отцом.

Я не остался пить чай. Сказал, что тороплюсь домой. Это была правда.

...Третьим я встретил соседа нашего, деда Зяпина.

— Здоров был, — просипел дед и сунул мне исхлестанную дратвой руку. — Отвоевался пока? Ну, и кем же ты будешь?

— Не знаю, — сказал я.

— «Не знаю»! — передразнил дед. — Человеком будешь! — Он важно поднял узловатый палец. — Инженером! Не то что мы с батьком твоим. Отец-то всю жизнь кобыле хвоста крутит. Достижения!

Да, отец мой — коновозчик. А дед Зяпин — сапожник. Можно сказать, знаменитый. Вся улица бьет его подметки. Но это дед считает баблством. Вообще-то он стрелочник на железной дороге.

Новосибирск, 1963



Мария ШВЕЦОВА

ИСТОКИ

Р а с с к а з ы

Возвращение

— Дин-дон!

Июньское солнце, медленно плавясь в сгущавшихся вокруг облаках, опускалось за вершину горы. И вот наступил тот удивительный миг, когда оно, торопясь до последней капли отдать тепло, пролило на землю яркий сноп оранжево-розовых лучей. Все вокруг окуталось удивительным сиянием, в котором терялись очертания предвечерней реальности. Еще не закрывшиеся цветы жадно ловили лепестками остаток солнечной страсти, которая отражалась во всех бисеринках росы на узких травинках, заполняла блеском весь прозрачный небосвод. А желто-красные облака, словно языки необыкновенного костра, казалось, пытались поджечь молчаливую горную громаду.

И снова Митя услышал этот странный звук, доносившийся словно из-под земли, похожий одновременно на удар колокола и раскат далекого грома:

— Дин-дон!

Солнечные лучи скользнули по синеватому хребту горы — вспыхнули на мгновение иголки вековых елей, густо растущих до самой ее вершины, и погасли. Последние солнечные зайчики потерялись, растворились в густом тумане, что клубился у подножия. Начали стремительно удлиняться тени, и гора, как огромная туча, постепенно гасила закатное свечение, порождая сумерки и ночную прохладу. И опять прокатилось по замершей округе, словно живой голос, еле уловимое, необъяснимое:

— Дин-дон!

— Фу ты, черт! Уже в ушах звенит! — вслух выругался Митя и, глянув вверх, на сияющее закатное марево, прибавил шаг.

Асфальтированная дорога черной змеей убегала к горизонту. Митя знал, что уже где-то рядом поворот, который ведет к подножию темнеющей громады, а там спряталось в тумане небольшое озерцо и маленькая деревня — одна из многих деревень Алтайского края. К таким не встретишь указатели, туда только людская молва и выведет. Но Митя знал

дорогу с детства: в той деревне жила его старшая сестра Галина. Может, и сейчас живет, со своим теперь уже мужем...

Последний раз Митя был там четыре года назад. И вот уже вторые сутки упорно шел туда, отгоняя воспоминания о годах, проведенных вдали от родных мест.

Накануне он кое-как переночевал в придорожной канаве. Встал ранним утром весь мокрый от росы, а потом целый день брел, покачиваясь от усталости, тщетно пытаясь поймать попутку. Он больше суток ничего не ел, только беспрестанно курил. Но сигареты заканчивались, а спички промокли после ночевки на открытом воздухе и пришлось выкинуть больше половины. Безуспешно попробовав закурить, Митя сжег последнюю спичку и, злой от усталости и досады, прибавил шаг: не очень-то хотелось провести еще одну ночь в канаве.

Быстро сгущались сумерки, и он искал знакомый поворот уже почти наугад. Где-то неподалеку выл одинокий волк, но в Митиной голове не возникло никаких мыслей, только по спине пробирался холодок да охватывала непонятная дрожь. За последние дни столько было передумано и перечувствовано, что больше уже не хотелось ни размышлять о прошлом, ни решать, как быть дальше. Порой он, словно в забытьи, вообще не понимал, куда идет и зачем.

Так, машинально ступая, Митя и не заметил, как дошел до нужного поворота, свернул на пыльную тропу. Ему оставалось еще километра три по широкой лесной дороге. Между тем сумерки уже застилали округу темным непрозрачным покрывалом. Ветер усиливался, предвещая на завтра ненастье, колыхал редкие бледные звезды, которые то вспыхивали, то гасли. Полная, чуть красноватая луна завораживающе и злобно глядела вниз, как чей-то единственный глаз. Волчий вой пронзительно и жутко пробивался сквозь свист ветра. Но Митя ничего не замечал: ни близкого волчьего воя, ни непогоды, крепнущей под покровом ночи, ни обступивших его сосен, тревожно гудящих на ветру.

Он все шел и шел дальше...

— Дмитрий, ты, что ли?

На привокзальной площади райцентра было почти пусто, только переговаривались невдалеке торговки мороженым да на скамейке одиноко сидел старик. Он-то и окликнул молодого парня, в растерянности стоящего посреди площади. Автобус, который привез парня сюда, уехал четверть часа назад. Все это время приехавший не находил себе места. Он обошел здание вокзала, внимательно осматривая все вокруг, потом забрел внутрь и долго стоял у доски с расписанием, невидящими глазами пробегая по названиям и цифрам. Вокруг раздавались радостные возгласы встречающих и прибывших, суетились отъезжающие, вынося багаж...

Когда суматоха утихла, из окошка высунулась кассир:

— Закрываемся на обед!

— Как... на обед? — Парень не понял, что от него хотят.

— Обед с десяти до двенадцати. Автобусов в это время не будет.



— Понятно. Спасибо.

Он в растерянности вышел из здания.

— Дмитрий, ты, что ли?

— Я, дядя Федор. Домой вернулся.

— Стало быть, вышел срок?

— Закончился. Дядя Федор, вы не обижайтесь на меня...

— Давнее дело, Дмитрий, забыли. Обиды нет, да только и радости особой тоже, ты уж извини. Но если нужно — помогу. Земляки все-таки.

— Понимаю, дядь Федор. Только помощи вашей мне не надо. Сам справлюсь. Да и пошел я уже. Родителей увидеть нужно.

— Иди, Дмитрий, иди. Ишь, родителей решил обрадовать... Эх, Митрий! — старик тяжело вздохнул и сплюнул в едкую летучую пыль.

А Митя торопливо шел по солнечному райцентру, выбирая самые окраинные улочки. В лицо ему било настырное утреннее солнце. Митя прятал глаза от случайных прохожих в его ослепляющих лучах, вместе с тем жадно оглядываясь вокруг: что здесь изменилось за время его отсутствия? Те же извилистые неровные дороги, по которым наперегонки носилась на велосипедах малышня, так же сгрудились камни вокруг открытых люков на обочинах, тот же тополь на перекрестке...

Митя глядел перед собой невидящими глазами, не замечая, что давно уже кружит по улицам, не решаясь повернуть на свою. С тех пор как он ушел, прошло только четыре года, а ему казалось — целая жизнь. Вроде все осталось на своих местах, но что-то было не так, и Митя не мог понять, что именно. Он снова втянул голову в плечи, опустил глаза — и повернул к своему дому.

Калитка тяжело торкнулась внутрь, заскрипела. Митя вошел и с трудом задвинул ее на место. Постоял немного возле крыльца. У его ног лежал крошечный огородишко, заросший вымахавшей по колено лебедой и осотом, сквозь которые все еще можно было различить грядки: кажется, мать посадила здесь редис и лук. Митя нагнулся было за редиской, но в него тотчас вцепились колючки сорной травы.

Из дома послышались голоса, и он, бросив на дорожке свой мешок, заторопился внутрь.

Входная дверь была открыта настежь, вместо нее, на летний манер, болталась вылинявшая, засаленная тряпка, местами уже в прорехах: та самая, что висела, еще когда он уходил. Господи, ничего не изменилось! Ничего!

А может, все же изменилось? Он сам, например? Нет, сейчас Митя не будет думать об этом. Сейчас он просто откинет штору, зайдет в дом. Тут он сумеет забыть, как кошмарный сон, четыре года заключения. Четыре года унижений и одиночества. Забудет прямо сейчас...

— Да-й да-и-да, да-й да-и-да-и-да... — доносилось из дальней комнаты.

Митя шел по избе, переступая через разбросанные по полу разбитые бутылки и сигаретные окурки. В доме почти ничего не было: ни занавесок

на окнах, ни половиков, ни стульев... Пахло затхлостью, сигаретами и потом. Посреди горницы стоял дубовый стол без скатерти, на котором громоздилось огромное количество бутылок из-под водки и стояла одна наполовину опустошенная. Стаканы валялись на небеленой печке, под умывальником, на пустых подоконниках. Митя в растерянности перешел из комнаты в комнату. Незаправленные постели, раскиданное грязное белье, носки и носовые платки...

— Да-й да-и-да, да-й да-и-да-и-да, — услышал Митя за своей спиной.

Он резко обернулся.

В углу сидела, закрыв глаза, почти совсем седая женщина с глубокими морщинами на сером, землистом лице. Рваная, давно не стиранная одежда, растрепанные волосы...

— Мама!

Женщина вздрогнула, но не открыла глаз, а только протянула руку со стаканом к стоящему рядом мужчине. Он тоже был сед, взлохмачен, небрит, в старом трико и грязной рубашке без пуговиц. Держа в дрожащих пальцах початую бутылку, он пытался наполнить стакан спиртом не пролив драгоценной жидкости, что удавалось ему с трудом.

— Мама! Папа!

Бутылка вильнула в руках старика, содержимое ее бултыхнулось, плеснуло на пол. Мужчина пьяно выругался и поднял осоловелые глаза на гостя. Женщина снова затянула свое «да-й да-и-да», прихлебывая спирт и причмокивая.

— Да что же это такое?! Папа! Мама! Я же вернулся...

— Слуш-ш-шай, кто это? — безразлично поинтересовалась женщина, отставляя пустой стакан.

— Мама, да это же я! Твой сын! Митя!

— Сы-ы-ын? У меня нет сына. У м-м-меня никогда-а-а не б-было такого сы-ы-ына, — пьяно затянула женщина.

— Отец, скажи что-нибудь! Скажи ей!

Мужчина только покачал головой, исподлобья глядя на Митю, в то время как женщина, по-прежнему не открывая глаз, продолжала тупо бубнить:

— У ме... у меня никогда не было... т-такого сына. У меня была д-дочь... стерва небла... благодарная! У меня были д-двое... Они ум... умерли! — Она всхлипнула. — Остался один... Митенька... но он уше-е-ел! Я одна теперь...

— Мама, я вернулся! Я здесь, мама!

— Ты не мой сын! Ты — уг... уго... уголовник. М-можешь идти на... П-пошел! П-пошел на...

— Мама, но я же... Отец!

— Ты слы... слышал, что она сказала? Ты по... понял, что она сказала? — заикаясь и пошатываясь, старик пытался выпроводить Митю из комнаты. — А теперь у-хо-ди....

Он хотел было взять пришельца за шиворот, но тут же обмяк, сам повис на нем. Митя дернул плечом — и еле держащийся на ногах пьяница

уцепился за косяк, потом медленно, по стене, сполз на пол, выругался, нащупал возле себя бутылку и, обняв ее, лег.

Митя брел по дому назад, ошеломленный и обиженный.

— Д-да, слышишь? И не при... не приходи сюда... По... понял? — доносилось вслед.

Он кое-как добрался до стола, облокотился на него. Вот и все, идти больше некуда. Отсидев срок, он радовался долгожданной свободе. Он не знал, что вместе с ней придет пустота, которая тяжелее всякой неволи.

Как теперь жить? Митя боялся об этом думать. Ни о чем не хотелось размышлять, ничего не хотелось решать. Он достал стакан из-под умывальника, обтер куском валявшейся тут же тряпки, налил из недопитой бутылки. Водка обожгла горло, но он знал: это вначале. Потом хмель прогонит из памяти события сегодняшнего дня. А когда придет похмелье...

Впрочем, когда это будет? Когда кончится опьянение, он будет пить еще и еще, пока не поймет, что нужно делать.

Пасха

— Вот окончите свои университеты, так и не приедете больше к бабке...

Баба Зина суетилась у стола, подкладывая в вазочки варенье. Мы с Настюшкой проводили у бабы Зины каждое лето, но вот уже два года — как поступили в университет — навещаем ее все реже и реже.

Баба Зина продолжает знакомые с детства традиции: сажает огород, закатывает банки, собирает шиповник и предсказывает погоду на много дней вперед.

Настюшка — моя двоюродная сестра. Мы с ней одного возраста, поэтому хорошо ладим. И даже после того как ее отец — дядя Вова, сын бабы Зины, — ушел из семьи, Настюшка и ее мать продолжают приезжать к бабушке. Они видят ее намного чаще, чем сам дядя Вова, который после развода уехал в неизвестном направлении. Иногда он звонит бабе Зине, рассказывает про свои дела. И тогда она говорит нам:

— Вовка недавно звонил. Все в порядке у него. В гости звал, да я не поеду. Не хочу на его Галку смотреть. А ты бы съездила, Настасья!

Галка — новая жена дяди Вовы. Правда, не официальная. Нашел он ее уже после развода, гораздо позже. Тем не менее баба Зина обижается на нее, будто она виновата в распаде семьи. А Настюшка к этому относится спокойно. По крайней мере, так кажется со стороны.

У бабы Зины и на этот раз все было как обычно: уставленные цветами подоконники, черный кот, растянувшийся у белой печки, запах молока и травы. За окном медленно сгорало солнце, наполняя комнату и все в округе теплым предзакатным сиянием. От черной земли слегка поднимался пар и, поднимаясь, гущался в сумерки.

Завтра Пасха, и мы затеяли стряпать. Баба Зина была не особо верующая, но на Пасху пекла куличи и красила луковой шелухой яйца. В суете замешивания, взбивания, раскатывания и смазывания мы даже и не заметили, как бесформенное тесто превратилось в аппетитные белые шарики будущих булочек.

Темнело.

Баба Зина рассказывала деревенские новости, выкладывая комочки теста на противень:

— Дома разрушенные начинают убирать. Теперь вместо развалин в поселке одни пустыри остались. Уже не разбирают ничего. Хотя вот баню в конце улицы снесли... Да завтра сами увидите.

Баба Зина не ходила в церковь, а Настюшка захотела сходить. Церковь — вон она, через две улицы, слепит глаза единственным куполом и зовет людей звоном большого колокола. Мы в юбках и сапожках идем, цокаем по разбитому временем и каблуками асфальту.

Маленький поселок начали разрушать уже давно: со времен отключения здесь центрального отопления. Тогда жильцы кирпичных пятиэтажек (здесь все строения были кирпичными) сорвались с насиженных мест в поисках лучшей доли, а их дома стали добычей местных пацанов.

Пятиэтажек было много, целые улицы. Пацаны «делали бизнес». Под перестук ломиков рядом с пустынными подъездами росли аккуратные стопки кирпичей. Иногда сюда подъезжали грузовики. У них не было плана или расписания, приезжали они в любой день недели, поэтому мальчишки были все время на страже.

— Эй, парень! — кричит водила. — Почем кирпич?

— Не торгуйся, смотри, кирпич как новый! — солидно отвечает паренек, вытирая пот со лба.

Никто и не думает торговаться: дешевле кирпича просто нет. А этот и вправду как новый.

— Грузи! — командует водила. — Пять тысяч надо.

Перестук на время стихает, и несколько мальчишек из какого-то погребенного уголка приносят нужное количество товара. Долго пересчитывают, укладывая, кирпичи, проверяют полученные деньги, ищут сдачу. Грузовик уезжает, исчезая за поворотом...

Мы с Настюшкой идем к церкви мимо одной из таких опустевших улиц. Дома, покинутые хозяевами, кое-где еще стоят: с выбитыми окнами, снятыми дверьми и разрушенными перегородками.

И вдруг, не очень далеко, мы слышим невообразимый грохот:

— Р-р-раз!

Там, откуда он раздался, высится столб пыли величиной в десятки метров. А когда воздух снова становится прозрачным, мы видим трактор, довольно пыхтящий возле груды кирпичей и торчащих башнями углов былой конструкции — пятиэтажки, что еще недавно смотрела на мир пустыми глазницами выбитых окон.

Между «башен» золотом сияет восставший из пыли церковный купол, и уже ничем не заглушаемый колокол возвещает о светлом празднике Христова Воскресения.



Танька

С Танькой мы гуляли вечером по притихшему поселку. Красноватые отсветы уходящего солнца беспорядочно играли и путались в ее рыжих волосах.

Танька жила по соседству и появлялась у нас всегда, когда я приезжала. Вот и сегодня мы с ней вышли пройтись. Она косолапила рядом, помахивая сумочкой, и что-то увлеченно рассказывала.

Мне нравилось так бродить в тишине деревенского вечера, отдаваясь своим мыслям под Танькины разговоры. Говорила она всегда быстро, невнятно, глотая слоги, а подчас и целые слова. Таньке трудно давалась речь: все звуки, кроме гласных. Понять ее без усилий удавалось лишь близким.

— Тебе нравится эта группа? — между тем спрашивала меня Танька об очередном новшестве современной эстрады.

— Что? Какая группа? — я не сразу поняла ее вопрос.

— Не слышала, как там парень поет женским голосом? — искренне удивилась Танька.

— Может, это не парень.

— Нет, точно парень!

— Ты видела эту группу? — равнодушно спросила я, зная, что спорить с Танькой бесполезно.

— Нет. Я думала, ты видела или знаешь... — разочарованно протянула она и заговорила о чем-то еще.

Таньке шел девятнадцатый год.

Я давно знала эту рыжую неуклюжую девчонку. Мелкие, некрасивые черты лица делали Таньку похожей на старуху. Таким же был голос: скрипучий, хриловатый, словно вечно простуженный. Портили ее и зубы — маленькие, редкие, как у шестилетнего мальчика, кривые.

В этом году Танька оканчивала школу.

— Куда пойдешь: учиться или работать? — поинтересовалась я.

Школу Танька откровенно ненавидела.

— Нет, учиться я точно не пойду! — с жаром воскликнула она.

— Чем сейчас занимаешься?

— Да ничем! Балду гоняю, телик смотрю... — Потом прибавила: — В огороде помогаю да за коровами хожу... — И замолчала.

Среди собиравшихся туч тяжелым красным плодом висело солнце, воздух наполнялся едким запахом дыма топящихся бань. На широкую дорогу медленно сползали сизые сумерки, а с ними — холод майских ночей.

— С кем-нибудь общаешься? — спросила я Таньку, когда мы проходили мимо дома ее знакомой девчонки.

Со сверстницами Танька никогда не гуляла. Одноклассницы ее сторонились, одноклассники смеялись, хотя некоторые все-таки жалели ее и одергивали обидчиков. Впрочем, Танька сама могла хорошенько треснуть кого угодно. Она выбирала в подруги девчонок помладше, и те, возможно, действительно, были ей ближе по духу, хотя и не очень ее любили. С мальчиками она не дружила.

— Нет. У всех свои компании, — сказала Танька слегка обиженно, видимо, вспомнив бывших подружек. — Так, встретимся, поздороваемся и разойдемся! — Она энергично тряхнула сумкой.

— Зачем тебе сумка? — спросила я.

— Тут мои стихи.

Стихи... О том, что Танька пишет стихи, знали немногие. Она достала тонкую тетрадь, разрисованную красным и черным фломастерами. На обложке были выведены крупными буквами имя и фамилия Таньки, ее возраст и текущий год: год заведения тетради.

Стихи были о любви.

Я читала мелкие косые буковки, жмущиеся в неровные ряды, и украдкой смотрела на Таньку. Сумерки сгладили резкость и некрасивость ее лица, а глаза сияли исходившим откуда-то из глубины спокойствием и уверенностью. В этом была тайна и какая-то притягательная сила. Танька распустила волосы, и они, мягкие, рыжие, то и дело вспыхивали золотистыми искорками.

Я теребила тетрадку, стараясь поймать ускользающий смысл написанных строк.

Танька уже возмущенно рассказывала о том, как они ездили сегодня на кладбище.

— Представляешь, там дети маленькие ходят и просят кушать! Или собирают то, что люди оставляют мертвым... Иногда бомжи забирают у них еду. Мы дали этим детям хлеба, булочек — все, что брали с собой. Мертвым-то все равно, так пускай лучше живым достанется. У них родители спились, о детях совсем не заботятся!

Мимо нас проходили двое парней. Видимо, они знали Таньку, потому что один из них тут же соорудил ей гримасу — и чуть не схлопотал в ответ пощечину.

— Идиотка! — крикнул он зло нам вслед.

— Сам такой! — огрызнулась Танька, сжимая кулаки.

Парни загоготали и ушли.

Вокруг наливалась холодом тишина.

Стихи были полудетскими, белыми, сложенными на какой-то один, только Таньке понятный мотив. В них сквозила грусть расставания и радость скорой встречи, звучали упреки любимому, подслушанные в современных песнях: ведь в реальности Таньку никто никогда не бросал, потому что никто ни разу и не встретил.

— Я только начинаю писать, — сказала она, будто оправдываясь.

— Пойдем домой.

Уже почти стемнело, когда мы возвращались обратно. День медленно остывал, уголек солнца едва тлел на краю серого пепелища неба. Я думала о том, как дальше пойдет-польется Танькина жизнь, и будет ли когда-нибудь в ее судьбе поворот, и что станет с этой деревенской девчонкой, идущей сейчас рядом со мной по дороге косолапой походкой.

Святая гора

Мы с Настюшкой все-таки поехали к дяде Вове. («Пусть съездит, большая уже, — сказала на это Настюшкина мать, поджав губы. — Посмотрит, как он живет, и больше не захочет».)

По дороге она то и дело говорила:

— Я читала про это место. Говорят, там гора волшебная. Есть святой источник, а на самой вершине — каменная Чаша. И в Чаше вода тоже чистая. И желания загадывать можно.

Дорога вилась между величественных горных зубцов, и мы пытались разглядеть среди них «нашу» гору.

— Там должен быть крест поставлен, на самой вершине, — подсказывала Настюшка. — Говорят, что иногда даже колокольный звон можно услышать.

Но крестов на вершинах видно не было. Да и сами они скрывались в густой дымке леса, разбросанного по склонам. Только к вечеру на последнем повороте извилистой дороги мы увидели угрожающе темнеющую громаду. На ее склонах клубился туман, а верхушка сливалась с надвигающимися тучами.

— Приехали! — встретил нас дядя Вова. — Сейчас Галка корову подоит и накормит вас.

На крыльцо вышла Галя, в сапогах и с ведром.

— Здравствуйте, девочки! — широко улыбнулась она.

Мы с Настюшкой тоже невольно заулыбались. Немного грубоватая, слегка похожая на мужчину, черноволосая и смуглолицая Галя была вдвое моложе дяди Вовы.

Мы видели ее в первый раз.

— Заходите в дом, что ли, — пригласила она. — А если хотите, пойдете со мной, посмотрите на нашу Милку.

...Струйки молока бодро звенели о ведро. Галя сильными пальцами уверенно выцедила из коровьего вымени все до последней капельки, попутно рассказав последние новости:

— Брат ко мне приехал. Отсидел. Он поживет у нас некоторое время. А вы пока будете жить во второй половине нашего дома. Правда, там ничего нет, но мы дадим все, что понадобится. Сейчас подою корову и провожу вас... А лучше Сашка проводит.

Сашка, десятилетний Галин сын, вертелся тут же.

— Я провожу! И сумки ваши отнесу! — с гордостью заявил он и пулей вылетел из сарая.

— Митька пусть сумки поможет дотащить! — крикнула Галя вслед.

Милке крик не понравился, и она рассерженно лягнула ведро с молоком.

Мы с Настюшкой вышли из сарая и снова встретили дядю Вову. Галкин брат Митя стоял тут же. Это был голубоглазый, светлицый молодой парень, совсем не похожий на свою смуглую сестру, наш ровесник.

— Ну, Митрий, помоги девчонкам с сумками! — скомандовал дядя Вова и обратился к нам: — Что нужно — говорите, достану. И прослежу, чтобы к вам никто не лез.

Дядя Вова в деревне слыл авторитетом. Жил он тем, что ловил раков в местном озере и продавал заезжим туристам. Митя, казалось, съежился от его громового голоса и покорно взвалил на плечи наши сумки.

Вторая половина дома состояла из двух помещений, разделенных занавеской: спальни с двумя кроватями и кухни. В кухне был умывальник с раковиной, стол и печка, заваленная тряпьем. Поверх тряпок лежала выдававшая виды гитара. В левом углу висел образ Пресвятой Богородицы. В столе оказалось немного посуды, но такой грязной, что мы решили отмыть ее завтра.

Митя притащил флягу воды из колонки. Снова прибежал Сашка, принес банку парного молока и позвал ужинать.

— Вы надолго к нам? Что планируете делать? — спросил дядя Вова, когда все уселись за стол.

— На неделю, наверное, не больше, — сказала Настюшка. — Хотим на гору сходить.

— И я хочу с вами! — оживился Сашка.

— А вы там были? — спросила я, обращаясь к Гале и дяде Вова.

— Нет, не был! — почему-то засмеялся дядя Вова.

А Галка добавила:

— Да нечего там делать.

— На гору, значит, хотите... — Дядя Вова прищурился. — Что ж, найду вам проводника. Если он не запил, то сходите.

— А непьющего нет?

— Нет! — снова развеселился дядя Вова. — Тут все такие. Один мой работник, вон, так напился, что уснул лицом в помойке, как свинья... Да вы не волнуйтесь, все хорошо будет. Митьку с вами отправлю. Пойдешь, Митрий?

Митя, почти все время молчавший, утвердительно кивнул.

— А я? — разочарованно протянул Сашка, уже понимая, что его не берут.

— А мы с тобой поедем раков ловить, я же тебе обещал.

На следующий день мы с Настюшкой принялись за уборку: чистили посуду, стирали занавески. Прибежал Сашка, от которого подозрительно пахло табаком, со своим другом-одноклассником Женькой.

— Сашка, ты куришь?! — удивленно выдохнула Настюшка.

— Ага, — кивнул Сашка. — Только мамке не говорите.

— Тебе сколько лет-то? Десять всего?

— Десять, — Сашка скорчил рожицу. — Да тут все пацаны курят!

— Я не курю, — гордо ответил Женька.

— А ну бери веник и подметай! — рассердилась на Сашку Настюшка.

— Давайте лучше на озеро ходим.



Озеро Белое раскинулось рядом, за холмом. Слева вдалеке виднелась база отдыха, а за ней — разноцветные палатки туристов, для которых дядя Вова ловил раков. Сашка с Женькой побежали вперед и, хоча, бултыхнулись в холодную воду. Мы даже не заметили, как начался дождь: теплый слепой дождик, лившийся сквозь солнечные лучи, так что было непонятно, какое же облако решило пошалить. Мальчишки сбросили шлепанцы и носились по траве босиком. Потом Женька достал из воды маленьких рачков, еще не успевших покрыться твердым покровом, и осторожно принес нам.

— Смотрите, — шепнул он, — какие они смешные!

Искупаться мы так и не решились: слишком холодной показалась вода. Зато набрали чабреца и мяты, которые росли на берегу.

— Пойдемте домой, будем чай пить! — позвала Настюшка мальчишек.

Но они не хотели уходить, и мы вернулись одни. У ворот стоял дядя Вова, а рядом с ним — незнакомый парень.

— Вот и девчонки. — Дядя Вова махнул рукой в нашу сторону. — Ну что, на гору пойдете?

— Пойдем. — Мы осторожно кивнули.

— Антон вас сводит. Смотри, не загуляй сегодня! — пригрозил дядя Вова Антону.

— Пьяных нам не надо, — поддержала Настюшка.

Антон засмеялся. Он был примерно нашего возраста, высокий, страшно худой и почти черный от загара.

— Собирайтесь тогда, — скомандовал дядя Вова. — Антон, скажешь девочкам, что надо взять. Палатку я вам дам, одеяла у Галки попросите... А я пошел. — И, опять обращаясь к Антону, добавил: — Ты меня знаешь, я в долгу не останусь.

С утра зарядил дождь: не ливень, нет, а мелкая назойливая морось. Вершину горы закрывала тяжелая серая туча. Мы с Настюшкой взгрустнули: не хотелось откладывать поход.

— Разветрится, — уверенно сказал Антон.

За плечами у него висел собранный рюкзак.

Наш проводник пришел пораньше и помогал нам укладывать сумки, заодно проверяя, все ли мы взяли, что нужно. Митька суетился тут же. Вместо рюкзака у него за спиной болталась гитара — та самая, которую мы нашли на печке в нашей половине дома.

— Гитара зачем? — строго спросил Антон.

— Песни петь будем, — уверенно ответил Митька.

— А сумки кто потащит?

Митька махнул рукой и взял одну из наших сумок себе на плечо. Вторую понес Антон. Мы с Настюшкой шли налегке.

Путь был непривычно долгим. Дождь кончился к полудню, как и обещал Антон, но теперь невыносимо пекло солнце. По прямой дороге идти было все же просто, а вот подъем нам дался с трудом. Узкая тропка

резко избегала вверх, и Антон не разрешил останавливаться, пока не дойдем до источника.

Святой источник — две трети пройденного пути до вершины, до той самой заветной гранитной Чаши, где дождевая вода никогда не мутнеет. Источник был местом паломничества верующих и туристов, поэтому его облагородили: вода прозрачной струйкой стекала из металлической трубы. На ветвях ближайших деревьев пестрели разноцветные ленты; казалось, их больше, чем листьев. Вода была невыносимо холодной.

Пить Антон не разрешил — только прополоскать рот.

— Иначе до верха не дойдете, — сказал он.

Мне хотелось оглядеться вокруг с той высоты, на которую мы уже успели взобраться, но деревья росли густо и было видно только кусочек неба вверху.

— Антон, — спросила Настюшка, — что ты знаешь об этой горе? Она и вправду святая?

— Святая? — Наш проводник недоуменно посмотрел на Настюшку. — Да ладно?!

— Но ведь сюда много людей ходят...

— Много. Вон возле источника сколько лент повязали! На горе крест поставили. И еще мелочь зачем-то кидают в Чашу. Деньги-то в воде портятся! Я иногда хожу сюда, собираю. Однажды даже иностранные монеты нашел.

Дальше подъем стал намного круче, камни скользили под ногами. Дыхание перехватывало, и силы почти кончились, но тут мы добрались до вершины. Лес вдруг оборвался, под ногами лежала каменная дорога. Склон весь был словно вымощен огромными плитами. В некоторых из них образовались небольшие углубления, где скапливалась дождевая вода и роса. На самом высоком месте был установлен деревянный крест. Рядом с ним, словно выдолбленная в каменной плите, и находилась та самая священная Чаша. Вода в ней была прозрачной, на дне отчетливо желтели монеты.

Антон снял носки и принялся стирать.

— Прямо в Чаше! Зачем тут носки-то стирать?! — ахнула Настюшка.

Она не находила слов от возмущения.

— Где же я еще их постираю? — спросил Антон с заметным раздражением.

— А как мы пить будем эту воду?

— Ты что, пить ее нельзя! — строго сказал проводник. — Я не знаю, кто придумал, что она чистая. Тут и руки моют, и деньги бросают...

— И носки стирают, — не удержалась я.

— Я на источник схожу. Заодно веток принесу для костра. Митька пока палатки поставит.

Мы с Настюшкой сели на прохладные камни. Деревни и озера не было видно: их заволокло туманом. Мы смотрели в небо и слушали тишину, какую нигде больше не услышишь. Здесь можно просто дышать



тишиной и не надыхаться, как не надыхнешься воздухом. И сколько со-звучий, сколько переливов цвета несет в себе этот звук — тишина! Его хо-чется слушать, когда надоели все другие звуки. Тишина вливается в твоё существо, наполняет тебя, вытесняя все лишнее, наносное. Нужно только услышать ее... только почувствовать...

Вернулся Антон, развел костер и пристроил над ним котелок с водой. Мы заварили лапшу с тушенкой, нарезали хлеб. После долгого восхож-дения горячая еда казалась настоящим блаженством.

— Странно! — хмыкнул Антон, пробуя тушенку. — Похожа на со-бачатину.

— А ты пробовал собачатину-то?

— Конечно. Эта зима у нас такая выдалась... Почти всех собак в деревне перерезали, чтоб с голоду не сдохнуть.

— Как так? А огород? — Настюшка не понимала, как можно в де-ревне умереть с голоду.

— Какой огород! — махнул рукой Антон. — Кто бы его сажал? Я все лето работаю, дома не бываю. Мамка с папкой умерли уже. Спи-лись.

— А ты не боишься тоже... спиться?

— Я-то? Да нет. Я бросить хочу. Вот уже несколько раз бросал. Летом получается: летом работа. А зимой делать нечего...

Митька принес гитару и начал петь. Голос у него был слабый, хри-плый, и песни получались не очень. Тем временем костер стал прогорать. Снизу на вершину напозал туман, скрывая все вокруг, и вскоре можно было что-то видеть только на расстоянии вытянутой руки. Мы разошлись по палаткам.

— Как жалко! — вздыхала Настюшка. — Я так хотела посмотреть ночью на звездное небо! И закат мы не увидим...

В палатке было сыро и холодно, тело ныло от непривычной нагрузки, поэтому мы долго не могли заснуть. То я, то Настюшка выходили на-ружу в надежде увидеть звезды, но небо завесила большая черная туча, было темно хоть глаз выколи и сыро, словно мы оказались в подводном царстве.

Ночной дождь сменился ясным солнечным утром.

В палатку заглянул Антон.

— Угощайся! — Он протянул мне ладонь, полную черники. — Бери все: вам собирал.

Неприметные кустики черники были разбросаны везде по склону горы, только попробуй-ка добраться до них и не поскользнуться на сы-рой земле, резко уходящей вниз! Но Антон словно знал тайную тропу, каждый выступ, за который можно зацепиться, и за полчаса насобирал несколько горстей сладкой ягоды. Такой черники я еще ни разу не про-бовала!

Я вышла из палатки. По пути к гранитной Чаше то тут, то там лежа-ли, зацепившись за камни, белые облака. Я никогда не видела их настоль-ко близко. Попробовала погладить облако — и рука сразу же пропала в

сыром тумане. Вытащила руку обратно — и нет его, облака! Только белые перышки стелились по траве. А из-за куста, перекатываясь, словно живое, выплывало еще одно...

Но все это длилось недолго. Возшло солнце — и растворились облака в бесконечной синеве летнего неба.

— Вернулись наконец! — воскликнула Галя. — Мы за вас переживали. Такой дождь был, такой туман! Зря, наверное, затеяли этот поход...

— Нет, не зря, нам очень понравилось, — заверила я. — Здесь у вас вообще так хорошо, так красиво...

— У меня эта красота уже вот где сидит! — Галя резко провела пальцем по шее. — Ну, давайте переодевайтесь. Поди, голодные?

— Нет, мы на озеро пойдем, — сказала Настюшка.

Так хорошо после долгого похода сбросить пропахшую кофтом и сыростью одежду и искупаться в озере! А потом долго лежать на берегу, глядя в бесконечное синее небо, где вырисовывается вершина священной горы...

Дядя Вова сдержал слово: дал Антону денег, и вечером тот на радостях угощал весь поселок.

Уезжали мы рано утром. Провожали нас Галя, Сашка и Женька (дядя Вова ушел на озеро проверять раколовки). Женька, немного помявшись, подошел к Настюшке.

— Держи, это тебе. — Он протянул ей маленькое колечко, найденное неизвестно где.

— Мне? — удивилась Настюшка. — Зачем?

— Ты мне понравилась, — ничуть не смущаясь, ответил Женька. — Я хочу с тобой дружить.

— Женья... — Настюшка ожидала чего угодно, но только не этого. — Ты знаешь, сколько мне лет?

— Это ничего, — заверил Женька. — Когда я вырасту, то обязательно на тебе женюсь. А пока возьми это колечко... на память.

К дяде Вова мы больше не ездили. Да и наши встречи с Настюшкой стали редкими: все время забирала учеба. Все же иногда, на выходные, мы приезжали к бабе Зине.

В один из таких выходных к ней приехал и дядя Вова. Рассказал, что Митьку он выгнал из дома еще по осени, когда понял, что работать тот не хочет. Парень подался к родителям. Случилась там пьяная драка, и сейчас Митька мотает срок — за убийство. Антон сгорел, уснув с непотушенной сигаретой, сгорел и его дом, пострадали соседские огороды. Санька ходит в школу, но учиться не желает.

— Уезжать буду оттуда, — говорил дядя Вова, сидя за накрытым столом. В кухне витал аромат свежее испеченных булочек. — Раков меньше стало, не идет работа.

— Значит, загрязнилось ваше озеро, — рассуждала баба Зина. — Раки первыми уходят, если вода становится грязной.

— Да не! Выловили просто всех.
— А куда пойдешь? — поинтересовалась баба Зина.
— Да хоть к тебе, — засмеялся дядя Вова.
— Но-но, мне твоя Галка тут не нужна! — рассердилась баба Зина и тут же с легкой усмешкой добавила: — Я, может, замуж скоро выйду.
— Да ну, бабушка! И за кого же? — ахнула Настюшка.
— Сосед ко мне сватался, дед Степан. Прасковья-то его... Царствие ей небесное...
— Так он совсем старый, — вздохнула Настюшка.
— Зато состоятельный! — Дядя Вова расхохотался. — Соглашайся, мать.
— Нет, — улыбнулась баба Зина. — Он уже нашел себе помоложе невесту.
— Это кого же?
— Да из соседнего поселка сосватали ему вдову. Она одинокая, силы есть за хозяйством приглядывать, а дед Степан-то и правда небедный, дом ей обещал оставить.
Сквозь легкую шторку просвечивал полыхающий малиновым заревом закат.
— Ешьте, ешьте, — баба Зина суетилась, подкладывая нам варенье. — Вот окончите свои университеты, совсем к бабке ездить перестанете...



Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ

ЖЕРТВА

Р а с с к а з

— Вставай, Юрик! — тормошила Вера пьяного казаха. — Ты посмотрел, каких нам коней оставили, а? Ты сбрую проверил? Седла? Ты, в конце концов, будешь шевелиться?! Нам завтра выходить с утра...

Казах невнятно забурчал и натянул на голову спальник. Сквозь щели деревянного сарая, приспособленного под перевалочный пункт перед подъемом в горы, лезло настырное солнце. Разлиновывало нары, арчемаки*, спальники, коробки с продуктами. Сверкало бликом на водочной бутылке. Пустой.

— Гадство! — процедила Вера. — Узнаю, кто моему коневоду вчера наливал, — прибью!

Вышла, рванув хлипкую дверь. Знала, прибить не получится: наливали туристы, то есть клиенты, которые всегда правы и для нее, инструктора, человека нанятого, неприкосновенны. И ведь она накануне по-человечески предупреждала: ребята, не спаивайте местных! Алтайцы, казахи — им же только пробку понюхать, и всё, туши свет. Но русские мужики, ошалевшие от долгой дороги в тряском пазике, а потом — от вида белоснежных гор, щедро наливали у костра всем, кто протянет пластиковый стаканчик. Потом ржали во весь голос, так что лошадям икалось...

Теперь туристы отсыпались в палатках, поставленных ночью кое-как, а инструкторы уныло собирали мусор — сжигать. На перевалочной базе собралось одновременно несколько групп, в общей сложности человек тридцать, поэтому мусора было много.

У забора дремали лошади, понутив лохматые головы. Три алтайца, презревшие вчера выпивку, бодро седлали коней, щурясь от яркого солнца. Седлали не всех, а только тех, что уводили домой. Для Веры и ее маленькой группы из четырех туристов и Юрика-коневода они оставляли шестерых. Вере казалось: самых тощих да измученных. Хотя нет... Рыжий — ничего, белый неплох, а серый в яблоках — просто машина из жил! А вот карий конь какой-то больно хлипкий... Других пока не разглядеть.

— Юрик знает, каких коней вы нам оставляете? — спросила Вера.

* Арчемаки (алтайск.) — здесь: переметные сумки, крепящиеся к седлу, для перевозки вещей в конных походах.

Алтаец, седлая могучего гнедого, резко подтянул подпругу, и конь повернул голову, намереваясь укусить. Хозяин рыкнул по-своему, присовокупив русский мат. Гнедой передумал кусаться.

— Знает, знает, — усмехнулся алтаец, сморщившись, как печеное яблоко.

— Что-то сомневаюсь. — Вера развернулась и снова побежала будить своего напарника.

— Да все нормально. Кони поджарые, а не худые, — наконец отозвался Юрик. — А что, уже утро?

Вскоре они выступили в поход как полагается. Проводником — Юрик на хлипком карем коньке по имени Дикарёк. В конце колонны — Вера, которая сдерживала коня с говорящей кличкой Танцуй. Четыре всадника-туриста — посередине. В вышине — бегущие облака, впереди — горы и девять дней пути. И все бы хорошо, но Веру не оставляло тревожное чувство. Глядя на конские крупы, мощные задние ноги, привычно перекачивающие мышцы, не могла понять, в чем подвох. Поднимаясь на первый перевал, вдруг похолодела: подхвостников-то нет!

На перевале, пока животные отдувались боками, а туристы восторженно щелкали фотоаппаратами, обошла каждого коня. Не только подхвостников — ремней через грудь тоже нет. Все седла держатся на двух подпругах. Взяла Юрика за рукав и, оттащив подальше от группы, яростно зашептала:

— Почему седла только на двух подпругах?! А по съезухе пойдем? А под гору? Это разве перевал был! Как на Кара-Тюрек полезем? Арчемаки тяжеленные, конь пернул — подпруга ослабла и седло сползло... Ты понимаешь? А если одна лопнула, а?! На такие маршруты, для подстраховки, все четыре нужны. И под хвостом, и через грудь... Ты всю жизнь с конями, не я! И не понимаешь?

Юрик, и так низенький, коренастый, скрючился до гномьего роста:

— Да всегда на двух, что ты... Нормально все будет.

— А запасные ремни есть? — не унималась Вера.

— Нету. Да все нормально будет...

Но в глаза не смотрел и отворачивался, старался не дышать на инструктора. Перегар ощущался в девственно-чистом горном воздухе еще противнее, чем в сарае. Вера, скрипнув зубами, сжала коневоду плечо. Выяснить, что за проблемы у хозяина, подбежал Черный — пес Юрика. Уставился на злую женщину единственным глазом, и она смягчилась. Отпустила виноватого мужика и погладила пса.

Черный этот, чья обезображенная морда поначалу вызывала испуг, подкупал добротой и прямо-таки человеческой выдержкой. Будет глотать слюну рядом с открытой банкой тушенки или нарезанной колбасой — и ни куска не возьмет, пока ему персонально не бросишь.

— Юрик, ты бы ему вытекший глаз крепким чаем промывал, что ли. Смотри, слезится из-под век.

Коневод шмыгнул носом, промолчал.

— А что твой Дикарёк? — совсем остыла Вера. — Он ведь твой, не хозяйский? Какой-то... еле-еле душа в теле...

— Молодой еще, — выдавил Юрик, — взял обкатать. Пусть при-
 выкает.

— Он у тебя в предыдущем походе, видать, выдохся. Надо было его
 домой отправить, а себе другого взять. Восемь хозяйских коней увели,
 пока ты дрых...

Юрик будто не слышал, гладил Черного.

Вечером у костра Вера рассказывала алтайские легенды. Для евро-
 пейского уха все эти Эрлики, Ульгени, Тюнгурь, Кара-Тюреки звучали
 абракадаброй, но создавали местный колорит, и четверо молодых тури-
 стов, а были они из Москвы, слушали развесив уши. Полная отрезан-
 ность от цивилизации к этому располагала...

— Эрлик — божество подземного мира, — говорила Вера нараспев,
 глядя в огонь. — Обитает он под землей, в железном дворце, на берегу
 черного озера слез. Стережет души умерших. Над озером мост шириной
 в конский волос. Бывает, какая-нибудь отчаянная душа пытается пере-
 бежать по мосту на другую сторону, надеясь выбраться в мир живых,
 но падает в воду. Барахтается, объятая ужасом, а Эрлик, похохатывая,
 вылавливает ее когтистой лапой и водворяет на место... Если подземно-
 му богу хочется развлечься, он выпускает наверх злого духа — шулмуса.
 Примет шулмус облик какого-нибудь человека, живого или умершего, и
 натворит бед. А еще Эрлик насылает болезни, мор, безумие. Чтобы его
 задобрить, приносят в жертву животное в чем-нибудь ущербное. Хромо-
 го или однорогого барана, больного коня...

— А человеческие жертвы на Алтае приносили? — спросила На-
 таша, покусывая травинку.

— Насколько я знаю — нет. Но мне известно далеко не все! — Вера
 сделала загадочное лицо.

— А медведи здесь водятся? — другую девушку, миниатюрную, как
 Дюймовочка, больше заботили реальные опасности.

Ее рыженькая пухленькая подруга округлила глаза:

— Медведи?

Единственный парень в этом «цветнике», по-столичному холеный,
 нацеливал «кодак» на девичьи личики, загадочные в свете костра. Дев-
 чонки делали вид, что не замечают.

— Медведи есть. И волки, и росوماхи, — ответила Вера, обводя
 компанию нарочито строгим инструкторским взглядом. — А еще духи
 воды, земли и огня... Так что по одному не ходить, от лагеря не удаляться!

Вера считала, что атмосфера таинственности, первобытности — часть
 ее работы, не менее важная, чем обустройство походного быта. А уж при-
 пугнуть туристов, заморозить мифами и легендами она умела! Иногда
 ей самой казалось: вот-вот из-за шершавого камня выглянет шулмус или
 дух воды взбудоражит ручей с лунной рябью, схватит за руку, утянет на
 дно... Отскребая от каши котел в ледяной ночной воде, Вера поглядывала
 по сторонам, но луч фонарика высвечивал только валуны да прибрежные
 кусты. И хотелось, и кололось увидеть нечто особенное.

Но это ночью. Днем было не до мистики. Хлопотный круговорот
 котлов, палаток, арчемаков, седел, дров... Долгие переходы, крутые пере-
 валы. Тропа — камни, рытвины, корни.

Молчаливый Юрик старался вовсю. На каждой остановке проверял подруги, подтягивал, пыхтя, повернув засаленную кепку козырьком назад. Помогал девчонкам садиться на коней.

Группа двигалась ровно. Серый по кличке Адмирал мог дать фору даже легендарному Буцефалу. Едущий на нем фотограф держался гордо, как император, делая вид, что управляет конем. На самом деле Адмирал сам прекрасно знал, с какой скоростью идти. Белый мерин, теперь ставший серым от пота и грязи, вышагивал мерно. Танцуй пританцовывал. Остальные кони вроде бы тоже держались нормально, но Вера видела: Дикарёк сдает. Он спотыкался, спотыкался — и в конце концов упал на колено. Оказалось, подвернул и поранил переднюю ногу.

Вот досада! Нарушая субординацию, инструктор сама повела группу. Помрачневший Юрик плелся со своим хромящим конем в конце колонны. При другом раскладе Вера бы радовалась: первой поднимается на перевал, навстречу сверкающей Белухе! И день-то балует солнцем, и душа вот-вот запоет, но... Но там, в конце колонны, хромал Дикарёк. Бабка над копытом опухла. Эластичный бинт пропитался сукровицей.

— На следующей стоянке распределим вес из арчемаков Дикарька по остальным, — решила Вера.

Юрик согласился. На стоянке первым делом разбинтовал ногу вздрагивающего коня. Вздыхнул, полез за мазью.

Наташа, до того не распространявшаяся, чем она занимается в Москве, спокойно сказала:

— Дайте и я осмотрю. Я ветеринар.

Вот это да! Инструктор с коневодом переглянулись.

Осмотрев промытую рану, Наташа успокоила Юрика:

— Царапина не глубокая. Кость цела. Давайте то, чем вы обычно такие раны мажете, я обработаю и перебинтую. И коню нужен отдых.

— Я бы сама его тут оставила, но у нас еще пять дней пути... — вмешалась Вера. — Юрик, что ты молчишь?

Коневод весь скукожился, выдавливая слова:

— Нормально все будет. Дойдет, никуда не денется. Доведу. Мой конь.

Наташа пожала плечами:

— Действительно, конь ваш.

Рассказывать байки у костра в тот вечер не хотелось. Ногу Дикарьку помазали, перебинтовали чистым, но стоять он не мог. Лег, вытянув шею над сухостоем. Другие спокойно паслись, а этот затих, глядя куда-то вдаль влажными карими глазами. Оранжевый всполох на вершине Белухи погас, словно последний отчаянный сигнал альпиниста, угодившего в беду. Густели синие сумерки.

Дикарёк опустил голову и совсем потерялся в зарослях. Затаился. Грустную морду коня щекотала травинка, а он не реагировал. Не ел. Бока, не прикрытые потником и седлом, выглядели пугающе впалыми, а ребра выпирали, напоминая остов корабля, выброшенного на берег.

Юрик подошел, погладил Дикарька, что-то прошептал по-казахски. Протянул на раскрытой ладони пучок сочной травы. Конь понюхал и медленно начал есть.



Утром Дикарёк все-таки встал, но, пока пил из озера, все время поджимал переднюю ногу. Вольно или невольно туристы оглядывались на него. Две смешливые подружки, Дюймовочка и рыжая, посерьезнели, но потом горячо зашептались, стреляя глазами в сторону парня-фотографа. Тот молча пожимал плечами: а чем я могу помочь? Ничем. И ловил в объектив коршуна. Наташа покачивала головой: дескать, довели животное...

Но громадность гор, сама Белуха — островерхая и ослепительно-белая, как невеста, отодвинули на второй план страдающего Дикарька. Он ковылял в хвосте колонны, и все про него на время забыли. Все, но не Вера и Юрий. Коневод изнывал от жары и крутого подъема. Дикарёк хромал, но все-таки шел. И вся колонна шла со скоростью Дикарька. Медленно, зато успевая фотографировать окрестности.

Видимо, сообразив, что хозяин обречен плестись позади, пес Черный предводительствовал на тропе. Показывал путь, как будто без него никто не знал, куда идти. Иногда высматривал сурков, неуклюже поворачивая одноглазую морду. Отставал, обгонял, весело повизгивал — и наконец добился своего: настроение у путников поднялось и девчонки даже запели: «Ничего на свете лучше не-ету, чем бродить друзьям по белу све-ету!»

В порывах ледяного ветра горизонтально трепетали белые ленточки, отмечающие безымянный перевал. С высоты открывалась головокружительная панорама от белых гор до сине-сиреневых — до горизонта, до невидимого края. А далеко внизу лежала долина реки Сулу-Айры.

Казалось, Дикарьку полегчало. Юрий снова запрыгнул в седло и возглавил всадников.

На спуске тропа терялась в густом кустарнике и дальше только угадывалась, не более того, настолько дикими и нехоженными были эти места. На гребне, подобно точеным статуэткам, замерло стадо козерогов. Тень орла пересекла долину. Наташа обернулась и улыбнулась фотографу. Тот не замедлил сделать несколько кадров с седла. Вера почти забыла пьяную безалаберность Юрика. Почти простила его, приговаривая:

— И на двух подпругах дойдем...

Лагерь поставили в чудесном месте. С одной стороны — призрачно-прозрачная река, с другой — неприступный склон. Внизу по камням скакали пушистые пищухи, их тут же поймали в объектив. Солнце садилось, пронизывая на прощание бледно-желтые маки, путаясь в густом низкорослом кедраче. Утомленные кони паслись: все, даже Дикарёк.

У старого костровища белел череп горного козла. Однорогий. Прежде чем развести огонь, Вера взяла череп за единственный рог, заглянула в пустые глазницы — и решила унести подальше.

...Забывшись, потерявшись во времени, вышла она к огромному камню, как раз на полдороге между сыпучим склоном и речушкой. Вода говорливая, прозрачная. Листва на прибрежных кустах шелестит...

Сумерки упали внезапно, как бывает в горах. Вера вздрогнула, ей стало неуютно: одна, в стороне от лагеря, да еще с козлиным черепом в руках. Ей все хотелось оглянуться, проверить, не крадется ли кто следом. «Что за глупости!» — одернула себя инструктор и водрузила черепашку на плоский выступ камня, как на полку поставила. Развернулась и поспешила к лагерю.

Когда Вера подходила к костровищу, ей навстречу шла и несла полторашку воды Дюймовочка. Увидев инструктора, она почему-то вскрикнула, уронила бутылку. Пластиковый сосуд покатился, булькая, разливая воду, а девушка залепетала:

— Я же тебя только что видела там, за речкой! — и показала трясущейся рукой туда, откуда пришла.

— Я была в другой стороне, ты обозналась, — сказала Вера, а у самой пересохло в горле. Медленно подняла бутылку: — А крышка где?

— Какая крышка? Как обозналась? Здесь ведь кроме нас никого нет! — Туристка побледнела.

Все остальные сидели здесь же, у костровища, отдыхали, разговаривали, но теперь замолкли, недоуменно глядя то на Дюймовочку, то на инструктора. В наступившей тишине Вера медленно, до неприличия громко глотая, попила из бутылки. Поставила полупустую тару. Сказала:

— Повтори, милая, что ты видела?

— Тебя. Там, за рекой. Ты это была, точно — ты! Длинные черные волосы. Твое лицо — загорелое, скуластое, но какое-то... печальное. Камуфляжная куртка, синяя бандана... Я подошла к речке воды набрать, смотрю, ты на том берегу стоишь. Что это, думаю, нашего инструктора на другой берег понесло? Глаза опустила, воду набираю. Потом глядь — тебя уже нет. Иду в лагерь — а ты с другой стороны! Что это значит, а?

— Вам правду сказать на ночь глядя или как? — многозначительно протянула Вера, а сама уже успокоилась и прикидывала: разыгрывает ее эта пигалица или правду говорит?

Судя по трясущимся рукам — правду. Померещилось ей что-то там, на той стороне реки. Ну что ж, придется побыть мистификатором, очень уж удачно складываются обстоятельства. Даже слишком...

Тут пес ни с того ни с сего жалобно твякнул, да с подвыванием! Из палатки, по обыкновению бурча, высунул чернявую башку коневод. Оба они, и пес и хозяин, оглядывались, вертя головами.

— Да ну вас, что за чертовщина! — взвился фотограф. — Кто-то приехал и встал с той стороны реки...

— Ага. Слона-то мы и не заметили! Тут одна тропа и вся под обзором, — усмехнулась Вера, а у самой мурашки поползли по спине. — Шулмус это был, самый настоящий посланник Эрлика. Только облик принял мой — из прошлого...

— Прекратите, Вера, пожалуйста! — взвизгнула Дюймовочка, переходя на официальное «вы». — Прекратите! Вы же нормальный человек. Что значит — из прошлого?

— Да, — спокойно сказала Наташа, — что за фокусы?

Все устались на Веру, даже пес. Даже Юрий, сказками для туристов не интересующийся.

Инструктор сняла бандану, и волосы черным потоком хлынули по плечам. Присела на камень. Глядя перед собой, стала рассказывать. Медленно, по глоточку.

— Была я здесь три года назад с другой группой. И все было как сейчас: шесть наездников, шесть коней... Только двигались мы в обратную сторону и остановились на ночлег *на том берегу реки*. Помню, отошла я



в темноте от лагеря и стояла у воды, глядя на звезды. А может, думала о чем-нибудь, не помню... В любом случае, мой двойник — это шутки Эрлика. Может быть, он жертву требует. А может, ему просто не нравится присутствие людей. Место-то дикое, сами видите. Здесь силы природы ого-го какие могучие!

— Ни фиги себе! — выдохнула рыженькая. — И как теперь от палатки отходить?

— По двое, — усмехнулась Вера.

— Да ладно, девчонки, скажите, что вы нас разыграли! — встрял фотограф, переводя взгляд с Веры на Дюймовочку и обратно. И даже засмеялся, но никто его не поддержал. — Ерунда это все! Пойду-ка снимаю, пока совсем не стемнело...

И он, с «кодаком» наперевес, прошествовал через лагерь. Однако далеко не ушел, предпочел оставаться на виду.

Юрик хмыкнул и залез обратно в палатку. Девушки погрузились, задумались, а Вера пожала плечами, завязала волосы банданой и развела костер.

Да, она была здесь три года назад, ну и что? Мало ли где она была на Алтае. Но все же, спускаясь с котлом к реке, Вера всей кожей ощущала беспокойство. Такое мурашковое покалывание, идущее от затылка... Посмотрела на коней. Пепельный в сумерках Адмирал казался прекрасной статуей, сбросившей ненужного всадника. Танцуй дремал, покачивая головой. Белый повернул к ней умную морду, на минуту перестав щипать траву. Присутствие безмятежно пасущихся животных уладило Верину тревогу.

Но за ужином, при колдовском мерцании костра, разговор опять свернул на Эрлика и прочую чертовщину. Один фотограф мистикой не интересовался, разглядывая отснятое за день. Наташа тоже смотрела кадры, устроив подбородок на плече молодого человека. Ее каштановые кудряшки щекотали голую шею парня, но он старался не шевелиться, чтобы не спугнуть приятную тяжесть. Вдруг девушка резко выпрямилась:

— А ну-ка, верни! Теперь увеличь! Дай-ка мне!

Она завладела фотоаппаратом и принялась внимательно разглядывать снимок.

— Что там? — поинтересовалась Дюймовочка с любопытством и не без ревности.

— Надо бы, конечно, взять анализы, проверить... Но с гарантией процентов восемьдесят это она и есть.

— Кто?

— Бубонная чума.

— Что?! — выдохнули девчонки.

— Где?! — вскочила Вера.

— Вот, посмотри на фото пищухи увеличенное. Видишь коросты и вздутие под шкуркой? Очень похоже на бубонную чуму. У вас, в Кош-Агачском районе, сейчас эпидемия. Я читала про это в Интернете перед походом.

Вера, хмурясь, разглядывала фото, сделанные здесь, на стоянке, часа три назад. Через ее плечо, как чертик, таращился коневод. Девчонки тоже старались заглянуть, аж подпрыгивали. Вера передала им «кодак» и спросила Наташу:

— Как же ты не побоялась пойти в поход, зная, что в районе вспышка?
 — Я же врач. Зачем паниковать-то? Чума лечится, и если правильно себя вести — не заразишься.

— Наташа, у тебя потрясное самообладание! — восхитился фотограф. — Это та самая чума, от которой вымер Лондон в 1666 году?

— Ну да, — вздохнула Вера, — та самая. Я тоже про нее знала: мне по статусу положено. Зараза идет со стороны Монголии, разносится как раз грызунами. Жара, где-то вскрылся скотомогильник... Несколько человек увезли с подозрением на чуму. Но это в стороне от нашего маршрута, иначе нас бы служба МЧС не выпустила! Я не предполагала, что мы с этим столкнемся... Что я могу? Могу очень быстро свернуть лагерь. Перейдем на другое место, хоть за реку, например. Спокойнее будет.

В повисшей тишине потрескивал костер.

— Чума? Сейчас, в двадцать первом веке? Да вы шутите! — Дюймовочка не желала принимать очевидное.

На ее возглас не обратили внимания.

— Не надо переносить лагерь, — успокоила Наташа, — ни к чему. Если с пищухами селфи не делать, их присутствие не опасно. У пищух свой ареал обитания, они в палатки не полезут. И потом, чума же не по воздуху распространяется.

— А как? — округлила глаза рыжая.

— Паразитами со зверьков. Через укус, — быстро ответила Вера. — В Интернете писали, что первым заразился мальчик, который помогал дедушке разделявать сурка. Блохи со шкурки мальчишку и укусили. Ха! Это предупреждение от Эрлика! Он же насылает болезни и чуму...

— Зашибись, — застонала рыженькая, — опять Эрлик! Я только про этого проклятого двойника забыла. Как теперь идти к речке зубы чистить? Как вообще по лагерю ходить? Я уже не знаю, что страшнее: двойники или чумные зверьки!

— Ложись спать, — сказала Вера, уже сожалея, что напонила ночью про подземное божество. — Или хочешь, я с тобой к реке схожу?

— Нет уж, спасибо! Я так спать лягу, с нечищеными зубами. А что ему нужно, Эрлику? Чисто гипотетически?

— Чисто гипотетически... Жертву.

Тут Юрик, который до этого все молчал, вдруг высказался:

— А я хотел на сурка охотиться! Когда с маршрута вернусь. Что, выходит, нельзя?

— Юра, очнись! Какой сурок? Здесь эпидемия! Ты что, не знаешь? Вижу, не знаешь. Ну, теперь знаешь. Ложись спать. Выходим рано. Как можно раньше.

Разговор иссяк. В раздумьях о чумных зверьках с одной стороны лагеря и шулмусе-двойнике с другой туристы разбрелись по палаткам: три девушки в свою, а фотограф в персональную, — и Вера осталась одна. Сожгла мусор. Затусила костер. Чума тревожила ее сильнее какого-то призрака, в которого она до конца не поверила. Мало ли что может померещиться?

Правда, к реке она тоже не пошла. Котел с остатками гречки так и остался невымытым.

— Засохнет, утром придется отдирать... Ну и ладно, встану пораньше. Жертва ему нужна... Что, Черный, пригорюнился? Гречки с тушеной хочешь?

Но пес отказался есть и свернулся калачиком возле хозяйской палатки, куда — на свое место — залезла и Вера. Ночью она спала урывками. Все казалось: кто-то бродит вокруг. «Кони, — успокаивала она саму себя. — Кони, кони... Дикарёк, Танцуй, Белый...»

Солнечное утро выжгло ночных призраков, разогнало тоску. Оставляя далеко внизу опасных пищух и бесследных духов, всадники поднимались по склону. Сыпучему, голому, головокружительно крутому. Впереди, как положено, Юрик на прихрамывающем Дикарьке. Медленно, как того требовала опасная тропа. Да и не тропа вовсе, а едва заметная белесая полоса на серых, шелкающих под подковами камнях.

Невдалеке по каким-то совершенно невысказанным выступлениям скакало стадо козорогов. Черный коротко твякнул и помчался за ними.

Вера бросила прощальный взгляд вниз, на Сулу-Айры, и разглядела белую точку черепа на темном камне. Там, где она его вчера...

В следующее мгновение как будто кто-то выстрелил. Конь все так же мерными рывками поднимался по склону, но что-то необратимо изменилось. Вера интуитивно схватилась за переднюю луку седла и увидела белое пятнышко на спине своего Танцуя. Вот именно — на спине! Сообразив, что лопнула подпруга — и седло под тяжестью арчемаков, палатки и самой всадницы съезжает к хвосту, — Вера успела выдернуть ногу из стремени, перекинула через круп и соскочила на ходу, крикнув:

— Стой, Танцуй!

Но конь, испугавшись сползающего седла, только ускорился. Одна подпруга оставалась целой. Как в замедленном фильме, Вера увидела конский круп и придержала ставшее неожиданно капканом седло, чтобы Танцуй смог выдернуть из него задние ноги. Копыта опасно мелькнули прямо возле лица, уздечка выскользнула, и конь, свободный от ноши, ускакал. Амуниция покатила было вниз, но зацепилась за выступ. Сама Вера, с трудом удержав равновесие, осталась стоять на сыпучем склоне, тяжело дыша...

— Долбаный Юрик, твою мать! Быстро сюда! Лови коня! — она и не думала раньше, что умеет так орать.

Ей вторило эхо. Где-то покатались, сухо шелкая, камни. Вера, закусив губу, замолчала.

Юрик поймал Танцуя, оседлал. Вера в гневе, расширив ноздри, следила, как коневод тужится застегнуть порванную подпругу на дырочку выше.

— Вот тебе — дойдем на двух! Помедли я полсекунды, ты бы сейчас собирал мои кости! И Эрлика не надо! Все твое пьянство! Подпруг сколько нужно не присобачил, запасных нет... О Господи! Береженого — ты понимаешь, береженого! — бог бережет. Ни хрена ты не понимаешь...

— Да понял я, понял... Теперь-то что... Нормально все будет, — промямлил Юрик и застегнул подпругу.

Оглянулся в поисках собаки, но Черного нигде не было видно. Вздыхнул, больше ничего не сказал.

До следующей стоянки коневод вообще ни с кем не разговаривал. Зато Вера была странно весела. На перевале рассказывала красивые, совсем не страшные истории, напарника словно не замечала. Но вечером, помогая расседлывать коней, позвала дрогнувшим голосом:

— Юра! Юра, иди сюда...

На спине Белого зияла открытая рана. Не просто потертость, а дыра с красными краями, полная гноя. Слева, пониже раны, под шкурой угрожающе набухло.

— Господи! Это что?

— Что у вас там опять? — подросла Наташа.

Юрик глянул на рану и отпрянул как ошпаренный. Сглотнул, заборотал по-казахски, потом присмотрелся, поглаживая Белого по шее, но не прикасаясь к его спине. Вера держала коня за уздечку.

— Юра, что делать будем? Походу, это серьезно.

Коневод молчал. Выглядел он жалко: глаза увлажнились, покраснели, каждая морщинка загорелого лица словно углубилась.

Видя, что напарник впал в ступор, Вера переключилась на Наташу:

— Ты ветврач. Я понимаю, полевые условия и ты не обязана... Инструментов нет, но... Скажи, что делать, — я сделаю. Первый раз такое вижу! Ну, сбивали кони спины, но чтобы так... Мазь тут не поможет.

— Ну почему же — нет инструментов? Я всегда беру с собой хирургическую аптечку. Там скальпель, зажим, обезболивающее... Я не шучу. Профессиональная привычка.

Наташа деловито разглядывала рану, аккуратно надавливая пальцами на шишаки, отчего кровавая жижа в дыре приподнималась.

— Надо сделать надрез ниже вздутия и промывать рану, убирать гной. Убирать отмершие ткани. Я сейчас принесу инструменты.

— Резать не дам! — выпрямился Юрик. — Это не мой конь, а хозяйский! Нельзя резать!

Схватив Белого с двух сторон за щечные ремни, казах и Вера спорили через спину коня, прямо над гноящейся раной.

— Юра, успокойся! Ты врач? Нет!

— Не дам резать!

— Послушай! Я понимаю, ты отвечаешь за коней, как я — за людей. Но Наташа — врач! Она профи. Мы не можем позвонить начальству и спросить разрешения на операцию: связи нет. Ты радуйся, что в группе — невероятнейшее совпадение! — оказался ветеринар. Если кто сейчас и может спасти Белого — только она.

— Не дам резать... Все нормально будет...

— Юра, нет! Нормально уже не будет. Ну хорошо, я беру ответственность на себя... Согласен? Это мое решение.

Белый словно чувствовал, что речь идет о его судьбе: вздрагивал, испуганно косил глазищами, пытался вертеть головой. Часто дышал, вздымая грязные от пота и пыли бока. Над раной вились жирные черные мухи; то коневод, то инструктор их отгоняли.

— Долбаная жара! Ну-ну, Белый, тише! Вылечим тебя! — говорила Вера, поглаживая коня свободной рукой. — Ну, что ты решил, напарник?

Видишь, гной ниже раны скопился? Вот где опасность! Он сам не вытечет и не рассосется. За три дня пути у коня начнется заражение крови... И что тогда? Добьем и прикопаем?

Казах зажмурился, сдался:

— Режьте!

— Стреножь.

Юрик сбегал за веревкой и спутал три ноги Белого. Привязал коротко.

Вся группа толкалась вокруг несчастного мерина, спрашивая, чем помочь. Дело нашлось каждому. Девчонки разрывали на салфетки ситцевые вкладыши из спальников. Вера остужала в ручье соленую кипяченую воду — самодельный физраствор. Фотограф пожертвовал пластиковую тару для умывания — пакет с трубкой, в который этот самый физраствор и налили. Наташа разложила на непромокаемом плаще сверкающие хромом железки.

— Вот это зажим, это — ножницы, — объясняла она Вере, показывая инструменты. — Будешь подавать с правой стороны. Это... пусть останется ложкой. — И правда, Наташа держала за черпак столовую ложку.

Укол новокаина (в хирургической мини-аптечке нашлось все необходимое) — и операция началась. Наташа на весь черенок просунула ложку в разрез, чтобы вычистить скопившуюся под шкурой пакость. Конь напрягся, попытался высвободиться, повернуть голову, но его держали сильные руки.

— Зажим... салфетку... ложку... салфетку... — требовала врач.

Вера подавала, внутренне содрогаясь, но следя за происходящим. Юрик, державший коня за шею, отвернулся.

Когда остатки сгнившей плоти были удалены, фотограф поднял емкость с раствором над головой и направил шланг в образовавшуюся дыру. Картинно встал в позу и замер, посматривая на Наташу: видит ли? Но та, сосредоточенная, деловая, вся ушла в работу. Только каштановый локон, выбившись из-под косынки, легкомысленно крутился на ветру...

Струя раствора хлынула в рану, вымывая гной и кровь. Когда по белому боку зазмеились красно-желтые струйки, Наташа ласково сказала коню:

— Ну все, все! Потерпи, больше резать не будем.

Обработав напоследок рану хлоргексидином, вложила в нее дренаж, скрученный из марли, помазала края антисептической мазью, закрыла женской прокладкой.

Вера набросила на спину мерину остатки ситцевого вкладыша. Юрик закрепил тряпку подпругой, распутал Белому ноги и увел его пастись.

— Посмотрим, что будет завтра, какая динамика... — пристально глядя вслед коню, сказала Наташа. — Использованные салфетки не сжигайте. Их нужно постирать и просушить, за неимением других. Промывать рану будем утром и вечером. Даст бог, сохраним коня. Но ехать на нем нельзя!

— Это понятно, — сказала Вера, собирая окровавленное тряпье. — Конечно. Спасибо тебе.

Поздно вечером, в синюшном свете фонарика, Юрик распотрошил седло и ковырялся в нем. Связывал какие-то веревочки, что-то подрезал...

Вера, отстирав кровавые тряпки, пристроилась рядом.

— А скажи-ка, друг мой ситный, как могло случиться, что за день у коня на спине образовалось кровавое месиво. А? Молчишь? Я же не отстану, говори!

— Седло сломалось и провисло. И сбило спину. Чиню вот.

— Ах, седло провисло? А почему? Не потому ли, что ты эти самые седла перед походом не проверил? И потники тонкие. У Танцуя тоже спина натерта. Не сильно, но...

— Видел. Помазал.

— Дай бог ему здоровья! Завтра все оставшиеся вкладыши кинем коням на спины, прямо под потники. Ты мне еще вот что скажи. На Белом теперь ехать нельзя. На Дикарьке — не знаю, он опять в кусты залег. Схуднал совсем... Копыто сегодня смотрел? Ну?

— Можно на Белом ехать.

— Ты спятил, Юрик?! После того как мы тут, силами, между прочим, туристов, которые за поход платят, операцию сделали, — ехать на Белом? После всей этой кровищи — кого-то в седло сажать? Я что — садистка?

— Да нормально все будет.

— Ой, не зли меня, Юрик! Я отдам Танцуя рыженькой, а сама пойду пешком впереди группы, поведу Белого в поводу. Седло на него наденешь, чтобы повязка не сваливалась, и все. Арчемаки его раскидаем по остальным. Белый пойдет налегке! А ты, если тебе своего Дикарька хоть сколько-нибудь жалко, опять поведешь его в конце.

— Дорога сильно длинная. Сильно длинная.

— Потерпишь, — с этими словами Вера ушла к костру.

Выбрасывая в речку остатки каши, осознала: Черный не вернулся.

Так и пошли они вдоль Аргута — великой алтайской реки. Вернее, шли Вера и Юрик, остальные ехали как полагалось, фотографируя красоты, коим нет числа. А Вера и Юрик топали. По жаре, под оглушающим колоколом солнца. По серебристой пыли, по сухой полыни, сквозь звонкое марево, где Вере нет-нет да мерещились чьи-то силуэты. Но стоило присмотреться — призраки таяли, сливались с очертаниями гор. Первобытных, безмолвных гор, таких же морщинистых, как усталый коневод, мрачно бредущий в хвосте отряда. Дикарьк прихрамывал за ним, опустив голову.

«Эрлик требует жертвы? — думала Вера. — Сказки для туристов! Всё от дури человеческой, от пьянства, от разгильдяйства... Эрлик — он внутри. Черного жалко... Где вот он, чудо одноглазое? А Дикарьк... А Белый... А эти чумные пищухи, а мой двойник? Я же чувствую, есть здесь что-то темное, караулит... Нельзя поддаваться! Эрлик — внутри!»

На следующий день, чтобы не делать пятикилометровый крюк, одолели вброд реку Карагем. Но не разом. Вода быстрая, высокая, мутная — дна не видно. Коневод верхом на длинноногом Танцуне шапупывал дорогу, ведя в поводу Адмирала. И Адмирал, ни на йоту не утратив силы, по очереди перенес людей на другой берег. Рассекая широкой грудью пенящуюся воду, он перешел Карагем десять раз — туда и обратно. Они с Танцуем делали это привычно, размеренно, как и полагается алтайским коням.

Недаром всю свою жизнь скачут кони Алтая по горам, по долам, не зная тесных конюшен, бродят через реки стремительные и опасные! Даже

зимой пасутся они сами по себе, выкапывая из-под снега мерзлую траву. Кочуют целыми табунами по склонам гор, живут под открытым небом в любую погоду, будь то ливень или снегопад... Такова цена их свободы!

Остальных коней Юрик перегнал порожняком. Сверкая мокрыми боками, они тут же принялись пастись.

Когда Вера села в седло Адмирала и уже двинулась вброд, с радостью ощущая мощь этого прекрасного животного, вдали послышался лай... Лай!

Черный бежал вертя хвостом, Черный ворвался в воду как метеор!

Юрик, впервые за неделю, улыбнулся и подхватил пса на седло. А тот вертелся, поскуливал, стараясь лизнуть хозяина в лицо, на котором засверкали то ли брызги от воды, то ли слезы. Он чуть не свалился в реку, но Юрик держал его крепко.

Увидев собаку, туристы на другом берегу закричали «ура».

Вечером стало ясно: Белому лучше. Промывания помогли. Закрывая рану свежей повязкой, Наташа приговаривала:

— Молодец, борешься! Беленький, миленький!

Но смотрела на фотографа. А в последнее походное утро вышла, умиротворенная, из его палатки.

В тот день, последний день пути, к Вере вернулся задор что-нибудь рассказывать. И про Аргут, и про великий и ужасный Карагемский прорыв, рокочущий под тропой, и про снежного барса, обитающего в этих местах... Они приближались к конечной точке маршрута. Приметы цивилизации все чаще выпирали из пейзажа, напоминая, что дикая природа остается позади: появились огороженные пастбища, домики, издали посверкивали стеклами УАЗы.

Вся группа остановилась на полянке, чтобы напоследок сфотографироваться. А еще надо было дождаться Юрика: они с Дикарьком снова отстали.

Разговорились, зная, что скоро расстанутся.

— А вы молодцы: не струсил, узнав про чумных зверьков!

— Да я всю ночь заснуть не могла, прислушивалась. Жуть!

— Зато есть что вспомнить...

— ...спасли коня, сильный поступок!

— Повезло вам, молодые люди, что вы из одного города...

— Всегда мечтал, чтобы моя девушка была врачом.

— ...а я научилась ездить верхом, хотя в первые дни колени болели.

— Мой конь просто прелесть! Как теперь расставаться?..

— Надеюсь, приеду сюда еще...

— А Черный молодец: вовремя нас догнал — на переправе. У, зверюга, дай поглажу!..

Но все замолчали, когда на тропе показался Юрик. Он шел медленно, прихрамывая, и нес на плече арчемаки. Полупустые, темные от пыли и конского пота сумины висели как нищенские котомки. Как высохшие груди старухи. Юрик шел один. Без Дикарька.

Черный, увидев хозяина, вскочил и бросился навстречу.

Подбежал. Обнюхал. И заскулил.

Татьяна САПРЫКИНА

ПОМЕРАНЕЦ

Р а с с к а з

Семен Иванович Батут, полковник на транспорте в отставке, сам по себе был человек невредный. Но больно уж прямой.

Касаемо домашнего хозяйства он высказывал свое мнение редко: что толку попусту болтать о заготовках или слизнях на капусте. Но в былые времена на железной дороге полковником Батутом пугали не только новеньких, но и стареньких. «Попасть на батут» означало получить разнос жесткий и молниеносный, как приступ почечной колики. Вроде летел по рельсам, и вот — по склону катишься, щебенку коленками считаешь.

Узнав про онкологию, Семен Иванович запретил себе панику. Решил подойти к вопросу с рабочей обстоятельностью. Задача убийственная, но настоящего бойца сложность только поднабивает.

Исходные данные были недобрыми. Спецполиклиники и палаты для «своих» позакрывались. Матерые знакомые доктора отправились на заслуженный отдых или поумирали. В современной медицине пугало все. И особенно спокойствие участкового: «Сейчас у каждого второго рак». От платных докторов Семен Иванович тоже ничего хорошего не ждал. Это тебе не поясницу «звездочкой» намазать. Онкология, от нее рецепт не выпишешь.

Нацепив очки, Семен Иванович засел за компьютер. В Интернете ему встретились ужасные вещи.

Отчаявшись найти ответ у официальной медицины, он, тайком от семьи, обратился за нетрадиционной информацией.

Семья Батутов из четырех человек жила в поселке Мочище. До работы зятю Семена Ивановича — Кириллу Фомину каждый день приходилось добираться по пробкам. Дочь Юля работала в местной школе. Ей вроде особо перемещаться было не обязательно, но все равно хотелось самостоятельности. Молодые мечтали об отдельной квартире в городе. Дочь ныла, зять поскуливал, но Семен Иванович дом продавать не давал. Наоборот, выйдя на пенсию, завел пса Мухтара — размером с шахматный столик. Научил его приносить тапочки всем, кроме зятя.

Кирилл хоть и называл себя топ-менеджером высшего звена, все же Семена Ивановича побаивался. Однако выходило так, что, кроме зятя, возить полковника в город на консультации к врачам было некому.

В машине больной обычно предпочитал тишину. Он дремал, утомленный препирательством с докторами. Медицина полковника расстраивала.

* * *

Кирилл, вполголоса ругаясь, выруливал со сложного перекрестка. Зазвонил телефон. Фомин включил громкую связь.

— Козлика-то взял? — спросили его после короткого приветствия.

Кирилл опасливо покосился на Семена Ивановича. Тот с каменным лицом и закрытыми глазами, в добротном черном пальто с меховым воротником, неподвижно присутствовал на переднем сидении.

— Половина моя? Как договорились?

— Не взял, — тихонько прошипел Кирилл. — Некогда было. В эти выходные поеду.

Он мысленно облизнулся, представив блюдо из козлятины, собственноручно приготовленное на Новый год. Козленок. Молодой. Парной. И рецепт уже нашел в сети...

Вдруг Семен Иванович пошевелился. Словно цементной статуе в парке почему-то пришло в голову стряхнуть голубя с кепки.

Статуя изрекла как припечатала:

— С тобой поеду!

Досадливо удивившись про себя, Кирилл отключил громкую связь. Рассеянно помахал дворниками, расчистил снег на стеклах (яснее не стало) — и, как пишут в сказках, «перечить не стал».

«Интересно, с чего это Батуту приспичило тащиться в деревню?» Зять мысленно пожал плечами. Может, скучно человеку зимой в поселке Мочище. Может, он хочет проветриться. Это ведь не запрещено. Особенно если человек приболел.

Так что за козликом пришлось ехать на пару. Семен Иванович молча одобрил тихую отечественную попу в салоне.

В деревне в выходной было тихо. Хозяева, промышлявшие свежим мясом, предложили стол и баню. От бани гости отказались, а чая попросили.

Хозяин оказался болтливым.

— Бить надо в сердце, — наставлял он побледневшего Кирилла, макая печенюшку в кипяток. — Один раз. А то тычут, тычут... Не умеют. Смотреть тошно. Вам молочного?

— Да, желательно, — нерешительно согласился зять.

Семен Иванович, расправившись с чаем, молча накинул пальто и двинулся к загону.

Воняло. Козлики топтались по грязному снегу и были заняты своими делами. Батуту они почему-то напомнили стайку пенсионеров, терпеливо осаждающих кабинет участкового терапевта. Один, самый маленький, со свалявшейся шерстью, особенно неухоженной и темной под брюхом, чесал лоб о перекладину и хмуро рассматривал полковника.



Животные толкались боками и вяло переругивались. Крупный самец привычно оттеснял товарища помельче в дальний угол. В общем-то, все у них было мирно. Никто не парился по поводу того, что кого-то сейчас забьют.

Семен Иванович вернулся в дом, где хозяин у входа, не переставая балаболить, натягивал старую куртку, а Кирилл за столом делал вид, что ест варенье. Батут аккуратно выложил на стол деньги. Вдвое больше, чем было оговорено.

— Маленького, с колтунами. Грузи на заднее.

И остановил хозяина, нацелившись пальцем в грудь:

— Живого.

Никакого волнения у полковника в голосе не было, хотя, согласитесь, все это выглядело очень даже удивительно.

Обратно ехали в напряженном, глухом молчании. Семен Иванович, как всегда, дремал с носорожьей невозмутимостью. Повалил снег. Ветер гнал по трассе белые комья поземки. От этого или от чего-то еще Кирилл вел машину неровно и нервно. Стреноженный козленок маялся в мешке на заднем сидении и мекал. Но как только полковник на него гаркнул, брыкаться перестал.

На въезде в город Кирилл все-таки не выдержал:

— Семен Иванович, скажите, зачем он вам, а?

Батут повернул голову ровно на сорок пять градусов и неожиданно пропел:

— Бабушка козлика очень любила...

Зять вздрогнул. Лицо полковника как было, так и осталось серьезным, словно он фотографировался на паспорт.

Дома козлика поместили в теплую сарайку, где хранились дрова для мангала, лопаты, посланные за скрипучесть старые советские стулья из гарнитура, а также метла, которой гоняли Мухтара в его худшие дни. Тут же на стене висел портрет Жукова в рамке и приколотая кнопкой грамота «За трудовую доблесть».

— Ну что, Померанец? — поинтересовался Семен Иванович, ласково пошлепав питомца по боку. — Поживем с тобой еще маленько?

Козлик мрачно молчал. Батут впустил в сарайку своих домашних.

Пес Мухтар козлика одобрил, хотя и облаял. Новый член семьи оказался совершенно не ручным. Дочь Юля попробовала поцеловать его в «няшный носик», но получила в ответ пинка. Жена Ирина Васильевна уже была научена горьким опытом после безуспешных попыток состричь с козлиного пуза колтуны, поэтому только молча крошила в тазик сырую морковь. Зять, всегда болезненно реагирующий на перемены в настроении близких, настороженно наблюдал за сумасшествием, сидя на стуле у двери и вцепившись в мобильник.

Один Семен Иванович был сверх обычного радостен.

— Чем-то кормить его надо, а? — Батут со значением указал глазами на Кириллов телефон.

Зять поерзал и послушно принялся гуглить «сено».

Под Новый год в Мочище никому не сиделось за столом. Весь поселок переходил к Батутам «погладить козлика». Понемногу животинка стала привыкать к близким контактам. Ради порядка, чтобы не подумали, что он совсем уж одомашнился, козлик время от времени бодал Мухтара. Мухтар давать сдачи не имел права.

После двенадцати сытые и тепло одетые Батуты выплыли за ограду запускать салюты.

Пока семья глазела в небо, Семен Иванович тайком отправился в сарайку. Несмотря на уговоры и угрозы жены, он основательно набрался. Но держался браво.

— Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, — напевал полковник.

В сарайке, опершись на спинку стула, он натужно опустился на соломку. Дружески пошевелил бровями в сторону Жукова. И наконец обратился к козлику:

— Эй, Померанец!

Тот насторожился. Он давно просек, что все приходящие в сарайку что-нибудь с собой несут. Козлик внимательно оглядел руки посетителя в поисках яблока или черной краюшки. Сладкое Семен Иванович запрещал.

Но руки у Батута были пусты. Он сложил их на животе и выпятил нижнюю губу.

— Вот ты спросишь, убивал я?

Полковник согласно кивнул и с готовностью ответил сам себе:

— Канешна-а-а...

Потом уютно рыгнул.

— На рыбалке знаешь сколько вашего брата, бывало, за раз вытаскивал? И на охоту с мужиками ездили под Карасук. На уток. Один раз даже кабана завалили! Я или не я стрелял, не помню, разве разберешь? Шум, гам, крики. Все палят... А как было иначе? Иначе нельзя. Зовут тебя на охоту — надо идти. Значит, кто-то из начальства приехал.

Батут потянулся было к козлику поласкаться, но тот переступил подалее, к сену. Тогда Семен Иванович суровым взглядом окинул стул у двери, будто бы представив там болтающегося без дела зятя. После чего перешел на доверительный шепот.

— Ты думаешь, я не знаю, что скоро помру? Да, товарищ козел, помру! Так точно.

Он опустил голову и погрузился. Потом развел руками.

— Знаю. А все равно неохота. Но ничего же не поделаешь. Раз надо — значит, надо.

Козлик, не найдя вкусняшки, потерял к полковнику всякий интерес. Вытянув губы, он принялся жевать Юлин школьный бантик, привязанный на спинке одного из стульев. Честно сказать, он вообще слушал Батута очень невнимательно.



— Я в компьютере нашел знаешь что? Есть древнее средство себе жизнь продлить. Восточное, индийское — один ляд их разберет, не важно... Надо зверя, который на убой, выкупить.

Семен Иванович победоносно откинулся, гулко стукнувшись затылком о деревянные рейки на стене. Но козлик никак не отреагировал и на это. Он продолжал сосредоточенно жевать старый дочкин бант.

Не дождавшись отклика, Батут закончил совещание. Кое-как сумев подняться, поплелся в дом.

Пока за забором барагозили, кричали, прыгали и дивились салютам, Семен Иванович прошел на второй этаж, в спальню, согнал с кресла кошку и сел писать.

Чувствовал он себя немного разбитым. Мешали всполохи яркого света за окном. Екала печень. Но что-то, однако же, и вдохновляло.

Дом в Мочище он завещал жене, Ирине Васильевне Батут, такого-то года рождения. Сбережения — дочке Юле. Пусть купят уже себе квартиру в городе, если так приспичило.

Семен Иванович задумчиво посмотрел на улицу, где, едва успев родиться, новый год уже бахал, взрывался и бесился, подбивая людей на разные безумства.

«При условии, что козел Померанец, такого-то года рождения, не будет забит. А умрет сам, когда придет его время. Своей естественной смертью».

Может, коряво, неумело, но это уж пусть юристы поправят, для этого их и учили.

Батуту захотелось прослезиться, но он не смог.

Маленький еще, Померанец-то. Заботы требует. Ласки. Ухода.

Дата. Подпись. Внизу листка машинально, по привычке, как в старые времена, Батут добавил: «Исп. Фомин К.».

Удовлетворенно причмокнул. Вот и пусть исполняет. Топ-менеджер высшего звена.

Когда все вернулись за стол, Семен Иванович встретил семью пугающе широкой и сияющей улыбкой.

— Ну, за новый год! — бодро рявкнул он.

Кирилл, развязывающий у порога шнурки, вздрогнул и схватился за косяк.



Светлана КЕКОВА

«БАБОЧКА БЬЕТСЯ В СТЕКЛО...»

Ясенец

Рыба в ласковых заводях плещется,
лес еще осторожен и пуст,
но в конце долгожданного месяца
зацветает карающий куст.

Как любила я розы и циннии —
здешний слепок иной красоты!
А теперь не могу эти синие,
эти синие трогать цветы.

Я в нехитрую истину верила,
что в мерцающем зеркале рек
отраженьем становится дерево,
птица, жалоба, зверь, человек,

что Господь отраженьями этими
говорит непонятную речь,
а огонь, что дрожит над соцветьями,
может душу погибшую сжечь.

* * *

Ну зачем врагам мы сдались на милость?
Или, может, все-таки не сдались?
Видишь — наши домики развалились,
речки, даже малые, разлились.

За одними бедами ждут другие,
но в конечном счете надежда есть,
ибо в храмах служится литургия,
а потоп могуч, как Благая весть.



* * *

Речи бессвязные, связи опасные, бабочка бьется в стекло...
Где-то во Франции яблоки красные
ест господин де Лакло.

Яблоки красные в век Просвещения слаще, чем были в раю...
Мы без надежды с тобой на спасение
душу губили свою.

Душу губили и тело бесчестили — как это было давно...
А погибать в одиночку ли, вместе ли —
было тебе все равно.

Сколько на мельнице жизненной смолото муки, греха и вины!
Жжет, как огонь, и сияет, как золото,
воздух вокруг купины.

Есть ли надежда душе погибающей, вмерзшей в арктический лед?
В воздухе тающий ангел карающий
слезы горячие льет.

А де Лакло ему машет ладошкой и притворяется мелкою сошкой
и — что опасней всего —
молча лежит под одну обложкою
рядом с аббатом Прево.

* * *

Луч света тонкий, как иголка,
дня расшивает полотно,
и фиолетовая Волга
видна в раскрытое окно.

Из пор земных, из всех расселин
растет травинок миллион,
становится то сер, то зелен
речной воды хамелеон.

Он отликает перламутром,
блестит, как солнце, в летний зной,
а для ребенка ранним утром
сквозь сон сквозит голубизной.

Мир, как окно, для нас отворен,
и нам никто не запретит
смотреть, как над Хвальнским морем
жар-птица в воздухе летит.

* * *

Красоту увидевши, оробела я:
прилетела к нам голубица белая,

голубица белая — чудо странное,
красота небесная, несказанная.

У России-матушки нету силушки,
голубица белая сложит крылышки,

и завоют матери по покойнику,
отдадут тебя соловью-разбойнику, —

голубица белая, чудо странное,
красота небесная, несказанная...

Над Москвою каменной, над столицею
солнце станет белою голубицею —

и затихнет ругань и брань ордынская,
завучит небесная Херувимская,

голубица белая, чудо странное,
красота нездешняя, несказанная.

* * *

Кого подстерегает за углом
вертлявый бес из тайных канцелярий?
Творец крючков, сидящий за столом,
молчит и глаз прищуривает карий.
Вокруг бумажный шелестит гербарий,
нестройно свечи сальные горят,
и в еле слышном копошенье тварей
я различаю: это шелкопряд,
а вот паук, как будто шарик ртутный,
навозный жук в каморке угловой,
а вот в порыве слабости минутной
бумажный червь с мучнистой головой
идет вперед походкой деловой...

Что за напасть? Откуда эта *быть*?
Расчетливый служитель преисподней
советует получше затвердить:



чем ближе место к аду, тем доходней.
И вот безумец с гиканьем и свистом,
живую ртуть сжимая в кулаке,
бежит один в тумане серебристом
с цикадой на высоком парике.

* * *

Мирно в озере плавают уточки
под покровом зеленой листвы,
и звучат ядовитые шуточки
на «Дожде» и на «Эхе Москвы».

Только катится желтой горошиной
солнце Крыма, как призрак беды,
и трагический профиль Волошина
виден рыбам из черной воды.



Геннадий БАШКУЕВ

ЧЕМОДАН ИЗ ХАЙЛАРА

*Роман с одушевленными предметами**

Полкопейки

1.

Город просыпается под трехязыкую молитву и мычание коров. Они несут на рогах клочья тумана: мимо глинобитных хижин и дощатых лавок, где, наскоро пропев тонкими со сна голосами хвалу небожителям, уже раскатывают по полкам ткани и смахивают бычьим хвостом ночную пыль; мимо базара с еще вялой толкотней тележек, груженных капустой, морковью и зеленью; мимо редких юрт, где под перебор четок и невнятное бормотание варят зеленый чай в чугунках; мимо низеньких изб, в коих топят большие печи и крестятся двумя перстами; мимо крыльца двухэтажного дома с тяжелыми ставнями и не погашенным с ночи красным фонарем, где, похоже, не молятся вовсе.

Туман, вспоротый рогами домашних животных, поднимается над чешуйчатой крышей дацана и маковкой церкви, затем, гонимый дымом людских очагов, уходит в долину и к лесистым грядам Хингана, растворяясь в ультрамарине маньчжурского неба. Кукарекают длиннохвостые нерусские петухи. Еще немного — и солнце заиграет в мутноватых водах Хайлара, реки, давшей имя городу. В дацане раздастся мерный стук медных тарелок, в церкви бьют заутреню. Востроглазые подростки с бамбуковыми коромыслами семят кривыми улочками, грохочут ранцами гимназисты с кокардами на фуражках, их сверстники в Новом городе повязывают красные галстуки. Смелее, уже в полный голос, брешут собаки, блеют козы — вослед слабеющему мычанию коров. От железной дороги летит гарь, доносится гудок, означающий, что поезд на Чанчунь проследовал по расписанию, — и по этому сигналу начинаются занятия в образцовой школе второй ступени.

Наконец, вижу мальчика по имени Мантык — как себя самого, до перерождения. Босого, в коротких бумазейных штанах, с неумытой рожицей и синяком под глазом, полученным в драке после игры в ножички.

...Я устал кричать на коров. Как всегда, эти безмозглые твари бредут медленнее, чем следует, — надо до первого солнца, говорит аба**, выгнать

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2018, № 4.

** Аба (бурят.) — отец.



стадо к реке, где трава сочнее. Иногда я грею ступни в теплой коровьей лепешке: пятки жжет иной ранней осени.

Сопки вокруг города в желтых проплешинах. Потом они побуреют, некрасиво польсеют. И тогда, вздымая пенные бурунчики на реке, с ровным свистом, словно гимназист в гильзу, вдоль долины задует ветер из пустыни Гоби, сухой и колкий, как верблюжья колючка.

Передернув плечами, мечтаю на бегу о глотке горячего зеленого чая. Пусть без молока — он ароматный и вкусный, потому что собран в самой южной провинции Гуандун, не устает повторять владелец лавки господин У. Господин этот необычный — лысый и с животом, чем сразу отличается от других китайцев, со спины похожих на мальчишек.

Наши задолжали господину У пять ланов серебра. Не знаю, сколько это будет на маньчжурские юани, живых денег в нашей семье давно не видели. Увидим позднее, когда аба Иста устроится на железную дорогу и принесет рубли. В Хайларе по рукам ходили разные деньги, даже японские иены. Серебром какие-то люди в сумерках расплачивались с абой на заднем дворе за перекрашенных лошадей. Юани аба Иста брал только в крайнем случае. Многие хайларцы во времена Маньчжоу-Го предпочитали серебряные ланы.

Появившиеся рубли были на вес серебра. Например, в магазине Нового города, где живут «советские», можно купить невиданные товары. А не купить, так поглазеть — на диковинный бинокль, велосипед, насос. Женщины гладили эмалированную посуду, рулоны тканей и, улыбаясь, отходили от прилавка. Мужчины ценили инструмент с клеймом «СССР». А еще — запечатанную сургучом водку, не чету рисовой. Детей завораживало на полках иное. Даже на копейку тут можно заполучить кулечек леденцов, на три копейки — набор разноцветных карандашей.

Но были в ходу и полкопейки. Многие думают, что полкопейки на свете не бывает. Еще как бывает! Это же полкулька леденцов! При мне его купил светлоголовый мальчик.

А однажды на окраине города меня поманил голубоглазый человек. Выглядел он странно. Спецовка грязная, в масляных разводах, в таких ходят рабочие КВЖД, а сапоги яловые. Да еще выбрит и пахнет чем-то сладким, леденцами, что ли. Мужчины в Хайларе обычно не брились — только по праздникам. Голубовато-стальным глазом меня прожгло насквозь. Человек быстро и чисто спросил по-китайски. Я понял вопрос через слово и ответил «да».

— Говоришь по-русски? — улыбнулся незнакомец.

Снова пахло приятным. Хайларцы так не пахли — лишь пришлые офицеры: белые, красные, разные. Учувя этот запах, на его носителей даже собаки не лаяли. У людей, пахнувших *дикалоном*, мог быть пистолет — уличные псыны быстро выучили этот урок.

Человек извлек из штанин коробочку с картинкой всадника на лошади, постучал папиросой о крышку. Я замороженно смотрел, как сторает папиросная бумага. Такая нежная, из чужой жизни, где пахнет *дикалоном*. Папиросы я никогда не видел вблизи: аба Иста и соседи, даже женщины, курили трубки.

Человек, пыхнув папироской, спросил, хожу ли со стадом к реке. Я опять сказал «да». Человек протянул монетку и попросил обо всех незнакомцах, идущих в город, тотчас же сообщать господину У. И тогда с нашей семьи спишут долг. Он знал про наш долг!

Подъехала телега с грудой железок, на таких ездили ремонтники КВЖД, и человек-дикалон, отбросив окурок, скрылся в облачке пыли. Но оставил приятный запах.

Я разжал ладошку с залипшей монеткой. Бросилось в глаза грозно выдавленное «СССР», еще какие-то буквы вкруговую, а на обратной стороне: «полкопейки» и «1925». «Пол» написано отдельно и крупно, чтоб, не дай русский бог, невзначай не отвесили полный кулек леденцов, а только *полкулька*. Несмотря на свою половинчатость, монета была весомой. Я думаю, человек со стальными глазами, говорящий по-китайски, дал полкопейки не из жадности: у пахнущего дикалоном — денег что грязи на берегу реки Хайлар.

Он заплатил за *половину* задания.

Читать я толком не умел — ни по-китайски, ни по-русски, ни по-каковски, хотя в Хайларе имелось четыре школы. При этом две русские: белогвардейская гимназия и советская школа-восемилетка, которая распахнула двери в Новом городе через год после открытия железнодорожных мастерских с красным флагом на крыше. Когда на улицах появились солдаты со штыками, открылась и японская школа.

Но я ходить в школу перестал. В семье решили так: пусть Валя и сестры идут по ученой части, а я — по мужской. По части работы. Считать до ста научился — хватит. Я не возражал.

Как много букв поместилось на полкопейке! Прочитать их помогла сестра Валя. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — зачитала сестра по слогам, как прежде молитву, вызубренную для урока Закона Божьего. Ходить в гимназию Валя не захотела из-за толстого батюшки, который за неправильно сказанную молитву больно драл волосы. А в советской школе ее приняли в пионеры, повязали на шею красный галстук. Галстук после прихода японцев аба Иста сжег на заднем дворе.

С этой грамотой сплошные иероглифы. Стало непонятно, на каком языке в Хайларе говорить, не то что читать и писать. Дома — на смеси бурят-монгольского и русского, на улице и на базаре — на китайском пополам с японским и еще на чуток с русскими ругательствами, в школе — на чистом русском. Успевай только башкой вертеть! Ползими Валя ходила в японскую школу: на этом настоял аба. Хотел понравиться новым хозяевам города. Это потом пригодилось: при встрече с солдатами Валя кричала японское приветствие. Они смеялись и опускали винтовки... А ведь я своими глазами видел, как пьяный солдат вырвал из рук матери грудного ребенка, подбросил его и поймал на штык.

Обычно, лишь только раздавалась японская речь, мы с Валею прятались в подполье. Потом додумались до первого закона природы: выживает не тот, кто сильнее, ибо на любую силу найдется сила побольше, а тот, кто умеет сливаться с окружающей средой. Кто наловчился прикинуться неживым, несъедобным. Как это делает лесной паучок, притворяясь палочкой или сухим листиком.



И Валя стала выходить на хайларские улицы с вымазанным личиком, сливаясь с серыми, почти черными заборами. Солдатня перестала обращать на нее внимание. Зацепить взглядом пробегающую собаку, пролетающую муху труднее, чем кажется. К тому же лень снимать с плеча винтовку, чтобы прихлопнуть. Человека — как муху. Разве что на спор.

К этому открытию меня подтолкнула не школа, которую я бросил, а происшествие на утренней пастьбе. Тогда лица пришельцев тоже были вымазаны береговой грязью. Они тоже не хотели привлекать внимания. Прикидывались несъедобными. Это были солдаты взвода разведки, как я понимаю сейчас, переродившись, постарев и поумнев за неполный век.

В то утро выпала наша очередь пасти коров и со стадом послали меня, неуча. Значит, двое солдат, один в каске, другой почему-то в кепи с желтой звездой, расстелив на траве брезент, пристроили на нем деревянный чемодан. Солдат, немногим выше меня, высморкался в рукав, сел на катушку с толстым проводом и распустил обмотки. Напарнику такая вольность не понравилась — он выразил это двумя тягучими словами. Маленький японец сплюнул вместо ответа и снова нагнулся к обмоткам. Винтовка мешала, и он положил ее на брезент. Тот, что повыше ростом, тоже сплюнул и уселся прямо на мокрую траву. Быстрым движением достал из подсумка пачку сигарет.

Маленький оказался телефонистом. Покончив с обмотками, он хозяйски щелкнул замками и раскрыл чемодан. Сверкая никелированными винтиками, на свет явилось чудо — я видел похожий телефонный аппарат в доме с красным фонарем, когда относил туда записку от взрослого дяди. Изнутри к крышке футляра-чемодана была приклеена фотография: на фоне нарисованной белой горы сидит семья. Родители и двое детей. Все застыли с испуганными выражениями. Мальчик — моего возраста. В главе семейства можно было без труда узнать телефониста, хотя на голове у него вместо каски торчала шляпа.

Солдаты, кажется, очень устали и меня как будто не замечали. Из ртов шел пар.

Туман понемногу рассеивался. Маленький солдат показал рукой в сторону города, что-то проворчал. Высокий опять сплюнул и убрал сигареты.

Расплевались тут! У меня застыли ноги, а согреть их в коровьей лепешке не было никакой возможности: стадо, не видя, но чуя пришельцев, огибало место высадки разведчиков. В разрывах тумана проглянула неровная темная полоса — окраина Хайлара.

Маленький покрутил ручку аппарата, зачем-то дунул в трубку и коротко сказал. Подержав трубку, положил ее и усмехнулся. Напарник облизнул губы. Вяло поспорив, солдаты все-таки закурили — как по команде закрыли глаза и вытолкнули из ноздрей дым. Телефонист лег спиной на брезент и вздохнул. Его товарищ вытянул ноги. Морщины разгладились на их лицах, которые стали похожи на лица китайских крестьян на хайларском базаре. Я понюхал воздух, пряный и чужой. Высокий выбросил пустую пачку из-под сигарет. На ней был нарисован корабль с пушкой, красное солнце и иероглиф.



Разглядеть рисунок как следует я не успел: шею похолодило тяжелое лезвие. Штык пригнул меня к склизким обмоткам. Солдаты захихикали. Пахло потом и чесноком. Я старательно почистил рукавом тяжелые, в заклепках, ботинки, заляпанные илом и глиной. От страха меня стошнило прямо на них — к толстым рантам ботинок прилипли кусочки жеваной лепешки.

Смех оборвался. Обе пары ботинок враз дернулись. На землю полетели недокуренные сигареты, предательски дымя. Солдаты вскинули небритые подбородки.

Из тумана возник третий. Он пришел со стороны реки по следу телефонного провода. Он был не в ботинках, а в сапогах со шпорами, и его шинель была чище. Презрительно сощурившись, он свернул козырек кепи вбок и поднес к глазам бинокль.

Хайлар цеплялся за холодное серое небо струйками дыма: ветра не было. Над городом, слабо крича, летали птицы, спугнутые ударами колокола. Базара из-за водонапорной башни не было видно, но чудилось, я слышу голоса — как торгуются и щупают товар покупатели.

Я встал на цыпочки и вытянул шею. Человек удивленно посмотрел на меня: белки глаз были желтыми, в красных прожилках. Он прожедал сквозь зубы и исчез в редяющем тумане так же внезапно, как появился.

Меня обшарили. Карманов в штанах не было, но все равно они нашли зашитую монетку. Полкопейки 1925 года. Выковыряли ее из штанов штыком, больно оцарапав ногу.

Коровы шумно дышали неподалеку, где-то пицал голодный воробей.

Солдаты молча изучали монету. Их, должно быть, поразили буквы «СССР».

Они начали спорить. Маленький японец бросил взгляд на фотографию в крышке телефонного футляра и задумчиво посмотрел на меня, будто хотел что-то сказать. Высокий нахлобучил кепи, потянул из-за пояса штык-нож... Телефонист недовольно прогнусавил. Они опять немного поспорили.

В воздух полетела монетка. Мои полкопейки. Высокий поймал монетку, прихлопнул и торжествующе показал товарищу. На ладони тускло отливало: «СССР». Орел.

Телефонист фыркнул, как лошадь абы Исты, ухватил спорщика за запястья и перевернул ладони с зажатой монеткой. На сей раз возникли цифры «1925» и четко — «пол». Полкопейки. Решка.

Трюк известный. Его не раз проделывали гимназисты. Верный результат могла дать только земля. Землю не перевернешь.

Японские вояки тоже когда-то были детьми. Они заставили меня бросать монетку. Я сам должен был выбрать свою судьбу.

Монетка полетела в мокрую траву. Высокий и маленький принялись ее искать.

Голодный воробей бесстрашно клевал остатки моей блевотины. Рядом блестели полкопейки.

Снова подступила тошнота. Страх стянул кожу на затылке. Не дожидаясь, когда монетку бросят в третий раз, я схватил ее и припустил изо всех сил, отбивая пятки о маньчжурскую степь — будто по ней катился огненный шар, опалая спину.



И в ту же минуту все вокруг пришло в движение, забряцало, заревело, окончательно разогнав туман.

Я взбежал на сопку, с колотящимся сердцем оглянулся.

Распугивая тарбаганов и повторяя извивы дороги, вдоль реки, от ее притока Кулдура, ползла гигантская темно-зеленая гремучая змея. Она подняла величественные клубы пыли, и первые лучи солнца высекали в них искорки штыков армии вторжения.

2.

Вам никогда не приходилось ездить в багажнике легендарных «жигулей» — «копейки»? Незабываемые впечатления. Никому не пожелаю. Разве что врагу. Может, в «мерседесе», «мазерати» или «феррари» багажник более комфортный, не знаю, не ездил, но в «жигулях» — никаких человеческих условий. Во-первых, он элементарно тесен. На поворотах этот плацкартный отсек эконом-класса еще сжимался в размерах. Во-вторых, колени резала какая-то железяка. Типа домкрата или пилы-«болгарки». Чудовищно воняло резиной, псиной и бензином.

Протестовать было бессмысленно. «Тихо, старый козел», — ржавым голосом просипели над головой. Хорошо, что я был пьян. Иначе сошел бы с ума из-за тошнотных позывов клаустрофобии. Надо отметить, похитители обошлись со мной гуманно, оставив початую бутылку водки. Ее я прижал к груди.

Поначалу я стучал кулаком над своей головой, орал что есть мочи, однако быстро выбился из сил и понял, что лучше сопеть в обе ноздри. Раз меня затолкали в багажник, значит, я зачем-то нужен. Неужели меня будут пытаться?!

Лиц напавших среди бела дня я не успел рассмотреть: все произошло стремительно, как в дешевом боевике. Заломили руки, дали под дых — я поперхнулся пивом, банка закатилась под скамейку. Пока откашливался, взяли за руки-ноги и бросили в багажник, словно куль картошки. А когда стал цепениться, получил увесистого тумака в нос. Аж потемнело. Барабанные перепонки разорвались от хлопка. И в тот же миг взревел мотор.

Сперва я лежал на спине, но стал давиться чем-то теплым. По солоноватому вкусу понял, что это кровь. Отплевываясь, с трудом залег на левый бок. Приложил прохладное стекло бутылки к лицу. Когда автомобиль остановился, судя по всему на перекрестке, исхитрился глотнуть. Водка была солоноватой.

Интересно, зачем я им, последний туineaдец СССР? Что я им, Альдо Моро? Денег у меня даже на закуску нет. И богатых родственников, способных заплатить выкуп, тоже нету. А если б и были, то заплатили бы только за бензин. В один конец. Куда подальше. Так что пытаться меня утюгом нет резона.

Скорее всего, бандиты-рэкетиры ошиблись адресом. Начинались интересные времена, про которые мы, впрочем, уже слышали и видели по телевизору. Слово «рэкетиры» докатилось до нашего захолустья одновременно с доселе невиданным баночным пивом, но, взболтанная по пути в провинцию, банка при вскрытии разбрызгивала содержимое мимо рта.



Автомобиль подскочил на ухабе. Затошнило. Я стал напоминать собой банку пива. Если я забрызгаю своим содержимым багажник, они, точно, будут пытаться утюгом. Как в кинофильме «Воры в законе».

Что я им сделал? Помню, сидел на лавочке во дворе, пил пиво. Когда пиво проливалось на грудь, то, утираясь, я задевал висевший на шее талисман. Незамысловатый родовой оберег — просверленную монетку на шнурке, полкопейки СССР 1925 года. Пивом я запивал водочку. Жмурился на солнце, задумчиво глядел вслед девушкам. Была бы закуска — покрошил бы ее голубям. В общем, мирная картинка.

Солнце било в глаза, но не внаглую, не лампой следователя, а тоже как бы жмурилось. Комковатые облака на бескрайнем, как море, полотне растерялись, застыли, не зная, в какую сторону бежать. Ветра не было. Люблю такие сентябрьские денечки. Еще тепло, уже не жарко. И девушки ходят туда-сюда. Еще с голыми ногами или уже в тонком капроне.

«Ах, эти девушки в трико нам ранят сердце глубоко!» Так говаривал мой однокурсник Серега Петена в ту пору, когда мы тоже представляли определенный интерес для девушек в капроне. Это было до нашей эры.

...Видения исчезли. Железяка врезалась в колено с новой силой. Затрясло. Путь пошел по бездорожью. Пустая бутылка перекатилась и больно ударила по виску.

Мой ор был прерван светом. Ослепительным, бесцеремонным. Я перевалился через борт багажника и, не вставая с колен, шумно проблевался.

Не успел вытереть пальцы о травку, как услышал рык:

— Полудурки! Вы кого привезли, дебилы? Он же старый, блин!

Кажется, меня не будут пытаться. Стариков не пытаются. Еще помрут от инфаркта. Я поправил на груди монетку-талисман. Полкопейки для полчеловека.

На берегу Селенги стоял Сивоконь, бригадир частных такси. Сивоконь (фамилия или кличка — неизвестно) был не в ладах с законом. И давно. Болтали, одно время он держал воровской общак. Однако с ростом живота и седины завязал с прошлым и подался в «индивидуалы», как обзывали коммерсантов первой волны. Правда, мужики во дворе свидетельствовали, что Сивоконь, он же Сивый, он же Конь, торгует по ночам в такси паленой водкой, дурью и краденой видеотехникой.

— Бакланы! Шпана! Вы зачем человеку харю спортили?! Водилы несчастные! Бандиты недоделанные! Ниче доверить низзя! Ццас самим рога поотшибаю и рожи распатроню!

Сивоконь набычился и выпятил вперед круглый, как пивной кег, живот. У бригадира не было шеи, голова с кепкой-восьмиклинкой начинала расти прямо из пухлой груди. Живот Коня казался больше, чем у его собственной дочки, беременной неизвестно от кого.

— А этого тогда чего — отпустить?

— Верните откуда взяли! — раздался тот же рык.

По приказу шефа два дюжих таксиста в дерматиновых коричневых куртках бережно усадили меня на заднее место. Даже тряпку дали, чтобы утирать кровь и сопли. Тряпка воняла солидолом.

И я опять чудесным образом очутился на той же лавочке.



За последний час ничего в окружающей среде не изменилось. В небе застыли клочки облаков, все так же раздумывая, куда плыть. Небесная синь была цвета стеклоочистителя. Пацаны гоняли в футбол, девочки пищали на качелях, бабки торчали у подъезда, мамы с колясками кучковались у песочницы. Выкради меня вторично, как несчастного Альдо Моро, — никто бы и ухом не повел. Даже дворняги. Пьянство и бандитизм стремительно становились бытовыми.

Хотя мою обшивку оцарапали в мелком ДТП, в целом я не имел претензий к участникам движения. Нет худа без добра. Во-первых, благодаря встряске в багажнике я опорожнил желудок и мне окончательно полегчало. Во-вторых, Сивый передал через своих подручных денежку «на лекарства». А кровушку и утереть можно, не баре. И куртку-ветровку, изгвазданную в солидоле и соплях, давно пора выбрасывать.

Скамейка, на которой я опять пил пиво пополам с водовкой, считалась «пьяной». От глаз милиции и общественности ее прикрывали кусты акации. На ветках иногда росли мичуринские плоды скрещивания — граненные стаканы. И тут до меня дошло, из-за чего кипеж.

Раньше на скамейке сживал бездельник Санек. Бражничал, считал ворон, лузгал семечки, ругался с дворничихой. Прежде он трудился сантехником в ЖЭУ. Легкие трешки, ходовой номинал уходящей империи, испортили этого незлобивого, легкого на подъем светловолосого парня. С засорами, кран-буксами и прокладками он справлялся играючи. Вместо трешницы Санек мог довольствоваться и мятым рублем. Квартиросъемщицы женского пола, от пенсионерок до пионерок, души в нем не чаяли. Еще и потому, что кудрями сантехник напоминал Есенина, о чем возвестила член домкома и заслуженная учительница РСФСР Полина Со-кратовна.

На беду златым кудрям смазливового сантехника, в крайнем подъезде жила дочь Сивоконя. Отец выправил ей однушку. Таня жила одна. А без мужчины в доме то труба потечет, то слезы. Была Таня худа. Ее так и звали — Худая Танька. Мужики в ее сторону не глядели. Взглядом там зацепиться не за что, жаловался дед Жора, ветеран советско-финской войны. Однако Худая Танька очень даже глядела в сторону мужчин. По слухам, вызывала мастеров своего дела на дом и расплачивалась с ними трешками. Скорее, пьяные сплетни. Доподлинно известен единственный случай, когда таксист, застуканный Сивоконем в квартире дочери, из бригады исчез... и всплыл ниже по течению Селенги месяц спустя.

А вот Саня-Есенин в крайний подъезд зачастил. С разводным ключом и без. Опоила его Танька, что ли? Осыпала дармовыми трешками? Да только образцово-показательный до того сантехник начал нарушать производственную дисциплину. Ведь сантехник должен быть лишь слегка пьян и опохмеляться не ранее первого перекура. Санек нарушал этот неписанный либеральный кодекс жилкомхоза. И его турнули без выходного пособия — на лавку. На ней он протирал штаны с утра до вечера, бывало, и трезвый, — ждал, что его позовут обратно в ЖЭУ.

Худая Танька, наоборот, не казалась на люди носа-картошки, напоминавшего папашин. Позднее выяснилось почему. Как ни рядилась дочь



Сивоконя в агрономские плащи, пузо перло наружу. Контраст между худым тельцем Тани и животом папашиных габаритов был разителен.

Синхронно с выходом Худой Татьяны в свет — в женскую консультацию — златокудрого Саньку ветром с лавки сдуло.

И на ней утвердился я. Изгнанный с малозначимой работы, торчал на скамейке и наблюдал течение облаков. Тут-то меня и сцапали сатрапы Сивоконя, приняв за виновника Таниных несчастий. Видать, таксисты-бандиты подумали, что именно такой, старый и облезлый, под стать Таньке-дурнушке. А скорее всего, ориентировка была скупой и тупой: «пьяный на лавке».

Я находился в приятном подпитии, когда возник Саня. Он выполз из подвала ЖЭУ, где ему в очередной раз отказали в вакансии, и жутко хотел выпить. Мне были близки страдания сантехника. Каждое утро я просыпался с мыслью, что уж сегодня-то найду работу, брошу пить и буду делать гимнастику на балконе. Дождавшись за углом, когда жена уйдет на работу, я усаживался на лавочку. Рано или поздно на ней появлялся единомышленник. Далее шло по накатанной.

...Когда мы приканчивали вторую чекушку водки, запивая ее четвертой банкой пива, возле лавки затормозили «жигули» с шашечками и надписью на лобовом стекле: «ИТД Сивоконь».

Снова ехать в багажнике я отказался наотрез. Но два лысых бугая в коричневых куртках и широких спортивных штанах устремились прямо к Сане. История повторилась в деталях. Опальному сантехнику заломили руки, дали под дых и бросили в багажник такси. А когда он начал барахтаться, защищаясь ножным насосом, ему показали отвертку, острую, как шило. И Саня притих.

— Вы чего творите, фашисты?! — вскочил я с лавки, осмелев от пиво-водочного коктейля. — Сейчас милицию вызову!

Мой протест был услышан.

— Это кто тут такой храбрый ментов звать?! — захлопнув багажник, обернулся таксист. — А-а, ты... Мало тебе одного раза? Хочешь еще прокатиться? Колян, а ну, хватай его, пока он в ментуру не слинял!

Место в багажнике было занято. Саня был высок и длинноног, как кузнечик. Вернее, как стрекозел. В любом случае его лето красное пропело.

Я на этот раз ехал с удобствами, прижатый на заднем сиденье коротко стриженным крепышом. Когда машина сбавляла ход перед светофором, я ощущал задницей вибрацию от слабых стуков и слышал невнятные крики. Стрекозел бил копытом. Таксисты ржали.

Мы приехали на то же место. Дивный вид! Река огибала небольшой остров с кустами ивы и уходила вдаль, втекая в небо. Сивоконь, расставив ноги в необъятных штанах, развлекался тем, что бросал камешки в воду, стараясь выбить как можно больше «блинчиков». Увидев нас, он оставил детскую забаву.

— Полудурки! Водилы несчастные! Бандиты недоделанные! Старого козла какого хера опять привезли?

— Да он в ментуру хотел настучать, шеф! — ткнул меня в бок таксист.



— Во, блин, неблагодарный! — Сивоконь от изумления вытянул шею. (Оказывается, у него есть шея!) — Ладно, пусть пока... Давай сюда этого красавчика.

Саню вытряхнули из багажника и привязали к березке. Сантехник заверещал, но ему врезали по печени и сунули в рот тряпку — кажется, ту самую, которой я вытирал кровь и блевотину. Меня же поставили на колени, наказав держать руки за спиной. Когда я попытался почесать нос, то свалился в траву от удара ногой.

— Горе хочешь? — вежливо осведомились надо мной.

Для затравки беседы папаша Худой Таньки обошел дерево с привязанным Саней и дал пинкаря шкодливому сантехнику по вызову. Тот замычал.

— Ну че, блондинчик, на кого внука мово записывать будем?

Саня выпучил голубые глазки и замычал с новой силой.

— Так ты не понял, красавчик? — расстегнул твидовый пиджак и выкатил живот Сивоконь. — Знаешь, кто я? Я отец Татьяны, усек?

Красавчик закивал утвердительно: усек, ежу понятно.

— Отец той самой дуры, которой ты заделал ребенка.

Санек возмущенно выпучился. Сивоконь выдернул тряпку изо рта.

Намолчавшийся сантехник произнес тираду. Из нее, а также из отдельных реплик оппонента выходило, что Худая Танька на седьмом месяце, абортироваться поздно и, главное, эта дура не хочет, а Александр категорически отказывается жениться, мотивируя тем, что «с кем Танька на районе токо не валялась».

Таксисты вразной хмыкнули: дыма без огня не бывает. И прикусили языки от бешеного взора шефа. Сивоконь наклонил голову — белки глаз были красными — и сделал знак.

В ход пошел праведный огонь родительского гнева. К березе подскочил подручный с канистрой и с паскудной ухмылкой облил Саню горячим АИ-93. Златые кудри Есенина слиплись и потемнели.

— Не имеете права! — Бедолага фыркнул бензином. — Я в милицию-у-у!..

— Шеф, гли-ка, и этот в ментуру наострился, сучара! Можя, его проще утопить — и концы в воду?

— В реке потушим красавчика!

Таксисты загоготали.

Стоял прекрасный день бабьего лета. Есенинские кудри искрились каплями горячего. Отговорила роща золотая.

Сивоконь не спеша размял папиросу, демонстративно прикурил от услужливо протянутой зажигалки, подошел к сантехнику и тонкой струйкой выдохнул дым в лицо. Огонек папироски кружил в опасной близости от паров бензина, распространяемых жертвой. Картина маслом баталиста, члена МОСХа РСФСР: несгибаемого партизана в лесах Брянщины допрашивает обер-полицай, куражась перед зондеркомандой.

— Что вы хотите со мной с-сделать? — с дрожью в голосе задал вопрос партизан Саня.

Непонятливого сантехника облили бензином еще раз. Для промывки мозгов. Однако при этом забыли, что арестованного воспитал комсомол.



Правда, комсомол его же и исключил. За бытовое разложение в общезжитии ПТУ. Но прежде воспитал.

Про вынутый кляп в ходе допроса с пристрастием забыли. И блондинчик плюнул в лицо своему мучителю слюной пополам с бензином АИ-93! Папироса в зубах обер-полицая погасла. Сивоконь зыркнул по сторонам лиловым глазом, утерся, брякнул спичечным коробком и твердокаменной рукой бросил горящую спичку на грудь патриота.

Сперва вспыхнули золотые кудри. Сантехник-партизан, корчась, завопил:

— А все-таки она вертится, вашу мать!

Из огня и клубов дыма сквозь треск неслись проклятья в адрес оккупантов и мерзкий запах горелого мяса. Когда прогорели веревки, человек-факел сделал несколько шагов и рухнул в нестерпимо-зеленую траву. От неггибаемого сантехника осталась черная тушка с воздетыми руками-ветками да кучка мелочи на проезд в один конец...

Таксисты-садисты, не сговариваясь, повернули звериные лики в мою сторону. Хорошо, что я стоял на коленях, а то бы ноги подкосились от слов:

— А со свидетелем че делать будем?!

— В демократическом обществе у человека должен быть выбор! — выкрикнул я.

Ответом был квакающий смех.

Я уже ощутил на губах маслянисто-приторный вкус АИ-93, как шевелятся волосы от ужаса и огня, но пинок в плечо — «Руки за спину, кому сказано!» — вернул в реальность.

Саня... стоял живой, мокрый, кудрявый, что береза, к коей был привязан. И без признаков копчения.

Это моя беда. У меня слишком развита фантазия, что в переводе на человеческий язык означает трусость, замечала мама. Однако фантазия перевешивала — я сумел влезть в шкуру малолетнего дяди Мантыка, пастушонка с берегов Хайлара. Мама так часто рассказывала про бегство младшего брата от японского отряда, что я хорошо, еще с детства, представлял, в какую сторону рванул бы по холодку...

Мантык не без основания считал, что обязан своему спасению монетке — полкопейке СССР 1925 года выпуска. Ведь солдаты могли с ходу бездумно проткнуть пастушонка штыком или, зажав рот, перерезать горлышко, но наличие монетки надоумило их бросить жребий.

Когда разные авторы пишут про ужасы оккупации, интервенции, плена, чумы, про то, что жизнь не стоила копейки, пенни, песо, дойчмарки, пачки сигарет, кружки пива, то я, обжившись в оболочке дяди Мантыка, смею утверждать, что в Хайларе тридцатых годов она не стоила и полкопейки.

Когда Мантык рассказал дома о встрече с японским дозором, то аба Иста в мастерских КВЖД просверлил в монетке дырочку, такую же как у китайских монет. Доморощенный талисман отхончик, самый младший в семье, надевал редко, потому что буквы «СССР» могли неверно истолковать японские патрули, наводнившие город.



Семейное предание гласит, что в день гибели Мантыка от рук торговца-китайца, у которого он украл морковку, талисмана на шее у мальчика не было...

Потом монетку носила его сестра Валя, моя мама. Аба Иста просверлил дырочку неровно — шнурки талисмана несколько раз истирались. На моей шее монета висела уже на серебряной цепочке.

— Да согласен я, согласен, да подавитесь вы!..

Визгливый голос вернул меня из долины Хайлара на берег Селенги. Сивоконь задумчиво курил папиросу. Сантехник орал благим матом у березы и трясся.

— Согласный я, отпустите, я больше не буду! — заверещал Саня, едва к его лицу опять приблизился огонек беломорины.

В партизаны-подпольщики Саня не годился. Кишка тонка. Вантуз не тот.

И в этот момент на поляне появилась Худая Танька. Вывалила живот с переднего сиденья. Хлопнула дверцей. Чужая тачка «жигулей» тут же газанула прочь.

— Папка!.. Саша!.. Что здесь вообще происходит?! — пошла в атаку животом вперед дочь бригадира.

— Тихо, доча. Короче, он согласный. — Сивоконь затушил папиросу каблуком.

— Цас же развяжите его!

Кольхаясь животом, Худая Танька бросилась к березе.

— Нет, пусть он повторит прежде... Говори, жених, убью а то! — рыкнул бригадир.

Дочь Сивоконя пыталась развязать узлы на веревках. Саня, учуяв защиту, осмелел. Он тряхнул кудрями, они уже подсохли и напоминали вермишель. И отчеканил:

— Допустим. Я женюсь. Не по любви, учтите. Допустим. Подавитесь!

— Чево-чево? — перестала возиться с веревками Татьяна.

— И «жигули» ваши — «копейка»! — разошелся Санек. — Грош цена вашему концерту!

— А нам подачек не надо! — отвалилась от березы девушка. — Я вам не Худая Танька!

— Стой, доча, — растерялся Сивоконь. — Он же согласился... почти. Че делать-то?

— А что хотите с ним, то и делайте, — пошла прочь Гордая Танька.

Перспектива сгореть или утонуть в качестве свидетеля вслед за несостоявшимся женихом меня не устраивала. Я нащупал талисман дяди Мантыка и поднял руку, как на уроке. Чтоб увидели стоящего на коленях.

— Ну? Тебе-то чего? — набычился бригадир.

— Надо монетку бросить.

— А что, это мысль, — притормозила шаг дочь Сивоконя. — «Жигули» — «копейка», да? Да ты сам гроша не стоишь! Эй, у кого есть копейка?



Таксисты во главе с бригадиром начали выворачивать карманы. Я присоединился к благотворительной акции, не вставая с колен. Нашлась куча мелочи серебром, а копейки — ни одной.

— Давайте рубль бросим, — предложил лысый бугай, заламывавший мне руки. — Какая разница?

— Большая разница, — заметила Гордая Танька. — Я сказала — копейка. Медный грош ему цена. Это я — не он! — буду решать, с кем мне жить.

— Во, у этого есть! — рывком поднял меня с колен амбал. Он протянул руку, похожую на березовое полено, к моему талисману: — Вау! Тут даже полкопейки будет!

— Не трожь, гад! — увернулся я. — Это семейная реликвия.

— Да стой ты, чувырла, не вертись. — Меня намертво обхватили сзади ручищами.

Присутствующие по очереди ознакомились с семейной реликвией, дивясь, что на свете существует половина копейки.

— Полкопейки твоя цена, — засмеялась в сторону привязанного хахаля Гордая Танька.

В ответ Саня что-то проблеял, обмякнул на веревках.

— Небось, баксов стоит, монета ить древняя, — заметил один из водил-бомбил, ковырнув ногтем полкопейки.

— Не-а, она ж порченная, с дыркой. Бракованная, вишь ты, — сказал другой.

— Тихо, бракованные! — растолкал подручных Сивоконь и обратился ко мне: — Слушай внимательно, фраер. Никто тебя не тронет. Мы можем денежку твою вырвать с мясом, сечешь? Но тут судьба человека решается... В животе человек который. Дашь на пять минут монетку, а я тебе за это на бутылку дам.

Я заколебался. На бутылку гипотетическому мертвецу не дают. Не в сивого коня корм.

— Нашел! — вскричал первый водитель-грабитель и показал копейку. — В заднем кармане закатилась в туалетную бумажку... Копейка что надо. «СССР! Девяносто первый год!» Больше таких не будет!

Про полкопейки 1925 года выпуска забыли.

— Решка — отпустить и женить. Орел — казнить, так как не орел он, — постановил бригадир таксистов.

— Да я без вашей копейки женюсь, — подал голос Саня. — Пустите, я буду кем хотите...

— Тут я решаю, кому быть женихом, а кому гореть синим пламенем, — молвила Гордая Танька.

— В демократическом обществе у человека должен быть выбор! — в отчаянии, трепеща березовым листом, крикнул сантехник.

Ответом был сардонический смех.

— Ща будет тебе выбор: в речку или в топку, — изрек таксист и подбросил монетку.

Копейка тускло блеснула в медных лучах заходящей над Селенгой гигантской монеты — солнечного светила — и упала в лапу Сивоконя.



Одно неосторожное движение — и ты отец, остроумно заметил сатирик. А тут не до смеха. Одно неловкое движение — и тебе капец. Однако движение может быть ловким. Этот фокус известен еще по мальчишеским футбольным баталиям. Можно дать монетке упасть в поле, а можно прихлопнуть ее ладошкой. Второй способ рождает варианты. Увидеть сквозь пальцы орел-решку и неуловимым движением, перевертыванием ладони, выдать нужный результат.

Верилось с трудом, но бригадир таксистов, невзирая на пузатый бампер, тоже был пацаном. Когда-то. И тоже знал этот фокус.

— Решка! — возвестил Сивоконь и торопливо прихлопнул копейку своей лапой.

Наложил вето на возражения со стороны невесты и жениха.

Медовый месяц — это когда влип. Что муха в янтаре.

Наконец-то Санька понял тайный смысл устойчивого словосочетания — сидя за свадебным столом с припудренным фингалом под глазом. И я на той свадьбе был, мед-пиво пил. В качестве свидетеля.

Все еще пованивая бензином, Есенин втихаря выражался немедовыми словами и не в рифму. Худая, но Гордая Танька млела в фате, пряча живот под столом.

Галстук на Сивоконе смотрелся как на хряке уздечка. Ворот белой рубашки не застегивался. Пара таксистов-садистов в унисон работали сильными челюстями и чокались друг с дружкой, не дожидаясь официальных тостов.

Когда в очередной раз Санек обдал меня ароматом АИ-93, чтобы выразить категоричное мнение по поводу сборища, я заметил, что из-под распущенного галстука жениха выбилась золотая цепочка. К ней цеплялась просверленная монетка. «1 копейка. 1991. СССР». Реликвия распадающейся империи и всей этой вонючей истории.

Змеевик медный

Спираль 1

Этот медный змеевик, не более полуметра в длину, ужом прополз в наши дни, демонстрируя нечеловеческую живучесть. Извиваясь, что лосось на нересте, — да нет, бери выше! — что сперматозоид, он бесстрашно одолел пороги тернистого пути из феодализма в социализм и рванул далее — по спирали развивающейся демократии. Пережил облавы, антиалкогольные кампании, проработки на товарищеских и мировых судах, увел по ложному следу охотников за цветным ломом. И не покраснел от стыда, лишь позеленел от времени. А ведь ему почитай сто лет в обед, за коим не грех опрокинуть стопку первача.

Когда-то мой дед Иста привез его в СССР во втором уцелевшем чемодане работы хайларского мастера Бельковича. В первом, как известно, контрабандой провезли пару кирпичей.

В канун бегства из Хайлара из-за этого представителя семейства гадюк вышел грандиозный скандал. В маньчжурский диалект вползли



русские маты и завернулись в три кольца. Был полный бенц, как выражался еврей Юрий Радевич. Крик и топот. Из пасти нефритового дракона выпали три шарика. Бабушка Елена категорически не хотела брать самогонный аппарат в страну большевиков и светлого будущего. Места в чемодане и так катастрофически не хватало. Даже для дракона. А тут на жизненное пространство претендует неудобь в приличном обществе сказать кто! То есть что.

После оживленного обмена мнениями решили ограничиться змеевиком — центровой и небольшой деталью чудо-аппарата. Он и получил билет в качестве ручной клади. А вышло — подручного клада.

Самогонный аппарат, конструкцию из нержавеющей железа размером с полешко, дед Иста приволок из ремонтных мастерских КВЖД. Бабушка Елена отметила вредное влияние русских товарищей. Однако едва первую продукцию — литровую бутылку самогона, даже не первая — обменяли на туюсок муки, хозяйка прикусила язык.

А перед отъездом в СССР язык распустила. И даже обозвала мужа архиншой — пьяницей. Хотя пьяницей дед Иста не был. А был вечным работягой, бравшимся за любую поденку. Самогон он гнал нечасто: не хватало сырья. Мелкую хайларскую картошку и ту в доме считали поштучно. В пасть агрегата шли мерзлые картофелины или рис, сметенный в конце дня с прилавков и полов городского базара. И все равно самогонка деда Исты была лучше дрянной чанчуньской водки. Дед-самогоновед успешно менял плоды надомного труда на продукты.

Будучи в вечных раздумьях, чем накормить семейство, Иста Мантосов надеялся в неведомом Советском Союзе выгонкой огненной жидкости уцепиться за новую жизнь. Хотя бы на первых порах. В Маньчжурию они с будущей женой Еленой попали из Приангарья подростками вместе с родителями, крещеными бурятами, которые, как и сотни земляков, поддались на строительство Китайско-Восточной железной дороги. А потом в России случилась революция. Судя по беженцам, наводнившим Хайлар, эта революция ничего хорошего не сулила. Как и СССР. Зато эту силу уважали и боялись. Те же японские солдаты. Эта деталь была главной. Центровой — как змеевик.

Иста с младых лет уяснил одно: самогонку любят и красные, и белые, и желтые. Голубоглазые и узкоглазые. Любил ее, конечно, и мой дед. Просто у него оставалось мало времени для бытового пьянства. От советских рабочих Иван, как звали Исту в бригаде, слышал, что в СССР ввели госмонополию на водку. Даже магазин в Новом городе, где с одного крыльца торговали промтоварами, а с торца — водкой, обзывали «монополькой». Но запретный плод слаще, вспоминал дед Иста русскую поговорку. Слаще и дороже.

Жену он убедил тем аргументом, что по ту сторону границы продаст змеевик за ближайшим углом. Якобы его оторвут с руками (что могут оторвать с ушами, дед как-то не подумал). В итоге медная штуковина, изъятая из тяжеловесного агрегата, прошмыгнула в чемодан и забилась в угол, чуя свою ущербность в моральном плане. Бабушка Елена накрыла змеевик тряпками.



Досмотр таможни был орнаментально-декоративным, как иероглиф. При пересечении границы в вагон зашли два пограничника и, задыхнувшись от спертого воздуха, с зажатыми носами тут же подались вон. Можно сказать, что змеевик прополз в Страну Советов контрабандой.

Сказать можно. Но с натяжкой. По прибытии в Улан-Удэ на станции Дивизионной боец НКВД, обнаружив медную спираль в чемодане, лишь посмеялся. Так змеевик попал в опись вложения чемодана из Хайлара.

Называется, пригрели змею на груди.

Спираль 2

Республиканский наркологический диспансер

СПРАВКА

Внимание медицинских работников!

Гр. (Ф. И. О.) прошел радикальное лечение по поводу хронического заболевания (прочерк), ему проведена имплантация препарата «Эспераль» сроком на 3 (три) года.

Введение и прием любых спиртосодержащих препаратов данному пациенту строго противопоказаны и являются опасными для его здоровья и жизни.

Пациент предупрежден об опасных последствиях, которые могут развиваться в случае нарушения режима трезвости.

(Печать, подпись, дата.)

Такая вот эспераль и спираль истории, понимаете ли.

Радикальное лечение в народе еще называли «торпедо». Медный змеевик торпедировал мою личную жизнь и едва не пустил семейную лодку на дно.

Жена моя законная, вертя справку так и эдак, заметила, что срок и дату можно было не ставить. Тонко намекала на толстую генетику по мужской линии. На тяжелое наследие феодального Китая, где так и не научились делать приличную водку. Припечатала штампом наркодиспансера деда Исту и попутно деда Павла со стороны отца. Тот еще был строитель социализма.

Разговор происходил по завершении полуторанедельного пребывания в закрытом помещении. Я был слаб от курса капельниц, интерактивного общения с тамошней публикой, включая драки с санитарями. Не теряя морального и физического преимущества, жена предложила сдать медный змеевик (она его даже почистила) в пункт приема цветного металла. Я ринулся в темнушку и торопливо щелкнул замками фибрового чемодана. Змеевик при извлечении на свет блеснул надраенными до рыжеватой наглости легкомысленными извивами. Хоть сейчас в бой и в запой.

Одним словом, докатился.

В восьмом классе меня обсуждали на педсовете за то, что в школьном туалете пил вино «типа “Кеши”». Был такой изумительный яблоч-



ный напиток (именно с таким смешным названием на ценнике), продавался на розлив в магазине «Спутник». Стоил 48 копеек за литр. Мама давала в школу копеек пятнадцать. Хватало на коржик и компот. Литр вина — много даже для взрослого. Мы с одноклассниками брали вино в складчину. Так что коржик шел на закуску, а вместо компота, выходит, «типа “Кеши”». Яблочный напиток был столь популярен, что одноименного мальчика пионерского возраста задразнили до того, что он перевелся в другую школу. Но и там, говорят, его звали не Иннокентием, не Кешей, а типа того.

Спрашивается, куда смотрела общественность? Видно, туда же, куда и продавщица — в молочный алюминиевый бидон. Его приспособили под винную емкость. Тетя в заношенном халате, поелозив по дну бидона литровым черпаком, небрежно переливала янтарную жидкость в принесенную тару — банки и бидончики. Мы подставляли под струйку банку из-под томатного сока. Лихо воткнув в посуду воронку, продавщица одним глазом пересчитывала мелочь, другим следила за реализацией винного продукта. И беспрерывно жевала серу. При этом ни капли, ни копейки мимо!

Халат продавщицы был колера мятой алюминиевой фляги. А лица мужиков в очереди — цвета «типа “Кеши”», ядрено-янтарные. Вот вам и общественность. Яблочный напиток они непедagogично называли «мочой» или «мечтой пионера». В общем, пошло несерьезное, годное разве что на опохмел да малолеткам. Лишь однажды нашу гоп-компанию, облепившую уже наполненную банку на подоконнике винного отдела (она не входила в ранец), урезонила статная тетка: «А еще комсомольцы!» Мы ответили торжествующим клеткотом.

Нас выследил учитель истории и обществоведения по кличке Католик. Кличка ему шла. Видимо, такими и были католики. Галстук-удавка, вонючий «Шипр», сам поджарый, темноликий. Член педсовета инквизиции. Поджарился, подкладывая дров в костер для грешников.

Пил я, понятно, не один. На литровую банку слетелись пять одноклассников, что мухи на сладкий компот. В одиночку, болтали пацаны, пьют только алкоголики. Однако на скамью подсудимых угодили я да мой товарищ по парте — тезка Генка Свирин. Плохие гены. Я был твердым троечником, Свирь — не менее твердым двоечником. Два сапога пара, и оба на одну ногу. Генка и подбил нас на пьянку. На подвиг. А я невиноватый — просто выпала моя очередь. Жребий судьбы.

Пили по кругу. Свирь банковал. Граненый стакан украли из автомата «Газвода». Для дружеской пирушки в окружении унитазов мы предусмотрительно выбрали туалет не в главном здании школы, а в пристрое мастерских, куда редко заглядывали учителя. Пили стоя, как на фуршете. Коржики из буфета держали в левой руке. стакан наполнялся доверху, присутствующие перманентно трусили и мечтали скорей завязать с пьянством. Одноклассники нервно поглядывали на дверь, она держалась на хлипком крючке. Виночерпий, стоя на дверях с банкой наперевес, мрачно усмехался, отрезая путь к отступлению. Давясь и проливая напиток, каждый думал о том, чтобы не запятнать себя несмываемым пятном слабака.

Хотя один комсомолец запятнал. Школьный костюмчик. Это был самый мелкий — Сашка Ухов. Ухо и брать-то не хотели, но он обещал



после уроков прокатить всю компашку на колесе обозрения в горсаду, где работала его старшая сестра. Прожигать жизнь — так на всю катушку. Едва Сашка с громким чавканьем дохлебал вино, как сразу метнулся к унитазу и выbleвал выпитое. Свирь заржал. Мы мужественно хохотнули.

Генка торжественно подал мне стакан, наполненный до краев, даже с горкой.

— Это сила поверхностного натяжения, — показал на янтарную дугу Ухо. (После опорожнения желудка ему стало легче.) — Помните, физичка на уроке говорила...

Словно в патриархальной юрте, я бережно принял дар обеими вспотевшими ладонями. И лишь после этого Генка дал Уху оплеуху. Разумеется, в ухо.

Я облизнул губы, сглотнул слюну, выпрямился, будто меня хотели повторно принять в пионеры (самое яркое впечатление, прием в комсомол не помню). На фоне пыльного, вымазанного сизой краской окна вино с рубиновыми переливами смотрелось на твердую пятерку. В животе заурчало. Свирь подмигнул: давай, чувак, на тебя смотрит Родина!

И в этот момент дверь выбили плечом.

— Эт-та у нас што тут такое, а?! — взвился к закопченному потолку туалета скрипучий, иезуитский голос.

На пороге стоял Католик. Морщины на его кувшинообразном лице разгладились от удовольствия. Он улыбался, склонив голову набок и белея пробором.

Учитель шагнул в помещение для фуршетов. Он неотрывно глядел на меня. Собутельники недолго думая прошмыгнули у Католика под мышками. Как мышки. Он даже не пытался их задержать. Последним с чувством выполненного долга слинял из туалета Свирь.

Я убежать не мог. В руке у меня был полный стакан. Рука была мокрой от вина. Мелькнуло: избавиться от улики, вылить ее куда-нибудь! Но до унитаза далеко. И я вылил. В себя. Медленно. Завороженно глядя в глаза Католику. Зрачки историка расширились и обрели стальной оттенок. У меня зашевелились волосы на затылке — честное пионерское! Полагаю, от ужаса. Так загипнотизированный кролик напоследок жует морковку, дабы стать слаще для удава.

На судилище инквизиции сей вопиющий факт признали отягчающим. Выдуть стакан вина на глазах у учителя — это вам не за косички девчонок дергать.

Комсорг класса Люся, сидевшая через парту, смотрела ласково. Даже десятиклассницы шушукались и на перемене бросали на меня взоры. Комсорг Люся, подавая под расписку приглашение на чрезвычайное собрание, задержала мои пальцы в своих. Секс-бомба класса Зоя Мясина, оправдывая фамилию не по годам развитой грудью, на уроке физкультуры невзначай коснулась левым буфером. Я стал героем школы.

Но мне было не до славы. Дома стоял запах валокордина, сводивший с ума нашего кота. Мама тихо плакала. У нее поднялось давление.

На педсовете, куда вызвали родителей, мама готова была провалиться сквозь землю. Генку Свирина называли потенциальным преступником, меня — начинающим алкоголиком. Как в водку глядели. Дальше дру-



гих пошел член родительского комитета, кандидат филологических наук, доцент местного пединститута, тип с академической бородкой. Мы еще вполголоса поспорили со Свирем, сидя на скамье подсудимых: шкиперская борода или пиратская? Доцент, поблескивая стеклышками очков, завел доминантный дискурс об этимологических корнях наших со Свирем имен и, как исследователь, вывел тезис о наследственных генах. То был камешек в огород деда Исты.

Однако был еще дед Павел. Родня звала его не иначе как *дедка* Павел — в прозвище сквозила какая-то несерьезность. Легкий раскардаш. Загул в среднесрочной перспективе.

Еще в молодости *дедка* Павел пристрастился к картам. Эта беда поразила аборигенное население Южной Сибири одновременно с приходом благ цивилизации, электричества, изб-читален и машинно-тракторных станций. А где карты, там и зелено вино. Но карты шли козырным номером. В них играли сутки напролет, забывая покушать, разве что пили — не обязательно вино. Все затмевала игра. Проигрывали дома, скот. Мужчины уже не помнили, как выглядит коса, топор, вилы, седло, покидали родовые места, уходили в Иркутск, где исчезали в подпольных катранах*.

После смерти жены Марины *дедка* Павел бросил пятерых детей. Забота о них легла на узкие плечи старшего сына Тараса, подростка. Это был мой отец. Отрезвила война. *Дедка* Павел появился на пороге старенькой избы как ни в чем не бывало. В карты он проиграл мало, потому что проигрывать было нечего. Дом, в котором прозябали дети, и тот был чужой — раскулаченных односельчан. К тому времени отец находился в Действующей армии, служил офицером. Благодаря его денежному аттестату, а это было богатство по меркам бурятской глубинки, семья и выжила. Как-нибудь я подробнее расскажу об отце, а пока — о моем непутевом деде.

В нем многое шло от детства. Он и к картам прилип, как к диковинной игрушке с цветными рисунками из неведомой сказки. На пороге нашей городской квартиры в одной из первых хрущевок Улан-Удэ он возник в своем стиле — безмятежно улыбаясь, будто ничего не случилось. В кармашке великоватого пиджака с сыновнего плеча торчала колода карт. *Дедка* Павел всегда проявлял интерес к моим игрушкам, восхищенно цокал, раздвигая усы, когда брал в руки гоночный автомобиль с инерционным моторчиком: таких забав в свою пору взросления он не видел. Интерес был искренний, дети это чувствуют. Вместе мы, старый да малый, ползали по полу, катая машинки.

Время от времени дед предлагал сыграть в самое безобидно-детское — в подкидного дурака. Я был не прочь. Все эти нарядные дамы, короли и валеты, черви и пики манили в волшебную страну. И только окрик моего отца заставлял *дедку* Павла испуганно, роняя на палас даму крестей и валета бубей, прятать колоду обратно в кармашек.

Между сыном и отцом-стариком не было доверительных отношений. И разговоров не было — только ворчанье моего отца и виноватая улыбка *дедки* Павла. Время поменяло роли: отец стал сыном-шалопаем, а сын —

* Катран — карточный притон.



строгим папашей. Дед, конечно, чувствовал вину за прошлое, но неглубоко, что ли, как ученик, прогулявший урок.

Лучше относилась к гостю моя мама. Под неодобрительным взглядом мужа она наливала свекру большую рюмку водки и тарелку картофельного супа с мясом — возделенное блюдо бедняков. При этом она выбирала мясо помягче — для стариковских зубов.

Дедка Павел любил невестку, называл ее — бэрхэ, непоседа.

Аккуратно, мелкими глоточками он выпивал водку. Проводил по усам, нюхал корочку хлеба и сидел, прикрыв глаза, словно птица. Почти ничего не ел. Когда мама меняла остывшую тарелку на новую и настоятельно просила дорогого гостя откусать, то дедка лишь улыбался, оглаживая живот: «Пусть впитается...» Наверное, оттого он был тощим — пиджаки болтались на нем, как на швабре.

Дедка Павел интуицией игрока понимал, что второй рюмки ему не нальют. И надо выжать мелкую удачу, выпавшую из колоды буден, до капли. Пусть впитается.

Спираль 3

Так вот о ней, родимой. О злодейке с наклейкой. Даже в мутные годы полусухого закона самогона я не гнал, предпочитая магазинную водку, а змеевик сдавал напрокат по совету знакомого драматурга Базара. У тебя козырь на руках, сказал он, это же золотое дно, лизинг. Базар — имя восточное, рыночное. Не чуднее, чем ваучер, бартер и прочие ужасы капитализма.

Новые времена придали супруге смелости. Медный змеевик она переименовала змеей подкольной. Находиться в доме творению деда Исты стало опасно.

Однажды я пришел с работы и, даже не переобувшись в тапочки, полез в фибровый чемодан. Надо пояснить, домой я заявился в легком подпитии. В редакции за бутылкой итальянского вермута, выставленной корректором Ксюшей по случаю дня рождения, мы полвечера обсуждали выгоды самогонварения при неожиданном раскладе общественно-исторической формации. У кого-то остался талон на водку, их давали на каждого члена семьи, включая грудных младенцев, из расчета две бутылки в месяц на рот или соску. Но водка в магазине кончилась, очереди давно рассосались, пришлось утешиться «катанкой», паленой водкой, купленной у тетки за углом. За редакционным столом, кривя устрашающие рожи после глотка разведенного технического спирта, мы с новым энтузиазмом принялись ругать новую власть. И вспомнили про самогон. Аж слюнки потекли.

Но вернемся к чемодану. Змеевика там не оказалось. Жена пожалала плечами. Однако тревожный взгляд в окно выдал ее.

В фиолетовой дали наступающей ночи зазывно манили огни у тепло-трассы. Около нее каждый вечер горел костер, собирая в круг бездомных и темных личностей. Этот костер, видимый с моего балкона, зажегся с началом реформ. Летом и зимой у него грелись сборщики металла, терпеливо дожидаясь дымящегося варева на тагане; здесь же они ночевали, на-



крываясь картонной тарой. Тем, кому не досталось места у костра, летом отползали в кусты, по осени вжимались в трубы теплотрассы.

В монокуляра восьмикратного увеличения, подаренный отцом в детстве, я видел напольные весы, железный гараж, приспособленный под склад, облезлый диван и кресло, гниющие под открытым небом. В кресле посиживал, судя по позе — нога на ногу, хозяин приемного пункта черного металла и цветного лома. Метрах в ста от костра стоял вагончик. Вроде офиса, полагаю. Бродяги всего города, словно муравьи, стекались сюда с добычей. Иногда добыча в разы превышала габариты человека-мураша. Пару раз я наблюдал, как пацаны катили к весам чугунные люки канализации. У вагончика разыгрывались бессловесные драмы: человечки, отчаянно жестикулируя, сновали от весов к костру и обратно; порой до меня, покуривавшего на балконе, доносился слабый женский крик.

Дело было поставлено с размахом. К концу дня к вагончику подъезжал грузовичок с небольшим краном. Одно слово — «воровайка». Частенько там торчало и иное транспортное средство — милицейская корбочка «уазика».

Утром с больной головой я отправился к теплотрассе в слабой надежде найти прерывистые следы «змеи подкольной». Путь оказался не столь близким, как это представлялось с балкона. Хождение по песку прибавило расстояния. Туфли запылились, то и дело я останавливался, вытряхивая камешки.

Возле вагончика на козлах для распилки дров лежал карликовый, метр с кепкой, цельнометаллический Ленин, крашенный серебристой краской. Впрочем, кепки на вожде не было, как и левой руки, в коей он должен был ее сжимать. Рука с кепкой валялась под верстаком. Зато правая длань указывала путь в коммунизм, где раздают мелкую монету, — в данном случае на дверь вагончика.

Перед ней с утра пораньше маялись три типа неопределенного возраста с мятыми лицами и два пацана. Несмотря на лето, на типах были замурзанные пуховики.

Протяжно скрипнула дверца. Из вагончика вышел шеф — так эти холопы, кланяясь в пояс, именовали своего барина. Шеф был круглолиц, круглобок и золотозуб. Мелькнуло: зубные коронки и те из цветного лома. Хозяин приемного пункта, синхронно ковыряясь в носу и жуя жвачку, развалился в грязном кресле.

Шеф, как видно, был неплохим психологом, если с ходу, без взвешивания, предложил троим за моток медного кабеля и алюминиевые обрезки пол-литру технического спирта. Три друга согласно кивнули и, робко постучав, вошли в вагончик-бухгалтерию. Пацаны, как представители поколения пепси, оказались более прагматичными — за неподъемную крышку канализационного люка, под которой, видимо, ночевали, требовали твердую цену. Приемщик, не вставая с кресла, предлагал вдвое меньше, мотивируя тем, что вообще-то они «по чугуну не работают». Из носа он выковырял нечто, схожее с микрозмеевиком, и теперь разглядывал козьяку на свету.

И тут я не выдержал:

— А если кто упадет в колодезь, кто отвечать будет?

Ковыряющийся в носу хозяин новой жизни раздражал.

— А ты кто такой, коммунист, что ли? — прекратил мелкую моторику шеф.

Японский городской! И этот оккупант ищет коммунистов!

Выяснив, что я не «коммунист», то есть не из коммунальной службы, хозяин подобрел. Кивнув на скоросшиватель в моей руке, он обнажил золоченные коронки:

— Хотите продать оптом? Сколько весу? Имеются расценки.

Кольхнувшись животом, он живо вскочил с кресла, аж пружина звякнула камертоном. Я сказал, что ищу змеевик. Медный такой.

— Че-во? Не-е, приборы учета не принимаем, — выплюнул жвачку приемщик и махнул рукой на Ленина: — Даже памятники в разобранном виде. Да и то большевицкие, поял, да?

Приемщик вершил новейшую историю России. Он вдруг заорал на пацанов:

— А ну, пшли отсюда со своим надгробьем!

— Ну ты и жлоб, дядя, — ответили те и покатали крышку прочь — в другой приемный пункт.

Пустить меня в закрома хозяин категорически отказался. Тон беседы изменился. Шеф смотался в вагончик и вернулся, потрясая бумагами.

— У меня все по закону, поял, да? — брызгал слюной хозяин. — Во, гляди. Да я могу принимать все, что не запрещено, поял? Даже твой змеевик, хотя у меня его нет! Между прочим, самогонварение в стране запрещено. Шляются тут всякие, с папочками... Во, легок на помине! Падла, привез чертей на хвосте...

По узкой колее к нам пылил милицейский «уазик», желтый, что яичко к выборному дню, с синей полосой и синим же колпаком на крыше.

— Зинаида! — заорал шеф в сторону вагончика. — Атас!

Забрехала спавшая под крыльцом собачка. Ленин упал с козлов, вонзившись растопыренной ладонью во влажную с ночи почву. У потухшего костра произошло движение. Бомжи линияли в кусты и ныряли под трубы теплотрассы. Дворняжка, чумазый колобок с заросшей мордочкой, сперва отважно выскочила на шум мотора, но, углядев, что это менты, заскулила и полезла обратно под крыльцо.

Я сел в освободившееся кресло и чуть не провалился в него, ощутив под копчиком жало пружины.

— Эй, на барже! Огоньку не найдется? — вместо приветствия крикнул, вывалившись из «уазика», капитан с сигаретой в руке.

Его китель был распахнут, галстук скособолен. Сержант-водитель жевал пирожок, облокотившись о капот.

Хозяин подбежал и чиркнул зажигалкой. Проводив взором тающее сизое колечко, капитан пошептался с приемщиком лома.

— Против лома нет приема! — оставшись довольным беседой, гаркнул офицер. (Хозяин с готовностью засмеялся.) — Значит, контора пишет?

— Контора пашет, — сверкнул коронками приемщик.

Капитан оглядел Ленина, хмыкнул и тут заметил меня, утопавшего в продавленном кресле.

— Ба! Какие люди! Не узнаю, Гендос, ты, че ль? — крикнул гость.

Буба всегда был громкоголосым. Бывало, орал, как травмированный, со своего левого края, нудил одно и то же, типа: «Я, я, я!» Или: «Пас, мя!» Или: «Край, край!» Просил мяч. Был жаден до игры.

Я не сразу признал в разбитном, с пивным животиком милицейском капитане левого крайнего любительской команды «Динамо», за которую мы играли, начиная с детской секции. Позже выступали за юношескую сборную города, потом недолго на первенстве республики «по мужикам», как говорили. Кажется, Витя, однако по имени его звал только тренер. А вся команда — Бубой, на поле и вне игры, за то что ловко пародировал в раздевалке киногероя Бубу Касторского. Эдакий живчик. Как раз для левого фланга. Бубу даже вызывали на смотрины в команду мастеров в другой город, но он в гостинице учудил что-то с женским полом. Был жаден до игры и до жизни. Левый такой.

— Ну ты как, старик? — нещадно хлопал меня по плечу Буба. — Контора пишет, да? Культур-мультиур? Мяч-то пинаешь, хавбек хренов? А я, мя, иногда вспоминаю молодость. Ты не смотри на трудовую мозоль, — погладил живот бывший форвард, — на ментовском турнире хет-трик сделал, мя, хит-трюк, в натуре!

Капитан захохотал, довольный проходом по левому флангу.

— Чего динамо крутишь, пас на выход не даешь? — опять хлопнул по плечу Буба. — Водочки для обводочки, а? Не ссы, я угощаю!

Приемщик стоял с раскрытым ртом, только коронки тускло отсвечивали.

— Щас, чувак, айн момент, — подмигнул Буба и спросил у приемщика: — Зинка на месте?

Не дожидаясь ответа, зашел в вагончик. Послышался визг, смех. С приклеенной улыбкой капитан выскочил наружу.

— Ну шо, хлопцы, рванули, мя, с низкого старта! — двинул было к машине Буба и удивленно обернулся ко мне: — Че отстаешь, Гендос? Есть проблемы? Ты вообще зачем здесь?

Я поведал про змеевик.

— Хм, а я думал, статью кропаешь, — хмыкнул старый знакомый и ткнул пальцем в приемщика: — Э, командир, че встал памятником? Слыхал, что белые люди тут втирают? Это тебя, меж прочим, касается... Говори, где змеевик, и не говори, что не видел! А то хуже будет. Скажу участковому — живо найдет!

Шеф, уводя взгляд, водрузил карликового Ленина на козлы и лишь потом ответил:

— Дык... того... я его за штуку двинул... Ходовой товар-то... медный к тому ж...

— А это, мя, твои проблемы, хрен оловянный! — сплюнул под ноги капитан. — Сроку тебе двадцать четыре часа. Или медный товар станет вещдоком, сечешь поляну? Против лома нет приема!

Водитель захохотал, роняя ливер из пирожка.

«Уазик» рванул. Я ударился головой, ухватился за поручень.

Правая рука серебристого Ленина указывала вектор движения — в светлое завтра.

«Против ЛОМа нет приема». ЛОМ — линейный отдел милиции! Наконец-то я догнал смысл сокровенной фразы, вселяющей дикий оптимизм и служебное рвение.

В ЛОМе и пили. В подвале, где находилась лаборатория фотографа-криминалиста Костика, худенького, с виду абсолютно штатского в ментовском логове человека. Костик носил джинсовый костюм и длинные волосы не по уставу.

Сперва мы расположились с двумя бутылками в кабинете Бубы, но в дверь то и дело стучались, и старый знакомый, процедив, что в конторе развелось стукачей, увлек меня в подвал. Капитан команды блюл правила игры и не собирался получать «горчичники». А в фотолаборатории окна-бойницы и те завешены черной материей.

— Ну че динамо крутишь, насыпай! — подгонял хозяина подвала Буба.

Костик разливал водку по науке. Сперва наливал в мензурку с делениями, потом переливал в стакан.

— Видал? Культур-мультир! — восхищенно цокал языком Буба.

Закусывали домашней снедью, которой Костика снабдила мама. Иногда откуда-то доносился голос, что рашпилем по металлолому. Не голос — глас инквизиции, искаженный селекторной связью.

— Пьете, суки-и-и?!

Я вздрагивал. И с теплым стаканом в руке озирался на дверь, с минуты на минуту ожидая, что в убежище ворвется Католик — учитель моих школьных лет и, воздев корявый палец к потолку, спросит, почему я не выучил урок истории.

Вместо Католика в подвале «на минутку» возникал двухметровый старлей с красной повязкой «Дежурный по ЛОВД». Лицо дежурного было багровым. Он скрипуче вещал уже без помех интеркома:

— Пьете, суки?! А я за вас чалиться должен, да?!

Выпив прямо из мензурки, он хватал секач для обрезки фотографий и, жуя пирожок с капустой, делал вид, что собирается остричь длинные волосы Костика. Эта шутка повторялась в каждый заход дежурного по ЛОВД.

— Не трожь интеллихенцию! — Буба отбирал резак и выталкивал шутника из лаборатории. — Иди служи Родине. Секи там поляну, мля. Свистнешь, коли начальник...

Опростав литр водки, вызвали водителя-сержанта. На сей раз покупку спиртного субсидировал я — это не обсуждалось.

Отдав «пятихатку», я осмелел и попытался вернуться к повестке дня. Например, взять за жабры приемщика.

— Не, чувак, его плющить нельзя, — посерьезнел капитан и понизил голос, хотя Костик уже был в таком состоянии, что пытался прикурить фильтр сигареты. — Он, в натуре... ну, что, где, когда... Сливаает нам оперативку... Наш осведомитель, короче. Поле чудес! Пас на выход! — Буба повеселел. — Хочу вот завести информатора в борделе. Во будет культур-мультир!

Фотограф уже дремал на диванчике. Капитан же как ни в чем не бывало стоял на ногах-тумбах левого крайнего форварда. О количестве выпитого можно было лишь догадываться по легкому присвисту:



— Не ссы. Найдем мы твой з-змеевик, как пить дать! Как два пальца об ас-сфальт... А пирожки, мля, классные, с-скажи, с-старик?

Очнулся в чужой квартире. Я спал на ковре, точнее, завернувшись в него и подложив под голову чужие вельветовые тапочки. Они, собственно, и заставили проснуться. И так башка трещит, а тут еще вонючие тапки у носа.

На тахте всхрапывал, свесив ногу в носке, хозяин. Бубы нигде не было.

По всем приметам, я находился в квартире видного бурят-монгольского драматурга Базара Э. Однако как я тут очутился?

— Тебя мент притащил, — сообщил, сходя в туалет, Базар. — Я даже струхнул малехо. Из-за самогонки. — Хозяин квартиры подтянул трусы.

Сомнений быть не могло. «Малехо» — любимое словечко Базара.

Я попытался восстановить цепь событий. Что, где, когда... Приволок меня сюда, как видно, водитель-сержант, которому Буба поручил доставить мое тело. Но как я оказался у Базара? Так... сливаем оперативку... ориентировка — змеевик... Стоп. Базар гнал самогон из томатной пасты, чем неоднократно хвалился: типа, «Кровавая Мэри», выпивка и закуска в одном стакане! Так и есть. Ключевые слова «змеевик» и «самогон» слились в моей забубенной (Бубой) башке, и я продиктовал адрес Базара.

Морально стало легче. Провалы памяти бывают только у законченных алкашей. Выходит, по классификации Католика, я всего лишь начинающий алкоголик. Это бодрило. Но в голове шумело, глушило левое ухо.

— У тебя с собой бутылка была, початая... И про какой-то змеевик долдонил. Хорошо, жена в деревне... Малехо ум болит. — Базар взялся за голову. — И пил-то вроде малехо. Однако не помешает. Поправиться малехо.

Денег не было. Даже на пиво. Все деньги я спустил в ментуре. Против ЛОМа нет приема.

Имеется брага, сообщил хозяин. Из томатной пасты. Это было ноухау, по выражению Базара. Паста продавалась в пятилитровых алюминиевых банках и стоила сущие рубли. Кроме прочего в томатной пасте содержался сахар, дефицитный в условиях полусухого закона.

Мы прошли на кухню. Нас приветствовал почетный караул — квартет растопыренных резиновых перчаток, надетых на горловины трехлитровых банок. Банки стояли под раковиной. Мутное их содержимое напоминало то самое разливное вино «типа “Кеши”» или кисель в школьном буфете. В жидкости плавали бордовые прожилки.

Хозяин выбрал банку с самой упругой резиновой рукой, с легким хлопком стащил с горлышка перчатку, бережно взял емкость в обе руки, хлебнул забродившего киселя, закатил глазки, глубокомысленно почмокал губами, как сомелье, определяющий год урожая и сорт марочного напитка.

— Э! Эта уже созрела!

Приложился и я. Определить год урожая томатов не успел. Ринулся в туалет. Два пальца об асфальт.



— Это же брага, — виновато подтянул труссы драматург. — Не конечный продукт. Малехо заготовка для самогонки...

Слушали: пить или гнать? Хотя кворума не было, постановили: гнать, потом пить. Во-первых, первач. Во-вторых, из второй банки.

Базар надел треники с вытянутыми коленками. Его большое и усатое лицо выражало решимость. Хозяин отчаянно загремел кастрюлями. Выяснилось, что самогонного аппарата, о чем он хвастался, как такового нет. Сочинил для фабулы. А народный напиток гонит примитивно — способом конденсации с помощью двух разновеликих кастрюль.

Классический кворум обеспечил внезапно возникший на кухне драматический режиссер Алмазов. Русский режиссер бурятской драмы. Дверь была открытой, пояснил он.

Алмазов возопил:

— Не верю! — и отменил наш генеральный прогон.

Алмазову можно верить: хронический алкоголик. Кроме того, закончил с синим, как он говорил, дипломом престижный ГИТИС и служил очередным режиссером в столичном театре. Оттуда его выгнали после того, как на премьере он громко кричал актерам из-за кулис: «Текст!», «Не верю!», «Куда прешь?» и прочее. Перепутал в пьяном виде спектакль с генеральным прогоном. Алмазова временно сослали на задворки советской империи с официальной формулировкой: «Для повышения художественного уровня национальных театров и укрепления их репертуара». Однако через год, данный штрафнику Мельпомены на исправление, над СССР опустился занавес. Не железный — финальный. И про Алмазова забыли. Ссылка стала бессрочной. Чем отчаянней опальный режиссер барахтался в складках тяжелого занавеса, в бархатных объятиях провинции и запойного катарсиса, время от времени выныривая и грозя вернуться в Москву с новыми задумками, что потрясут столичную сцену, — тем меньше ему верили.

Сейчас Алмазов с ходу заявил, что художественный уровень творческой задумки не отвечает сверхзадаче. Репертуар не тот. И мы, дикари аборигены, не ведаем, что есть катарсис, он же первач, в аутентичной ипостаси. В патриархальной русской деревне самогон-де варили совершенно по-иному.

Но спектакль провалился. Гость схватил трехлитровую банку с полуфабрикатом, влажную от конденсата, — она выскользнула и разбилась.

Накануне тесную кухню Базар покрыл линолеумом. Будто чуял.

Артель старателей застали за странным, непрофильным занятием. Вооружившись совками для песочницы, троица гоняла из угла в угол вонючую лужицу. Затем золотоносную жижу кругообразно трясли на противне из духовки, подражая старателям Аляски и Алдана, и переливали из лотка в детский горшок внука. При этом двое из классической тройки были в трусах, благоразумно развесив штаны на спинке стула.

Сивушная вонь достигла первого этажа подъезда, сообщила появившаяся без стука Света, жена Базара. На площадке собрались соседи, шпана на галерке взбудоражена.

Раздались аплодисменты. По набрякшим щекам драматурга. Потом Света с грохотом сбросила с плеча рюкзак с деревенской бараниной, ото-

брала противень и замахнулась им. Мы отвернулись. Раздался звук, коим в кукольном театре обозначают гром и молнию и разные там превращения с ужасами. Алмазов бежал за кулисы скверно пахнущего действия, путаясь в штанах.

Собранного хватило на полный горшок, равнозначный двум третям литровой бутылки самогонки. Несмотря на фильтрацию, в бутылку попали соринки, волосы, горелая спичка и дохлый таракан. Кроме того, в прозрачной таре напиток обрел цвет детской неожиданности. Выяснилось, что впопыхах перед авралом горшок внука опростали не полностью. Ничего страшного, уверил хозяин, в южных провинциях Апеннинского полуострова и на Балканах детей до сих пор заставляют писать в чаны с давленным виноградом. Для придания напитку крепости и оригинальных ноток в послевкусии. Мы ползли — колено в колено — с просвещенной Европой!

От ползания по линолеуму коленки треников Базара намокли. Тонкие, малоразвитые ноги представителя национальной интеллигенции ходили на конечности большого кузнечика. Он подскочил к супруге на задних лапках, расшнуровал кроссовки и подал тапочки. При ходьбе подошвы и носки отрывались от пола с громким шелестом. У плитуса лежал влажный носок бежавшего Алмазова.

Базар шустро протер липкий пол трениками. Все одно трикушке капец.

Оттаяв, жена подала стаканы и немудреную закуску. Я натянул джинсы. Базар на правах хозяина остался в исподнем.

Пили, отплеываясь от мусора. Первач отдавал детской мочой.

Базар снял с языка длинный вьющийся волос.

— Дай-ка... Откуда тут женские волосы? — Хозяйка подозрительно оглядела находку. — Добро пожаловать, как же. Не успела отъехать в деревню... Кажись, крашенный.

— Да ты чего, мать? Светка, мать твою! — привстал драматург в семейных трусах с орнаментальной надписью «Love». — Гендос, скажи ей!

— Внимательно слушаю вас, Геннадий, — развернулась ко мне Света, безразлично зажав волос двумя пальцами.

Когда меня называют полным именем, например моя законная, я внутри напрягаюсь. Жду подвоха. Вот в Гендосе нет подвоха. А в Геннадии сплошь фальшивый пафос. Напрягаюсь, но собираюсь. С мыслями. И мгновенно выдаю оптимальную версию.

— Ха! — вполне естественно засмеялся я. — Сэсэг, мы ж пьяницы! Тут самим не хватает, баб еще поить... Да это Алмазов крашенный волос из театра притащил! Сэсэг дорогая! Да там все актрисы крашенные. И парики на подоконниках.

Сэсэг — аутентичное имя хозяйки. В переводе — цветок. Но окружающие звали ее Светой. Фонетика посконного бурят-монгольского имени говорила об искренности переговорщика и взывала к объективности. Эдакая психологическая тонкость.

Цветок расцвел. Сэсэг порезала вареный бараний язык, привезенный из родового улуса. Потом еще раз ловко процедила через марлю урожай, собранный с поля, пардон, с пола.



За столом воцарился мир. Мы дружно поругали Алмазова — бабника и алкоголика. Хотя, выбирая из двух соблазнов — женской груди пятого размера и бутылки размером ноль пять, — Алмазов однозначно присосался бы ко второму дару. А пускай. Натворил дел, смылся — пускай послужит громоотводом.

Развивая успех, Базар вспомнил про змеевик. Я понял товарища. То была тоже психологическая тонкость — увести беседу подальше от крашенных женских волос. Мол, такое богатство пропадает зазря. Чистая медь. Начальный капитал. Базар давненько, лежа на диване, мечтал вписаться в рынок, открыть свое дело. «Малехо бизнес».

— Лизинг, слышал? — вскочил со стаканом драматург и подтянул трусы.

Его одутловатое, размером в трехлитровую банку лицо обрело цвет медного змеевика. Детская моча и в самом деле придавала крепости домашнему напитку. Я же, в отличие от хозяина, больше пригублял. Самобытный первач с оригинальными нотками в послевкусии был на любителя.

Я буркнул:

— Лизинг? Лизать с пола?

— А ты не корчи рожи, всем малехо польза! Ноу-хау!

— Поматерись мне тут еще, — вставила Света-Сэсэг.

— Темные люди! С кем я живу!.. Короче. Дашь змеевик на пару месяцев, жмот?.. Сам не ам, другим не дам, да? Собака на сене! Лопе де Фига! Ведь и тебе малехо капать будет! — кричал индивидуалист-надомник, чуток спятивший на почве капитализма. — Томатная паста — это копейки, понял? Лизинг! Франшиза!

Хозяйка вечера оглядела кухню и помрачнела:

— Какая там франшиза, тут одна шиза.

...Провожала меня уцелевшая в заварушке одинокая резиновая рука. Одна из четырех. Подрагивая, она трогательно махала вслед. Судя по крепкому приветствию, содержимое банки созрело для малого бизнеса и рвалось наружу, дабы вписаться в рынок.

Но малый бизнес у Базара не прошел регистрацию по месту прописки: Света запретила франшизу. Цветок коммерческого успеха не расцвел.

Место же моей постоянной прописки пробили по адресной базе ЛОМа, и спустя сутки подросток с грязным носом принес медный змеевик вместе с запиской: «С тебя пол-литра, хавбек. Привет семье. Буба».

Жена увидела змеевик вечером: он клубком свернулся в прихожей, как нагулявшийся мартовский кот.

— Сам приполз, — пошутил я.

Жена серьезно кивнула.

Привет от Бубы был кстати. Пьяная болтовня драматурга с рыночным именем заставила вспомнить опыт предыдущих поколений. В сухом осадке от самогонки, разбодяженной мусором, насекомыми и детской мочой, обнаружилось здоровое зерно.

Змеевик деда Исты пошел по рукам. Лизинг, бартер, мир-дружба. Всем малехо польза. Мутная огненная вода органично влилась в смуту тех дней. Органическая химия. Культур-мультиур.



Зарплату кругом задерживали. За неимением живых денег я поначалу брал продуктами. Жена одобрила бизнес-план. Но арендаторы норювили всучить в счет проката оборудования проросшую картошку, червивую муку, твердокаменную лапшу, китайскую свиную тушенку «Великая стена» (жрать это мыло в трезвом уме было невозможно), избегали поставок дефицитного сахара и вообще всячески ловчили. А то повадились расплачиваться продукцией родных предприятий: им ее впаривали вместо зарплаты.

В результате на балконе и в темнущке нагрелся десяток кипятильников местного «Теплоприбора», пылились залежи кастрюль и тазов завода эмалированной посуды имени Кирова, электробигуды с «Электромашины», дюжина кружек Эсмарха завода РТИ и прочая бесполезная утварь. Кипятильники в конце отопительного сезона я дарил родственникам, а раз с похмелья притаранил эмалированный таз беременной официантке ресторана «Селенга». Таз испуганная девушка надела на выпирающий живот (пришелся аккурат впору), прикрыла его фартуком и унесла в служебное помещение. Взамен принесла коньяку (спиртное разрешалось посетителям с четырнадцать ноль-ноль) в чайном сосуде тонкого стекла в мельхиоровом подстаканнике, с ложечкой внутри и двумя кусочками сахара на тарелке — для конспирации. Позвякивая ложечкой, я выдул напиток чайного цвета. Сахар-рафинад пошел на закуску. В другой раз бартером за кружку Эсмарха налили доверху, под самую крышкy, кастрюлю «жигулевского» на вынос.

Но то редкие удачные опыты. Требовалась наличка. Ее мог обеспечить главный дефицит — водка. Сорокаградусную давали по талонам, розовым в крапинку, — литр горячительного на каждого члена семьи. Засада в том, что после полудневной вахты в гигантской очереди водки тебе могло и не хватить. И тогда уставший, обозленный гражданин, проклиная новые времена, готов был выпить все что угодно. Особенно хорош, говорят, был лосьон «Огуречный».

И пробил звездный час медного змеевика. Истинные ценители самогона без лишних слов платили за лизинг розовыми талончиками. Большинство людей на самогонку смотрели со смутным подозрением. Первач, даже на кедровых орешках, в качестве платежа никем не рассматривался. Нужна была прозрачная как слеза валюта, а не мутноватая жидкость внутреннего сгорания. На запечатанную же пол-литру беленькой, пусть это даже низкосортный «сучок», глядели ясным взором и сантехник, и воспитательница детсада. Водка была лучше денег. Рубль стремительно терял в цене. Стоимость водки росла как на дрожжах.

Одновременно вырос авторитет покойника, независимо от его социального статуса при жизни. По справке о смерти выдавали ящик водки. Зятя становились шелковыми и прописывали у себя тец и дряхлых родственников. До гарнира из толченого стекла обычно не доходило. К чему нам акулий оскал империализма? У нас человек человеку друг, товарищ и группа товарищей. Родной человек не просто так залегает по месту прописки — по мере лежания он становится пушистым, розовым в крапинку, что вождеденный талончик.

Отоваривал водочные талоны я с заднего крыльца, минуя кордоны милиции. Когда все работницы окрестных магазинов, включая уборщиц, стали кудрявыми от электробигудей производства «Электромашины», я, озираясь



по сторонам, сообщил по секрету пухленькой продавщице, что клизма в домашних условиях помогает похуданию. В дело пошли кружки Эсмарха.

На втором году полусухого закона розовые талоны по моей просьбе стал рисовать действительный член Союза художников СССР, живописец-маринист Баир, что в переводе значит — радость. Что ему крапчатые талончики — он брызги байкальской волны гениально подделывал! Я уж подумывал вернуть змеевик в лоно семьи. Однако в пьяном виде у Баира рука с кисточкой дрожала, а пьян он был не только в отопительный сезон, но и в сезон таяния снегов и открытой воды, творчески наплевав на пленэр. Тоже мне, Саврасов!.. Грачи пролетели.

И я продолжил практику лизинга. Нераспечатанной водки в доме стало так много, что бутылки, дабы те не побились, жена перекладывала резиновыми кружками Эсмарха. Мы кушали мясо каждый день. Жена расцвела, стала пушистой, как под электробигудями.

Находясь у первоисточника, я, разумеется, хромчил*. Малехо. Каше-варить у котла и не снять пробу? Хромчил, сказать на глазок, на бутылку в сутки. Благодаря змееву деда Исты в нутро капало равномерно, как из кружки Эсмарха. Пока в глазах не стало темно в розовую крапинку.

Супруга дотянулась в моей комнате до первого ряда книг на верхней полке и обнаружила заначку. Весь второй ряд был уставлен подписными водочными изделиями, частично прочитанными до последней капли. Там же валялись засохшие корки, сморщенные надкусанные огурцы, огрызки ранеток и ошметья квашеной капусты и кружка с надписью: «Заводу эмальпосуды им. Кирова — 50 лет».

Лизинг накрылся эмалированным тазом.

Жена размахнулась кружкой Эсмарха.

Клизма не помогла. Меня доставили в наркологический диспансер.

Спираль 4

— Суррогаты употребляли? — первый вопрос в приемном покое.

Его задают всем поступающим небритым лицам, даже тем, кто не в состоянии дать иного ответа, кроме мычания.

— Самогон... малехо... — опустил я голову. Она была слишком тяжелой. — Вообще-то я не пью...

Я был послушен и тих.

— Сегодня какой день? Четверг или вечер? — спросили вкрадчиво.

А была пятница.

— А год какой?

На этот вопрос я ответил уверенней.

В глаза бил свет из окна.

У меня констатировали алкогольную интоксикацию средней тяжести. Я неуверенно предположил интоксикацию легкой тяжести. Жена хмыкнула. Я присел на кушетку. Сразу захотелось лечь.

Легкая тяжесть бывает, когда буянят, таких сюда не берут, пояснила пожилая санитарка, протирая подоконник. Теперь хмыкнула врачиха. Волосы у нее были лимонного цвета, темные у корней, явно суррогатные.

* Хромчить — подкормиться.



Стараясь не буянить, я разделся до пояса, как велели.

— Дальше, — нетерпеливо сказали из-за стола напротив.

— Штаны сьмай, дохтурша сказала, — проворчала санитарка, выжимая тряпку.

Я зачем-то посмотрел на жену. Она нервно теребила сумочку. И повела плечом: мол, сам виноват.

Врачиха надела золоченые очки, бросила взгляд в мою сторону и сделала некий жест.

— Трусы тоже сьмай, кому сказано, — перевела санитарка.

— Тетя Поля, вы дадите работать? — усмехнулась докторша.

Я хотел возмутиться, но передумал и снял трусы. Жена отвернулась.

Тетя Поля пояснила, что врач ищет следы от укусов в паху и на руках, тут ничего неприличного. Мне разрешили одеться.

Потом врач померила давление, пованивая суррогатными духами. Затошнило. Давление выскочило 150 на 100. Затем попросили расплатиться в кассе — третья дверь по коридору — «за детоксикацию и снятие алкогольно-депрессивного синдрома», как было написано в требовании.

Лишних денег в доме не водилось. Только их булькающая и звякающая сублимация. Самое поразительное в этой спирали истории, что за услуги наркологического диспансера жена расплатилась с заднего крыльца — водочными запасами, полученными за аренду змеевика деда Исты (содержимое початых бутылок было вылито в унитаз). А когда бартерного литража оказалось маловато, на благое дело детоксикации организма пошла эмалированная посуда: ее как раз не хватало в пищеблоке лечебного учреждения и в палатах интенсивной терапии. Особым спросом пользовались тазы.

— Чтoб куда блеваться, — заметила санитарка тетя Поля.

Залежей продукции местных товаропроизводителей хватило даже на процедуру кодирования.

Мужское отделение наркологического диспансера напоминало коридор плацкартного вагона и располагалось выше других отделений, на четвертом этаже мрачноватого здания без балконов. На дежурном посту я торчал с сумкой полчаса: медсестры пили чай в сестринской, оттуда доносились взрывы смеха. Голова кружилась, хотелось прилечь, да было некуда.

Кроме меня на единственной скамье сидела Сладкая Парочка — этот слоган из рекламы тех лет всплыл сам собой. И впрямь, мужчина и женщина были схожи, что палочки хрустящего шоколадного батончика. Даже половые различия стерлись: оба темноликие, опаленные внутренним жаром, будто вышли из одной духовки и упаковки. Они держались за руки. Ну да, конструкция катамарана в шторм устойчивей. А штормило, видать, регулярно. Так лепятся друг к дружке пьяницы, дети, влюбленные. Под две последние категории немолодая чета явно не подходила. Можно было подумать, что мужа пришла навестить жена — обычное дело в наркологии, однако я обратил внимание, что парочка обута в одинаковые пластиковые тапочки, казенные, не по размеру, отчего пальцы с желтыми ногтями смешно выпирали вперед. Мужчина и женщина молчали и улыбались.



— Ну и как жить думаете, а? — обратилась к блаженной паре пожилая женщина, возникшая из-за угла. — Врач сказал: хорошего не ждите, ежели будете пить вместе...

Я приготовился услышать разгадку странного союза, но меня отвлекли.

«Поднять коня» — первое, что услышал в мужском отделении. Оттирающиеся на дежурном посту типы, все в майках (в помещении было душно), решили, раз я пришел с воли, то по ту сторону двери неподалеку мои дружки. Когда сообщил, что меня сдала жена, ребята поскучнели, удовлетворившись сигаретами.

Поднять коня — это вот что: под окнами диспансера цепляют к веревке пакет со спиртным, а уж тянуть репку охотники находятся всегда. Можно, конечно, обратиться к санитарам, но, во-первых, те берут за услуги чуть ли не половину водки, объяснил тип в майке, и вообще капризничают, избалованные вниманием контингента. Странная креатура — санитар в нарколожке. Такой штатной единицы наркологической службе не полагается: алкоголики не шизики. Хотя буйных пациентов, понятно, и здесь хватает.

Впрочем, криков из палат не доносилось, в отделении стоял ровный гул. Рой потревоженных пчел. Или мух — это уж кому как.

В коридоре неприкаянно маячили тени «отходняков» — невесомых, бессловесных, дурно пахнущих созданий, едва перемогших жуткую ломку: их привезли сюда в невменяемом состоянии, сначала «зафиксировали» на койке, а теперь вот наконец-то освободили от пут. Кажется, они еще толком не сообразили, на каком они свете. Возможно, диспансерный коридор эти грешные души воспринимали как тот самый тоннель... У дверей ординаторской и процедурной они убыстряли шаг и втягивали головы. Попытки вписаться в социум заканчивались фиаско. Из местного парламента — курилки — парии вылетали, провожаемые грязными матами. Комната отдыха с телевизором, занавесками, картиной в стиле Тулуз-Лотрека и запыленным кустом в кадке для них оставалась мечтой, хрустальной, как водка. Каста неприкасаемых, попарно и группками, оставляя стойкий шлейф псины, целыми днями, а то и ночами неслышно, как моли, скользила по коридору, проклиная уборщицами, — чутко прислушиваясь к затухающим внутри себя голосам, досматривая в пути блекнущие галлюцинации, — лишь бы не возвращаться в палаты интенсивной терапии, откуда несло мочой от братьев по несчастью, распятых жгутами-бинтами на железных койках с клеенчатыми матрасами, мычащих, рычащих и умоляющих их развязать во имя всех святых.

Следующая после изгоев ступень иерархии — «свитера». Их видно сразу: летом и зимой они напяливают на себя свитера или одеяла из-за остаточного явления интоксикации — суженных сосудов. Им постоянно холодно.

После «свитеров» шла прослойка странных пациентов с порезанными подбородками и щеками. Освободившись от пут и отмывшись, они брались за бритве, но руки дрожали, лица искажались в мутном зеркале...

Едва же на щеках заживали порезы, человек вступал в клуб избранных — «маечников». Им, наоборот, всегда жарко: их зовет жизнь. Свитера летят в угол палаты, пациенты остаются в майках и футболках. «Ма-



ечники» бесцеремонно расталкивают «отходняков», обгоняют в коридоре «свитеров» и «порезанных» — в поисках заварки, сахара, соли, сигарет, кухонного ножа. У них начался жор. Выздоровливающий организм алчет усиленного питания после запойных недель, бывало, сдобренных лишь рукавом да хлебной коркой, и последующего отсутствия аппетита, когда не то что рыбная фрикаделька — весь свет не мил.

Тем не менее общественное устройство тут демократичное, любой может перейти из одного разряда в другой — было бы желание.

Миряне, распространяющие про нарколожку всяческие ужасы, не понимают простой, как граненый стакан, истины: российский пьяница по природе своей существо добродушное. А когда рядом страдает собрат, со дна отравленного организма взбалтываются остатки гуманизма: налить чаю лежачему, утешить наломавшего дров, дать дельный совет новичку, мающемуся под капельницей, позвать сестру, поделиться домашними припасами. Даже криминальные личности, демонстрируя из-под маек наколки, приметил я, не напирают в богоданных стенах на героическое прошлое.

Это — заговор пьяниц против остального мира.

Неслучайно насельники заведения закрытого типа величают его ласково — «наркушка». По сути, второй дом. Однажды попав сюда, алкаши-хроники навещают его регулярно, до нескольких раз в год.

Этот плацкартный вагон несется — да! да! да! — к лучшей жизни. Иначе не стоило ползти, подчас буквально по-пластунски, в «наркушку», можно было без лишних телодвижений лечь на рельсы. Ибо всякий изблевавшийся, но безмерно страдающий есмь человек.

Сию безбожную сентенцию поминали в палате, уверовав, что это выжимка из акафиста перед иконой «Неупиваемая Чаша». Иконы не было, молиться не умели. Много лет заклинание, вульгарно бляя, передавали из уст в уста. Ссылались на мифический первоисточник — некоего пациента без рясы, лечившегося здесь от хронического мирского пристрастия.

Хотя и в палатах пили. На второй день я уже философично наблюдал дикую картину: одной рукой больной внутривенно принимал лечебную струйку физраствора с витаминами, а другой, приподнявшись на подушке, перорально вливал сорокаградусную жидкость. И никто в палате — и те, кто только что давал совет, как перемочь острое желание выпить, — не думал перехватывать руку с водкой.

Скучающие, пресные лица. Обычная реакция на решение того, кто не выдержал мук. Люди отстранялись от союзника, давшего слабину, отчуждались от горя, как бы говоря: «Что ж, брат, бывает... Это не очень правильно, но таково твое решение, и я его уважаю. Тебе жить или умирать, тебе, а не мне, брат. Удачи!»

Выстраиваясь в неровную колонну, больные создавали в длинном коридоре некое броуновское движение, с короткими заходами в комнату отдыха и курилку. Поневолу втянутый в это движение, я доплелся до приоткрытой двери и услышал, как заведующий отделением, высокий мужчина в роговых очках, по телефону жаловался на наплыв внутривенных наркоманов: никто не знает, куда их девать и что с ними, собственно, делать, одноразовых шприцев не хватает, не говоря о койках. Старое зда-



ние рассчитано на добрых старых алкоголиков и милых бытовых пьяниц. А женское отделение — и на дамочек, траванувшихся на почве неразделенной любви или из-за посадки на мель семейной лодки.

Одноразовые шприцы — это он верно сказал. Тогда их было мало. В процедурной я поругался с медсестрой, наотрез отказываясь принимать укол стеклянным шприцем. Моему примеру последовали другие.

— Мы тут не за СПИДом! — зароптали в очереди.

Мужики в сизых наколках забубнили о «беспределе». Вызвали дежурного врача — тот развел руками.

Витаминого укола я так и не получил, но к ночи все равно почувствовал себя лучше: капельницы сделали свое дело. К ночи — это важно. Тут все боятся ночи. Еще вечером смеялся, рассказывал анекдоты, поглощая домашнюю снедь, а утром нашли в постели холодным, как жесть подоконника. Эту байку в десятый раз вам с удовольствием перескажут однопалатники.

Мои соседи по палате почему-то решили, что я прикидываюсь больным и прячусь в диспансере от милиции, алиментов или кредиторов. И делали намеки с сочувствующими нотками в пропитых голосах.

Диспансер похож на тюрьму не только снаружи. Любое передвижение за пределами отделения происходит под лязг ключей. На одной из дверей висел даже амбарный замок. Я уж не говорю о решетках на окнах.

Лишь одно окно не было зарешечено — курительной комнаты, в которой день и ночь висел дым коромыслом и нередко пахло анашой. Из-за этих стебанных реформ, жаловался Ссаныч, нариков стало в родных пенах больше. Жить невозможно.

Ссаныч — пожилой боец алкогольного фронта, сосед по палате, обрусевший бурят, похожий на Хо Ши Мина в изгнании. От многолетнего пьянства его лицо напоминало мошонку. Ссаныч просветил, что некоторые медсестры содержат кавалеров из числа санитаров. Санитары — не путать с медбратьями! — элита болезного контингента. Таким манером физически крепкие пациенты по неписаному договору с администрацией залегали на облюбованные койко-места. Не на неделю — на долгие месяцы, особенно если дело шло к зиме. Питались из общего котла, а взамен выполняли нехитрую работу, в том числе кувыркались на казенных койках согласно графику дежурств женского медперсонала. Все санитары находились в расцвете лет и в бегах: алиментщики, беспаспортные, вечные студенты, бывшие игроки в три наперстка, освободившиеся по УДО и прочая публика. Иногда за ними являлась милиция. И тогда, бывало, широкую грудь, синеющую от наколок, в коридоре без стеснения орошала слезами сестра милосердия.

— И кто на эту работу пойдет, сам посудит? — рассуждал под капельницей Ссаныч, пощипывая свободной рукой бородку и вперив взор в пугающую бутылку на стояке. Едва сестричка, прилепив пластырем иглу к запястью, вышла из палаты, он продолжил: — Зарплата — слезы, работа вредная, а эти сестренки через одну или разведенки, или из деревни в город. Им, девкам, тут общагу дают и харчи. И в виде квартальной премии — мужика, хе! Вот будь я помоложе, кха... Ты глянь, какая тут натура! — Ссаныч кивнул на заглянувшую в дверь медсестру. — Это ж метафора!



Захикиав, старик забылся и махнул рукой, чуть не выдернув иглу из вены. Еле наладив целебный ручеек физраствора путем осторожных манипуляций, он подытожил, что путь к вечному кайфу устлан белыми халатами.

Иногда Ссаныч выражается витиевато. Метафорически, как он сам говорит. Он художник. И художник настоящий, член союза, лауреат премий и автор персональных выставок. Но это в прошлом. После развода с третьей по счету женой живет в мастерской. Ну и пьет, конечно. Водит в мастерскую нестарых еще женщин, завлекая провинциальных дурочек полубогемным бытом. Чаще же пьет в одиночку. Войдя в запойный штопор, из последних сил, пока не начались глюки, хватает «тревожный» чемоданчик, в коем хранится смена белья, бритва, мыло, одеколон, чай, сахар, документы и широкий кусок клеенки. Вызывает такси и едет сдаваться в «наркушку».

Завсегдатай Ссаныч знает в диспансере всех, и все знают его. В приемной главного врача висит его картина, пейзаж Байкала, дар лечебному учреждению от благодарного пациента. Предыдущее творение в жанре ню было администрацией отвергнуто. «Ну и ню! — изрек главврач, взирая на толстую и абсолютно голую тетку. — Она ж пьяная!» Вместо платы за лечение Ссаныч частенько оформляет санбюллетени и уголки здоровья. Он бы жил и с третьей женой, сетовал Ссаныч в темноте после отбоя, но ссытса, как напьется. Как тут жить? Бросить пить — это в голову художнику не приходило.

Во всякие заговоры, кодирования, иные средства борьбы с пагубой, включая радикальные, Ссаныч не верил. В комнату отдыха раз пожаловали два вертлявых типа из общества «Антидоза», развесили плакаты и принялись на все лады хвалить новую методику исцеления.

— Свежий воздух, простая, здоровая пища и труд! — восклицал розовощекий молодой человек без признаков фиброза печени. — Вот наш единственный путь к свету!

Ехать к свету предлагалось в Красноярский край на лесозаготовки. Проезд и питание бесплатные.

— Свежий воздух, говорите? — встал Ссаныч, подтянул пижамные штаны и громко испортил воздух.

Народ со смешками потянулся к выходу, вежливо обтекая эмиссаров здорового образа жизни. Мероприятие было бесповоротно испорчено. Та же участь постигла представителей общества анонимных алкоголиков, секты Муна и свидетелей Судного дня. Кто-то обязательно вспоминал выходку Ссаныча. Вербально и буквально.

Второй сосед — Виктор — алкашей глубоко презирал. Исключение он делал для нас со Ссанычем. Делая заявления в пространство, Витек шумно вздыхал. Обложенный подушками, он гордо восседал в кровати, потому что в горизонтальном положении его тошнило. Хрящевидный перебитый нос бывшего чемпиона РСФСР по боксу среди юношей в полулегкой весовой категории аж выпрямлялся от возмущения, а лицо римского гладиатора становилось свекольным от скачущего давления. Уже который день ему не могли поставить капельницу: вены наркомана со стажем были не толще волоса, а сестрица-мастерица, единственная в отделении могущая попасть в Витину вену, неожиданно взяла отпуск за свой счет.



Виктор был не местный, сбежал из Кемерово, где, по его словам, дружки достали бы с героиновой дозой и в морге. А в этом городе у него тетка. У Виктора было желание спрыгнуть с иглы. Желание выстраданное. Он часто вспоминал мать и жалел ее. Каждый вечер перед отбоем бывший боксер прощался с жизнью.

— Ежели утром, мужики, меня найдут, того... зажмуренного... сообщите матери... Тут под матрасом адрес... Не то, гады, похоронят как собаку... — вздыхал Виктор.

Он боялся ночи. Медсестры пытались уколами сбить давление симпатичному наркоману, подсовывали реланиум, феназепам — «колеса», из-за которых в отделении случались драки меж нарками. Санитары с подачи медсестер предлагали страдальцу водки и жратвы. Все, кроме дозы. Но водку он презирал.

Деньги у Виктора водились, и он решился. В комнате отдыха с пыльным фикусом дни напролет скучал перед черно-белым телевизором в ожидании мультфильмов пацаненок, откликавшийся на погоняло Шкет. Шкет, в свою очередь, тоже презирал свое «потерянное поколение» (так и выражался) — сверстников, нюхающих по подвалам клей и краску с ацетоном. С недавних пор он заторчал на игле. По-взрослому. Вот почему его не поместили в подростковое отделение.

— Ну и молодец, — прокомментировал хвастливое откровение Шкета Виктор, которому тот носил чай из столовой. — Помрешь молодым. Даже бабу не спробуешь, дурик.

Врачи смотрели на распахнутое настежь окно курилки сквозь пальцы. Лишь бы не пили. Курилка всегда полна народу, и попытка суицида, как полагало начальство, здесь маловероятна. Но в тихий час больных оттуда гнали.

В такой час Виктор позвал меня в курилку, хотя знал, что я некурящий.

— Держи!

Он подал конец скрученной простыни. Затем подпер дверь шваброй. Дышал он тяжело, с одышкой, будто внезапно достиг возраста Ссаньича и влез в курилку по водосточной трубе. Руки его тряслись.

У раскрытого окна стоял Шкет и криво улыбался. Виктор проверил узлы и ухватился за простыни:

— Трави помалу! Шкет, не дрейфь!

Рассуждать было некогда. Шкет весил не больше барана — мы без труда опустили его на крышу пищеблока. Именно опустили: перебирать ногами и руками Витя строго-настрого запретил. Посыльный резво сполз по оконным решеткам и побежал в сторону гаражей, пригибаясь за кустами акации.

Шкета послали за дозой. Виктор уже не мог терпеть мучений.

Из курилки в палату я привел его под руки. Он лег на голый матрас, и тело его, сильное и гибкое, тело грозы полулёгкой категории, тотчас скрутило не хуже простыни. Он зарылся в подушку, замычал. Не в силах видеть унижений бывшего чемпиона, я вышел в коридор.

На вахте сидела Сладкая Парочка — оказывается, так ее звали тут все — и, по обыкновению, молчала, взявшись за руки. Я уже знал, что это



официальные муж и жена, хронические алкоголики. Они периодически лежат в разных отделениях, и всегда в одно время, беспокоясь друг за друга. Им сочувствуют на всех этажах, даже санитары. Только этой парочке, состоящей на диспансерном учете, разрешено видаться. Обычная история, сообщила словоохотливая уборщица. Начинал пить, как водится, супруг, а любящая жена, стремясь из лучших побуждений уменьшить количество зелья, стала пригублять да незаметно втянулась. А может, устала бороться.

И немолодая уборщица, протирая унитаз, гулко высморкалась в очко:

— Любовь промеж ними, ясно...

Шкет в диспансер не вернулся. И не вернется.

Это стало понятно, когда назавтра в отделение пришла с передачей мать. Принесла сынку блины со сгущенкой, его любимые. Я не хотел брать блины, они были в липком пакете. Но мамаша Шкета, моложавая привлекательная женщина, расплакалась в коридоре.

Блины мы умяли вместе со Ссанычем. Виктор отказался. Он равнодушно, с окаменевшим ликом свекольного цвета, воспринял послание от невозвращенца:

— Заторчал на игле в подвале, дурик...

Он простил малолетку.

В конце коридора раздавалось завывание дрели, стуки. В диспансере второй день шел ремонт. Я слышал от постовой сестры, что там будут коммерческие палаты с сануздами, холодильниками и телевизорами. В нашей же палате не то что захудалого радиоприемника — розеток не было. На их месте красовались незакрашенные пятна цемента. Во избежание суицида, сказал Ссаныч, такие случаи бывали.

Наконец, когда с ужасающим грохотом начали рушить стены, коридор перегородили зеленой строительной сеткой. Но все равно тумбочки в палате покрыл тонкий слой пыли. В столовой пациенты в знак протеста перестали кушать первые и вторые блюда, утверждая, что в них попал песок.

Мужское отделение стали расселять в другие палаты. В курилке шутили: повезло тем, кто попал «в просак» — на женский этаж. (Просак — это промежность, пояснил специалист по ню Ссаныч.) Меня же, непонятно за какие заслуги, может за малобуйное поведение в приемном покое, определили в детско-подростковое отделение.

Отсутствие храпа — главное преимущество детской палаты. Помню, как страдал от него в армии. Хвала тебе, Спаситель, благостно засыпал я, объятый тонкими сыроватыми простынями, вытертыми по краям до бахромы.

Рано радовался.

Средь ночи меня пружиной поднял животный крик. Так визжит поросенок, когда его отнимают от свиноматки. Сбросил одеяло я один. Десятилетние обитатели палаты продолжали сопеть в подушки: в этом возрасте сон особенно крепкий. Лишь одна головка вынырнула из-под солдатского одеяла. К подобным концертам здесь привыкли.

В палате запалили свет, и санитарка с медсестрой с руганью втащили из коридора пацаненка лет восьми, не более. Мальчишка уже орал, как



хряк перед забоем, кусался и царапался, матерясь не хуже взрослых. Хотя резать его никто не собирался. Его хотели связать эластичными бинтами, их медперсонал волочил, словно длиннющие макароны. Сестра интеллигентной наружности, увидев меня, извинилась за ночное вторжение, попросила помочь. Я отказался. И предложил отпустить пацанчика.

— Отпустить?! Ха! — саркастически хмыкнула медсестра и поправила модные очки. — Отпустить... Ха-ха!

— Ох, доча, давай шустрей, силы у мене уж не те... — выдохнула, удерживая извивающееся тело, санитарка.

Набрякшее ее лицо казалось темным, почти коричневым в полном свете. Рубашонка мальчишки задралась до горла, он пытался укунить за запястье, но санитарка пухлым локтем мастерски блокировала эти поползновения.

— Заткнись, гаденьш, не то вколю витамин! — Медсестра показала буйному пациенту шприц. — Сережа, ты меня знаешь.

— Знаю-у-у... — тоненько завыл Сережа и обмяк.

Его не мешкая связали бинтами, сделали укол и уложили в кровать.

— А вы его не жалейте. Не знаете — не жалейте, — сказала, перед тем как погасить свет, медсестра. И, оглядев палату взором армейского старшины, протрубила: — Спать!

Стук двери — стало темно. В оглушительной тишине вразнобой за скрипели кроватки: мальчишки проснулись и начали вполголоса осуждать Сережу. Из-за него теперь не дадут компота и обещанного пирога. Маленькие старички, они рассуждали на диво здраво. Я не видел их личиков, но чудилось, у них отросли седые бородки, давно не стриженные в непрерывных бегах. Говорили двое, один справа, через койку, второй откуда-то из угла, а другие кротко поддакивали в темноте: «Ага... Но!.. Козел!»

Выяснилось, что Серя, так они называли скандалиста, родился в семье алкоголиков. И унаследовал родовые черты. В отделении Серя крал все, что плохо лежит, сам не понимая зачем. Из столовой воровал хлеб, который засыхал в тумбочке. Недавно утащил моток туалетной бумаги, спрятал под ванной, и он размок, разбух, расползся, а туалетная бумага — дефицит, ее в диспансере не дают ни мужскому, ни женскому отделению, а только детскому. Пацаны даже хотели его побить, но не стали, потому что Серя — тот еще псих, его коронка — извлечь истерику из любой ситуации. Он может кататься по полу и биться головой о стены. Вот его и связывают. Серя боится лишь укола, самого болючего — витамина бэ.

Дружный полуночный вердикт палаты: надо слушаться взрослых, здесь нет ментов, «синяки» и то трезвые, врачихи и санитарки добрые, попросишь добавки — всегда дадут, не то что в интернатах... А из-за Сери теперь не видать компота и пирога, который лечащий врач обещала принести из дома.

Кто-то из пацанов, громко шлепая мужскими тапочками, сходил в туалет и оставил дверь открытой. Свет в проеме образовал косой светлый квадрат, падающий в палату из коридора. Впоследствии в больницах я не раз видел этот белый квадрат в черном багете человеческой боли.

Из окна, затянутого полиэтиленовой пленкой, поддувало, небо было без звезд, однако малолетние пациенты той ночью были вполне себе



счастливы. Маленькие старички! Намерзшиеся на улицах, они были благодарны судьбе, что оказались в теплой постели, а не в подвале, рады трехразовому питанию. А дома что? Холодная лапша утром и вечером да пьяная мамка. Такое счастье. Счастье, что тебя не убил отчим, что шпана не сбросила в канализационный люк, не изнасиловали за батончик сникерса... Они знали цену хлебу и копейкам, которые лентяи поднимают пассажиры. Битые и находчивые, маленькие старички разговорились (в темноте это сделать легче) — будто предъявляли счет единственному представителю взрослых в палате. Из взрослых они любили только врачей и поварих. Я чувствовал себя неуютно.

Я с удивлением обнаружил, что большинство из них не были завязатыми наркоманами или пьянчужками. Меж глотком пива, вдохом клея из пакета и какой-нибудь сладостью они однозначно делали выбор в пользу последнего. Подростковое отделение наркологического диспансера из-за нехватки реабилитационных центров в те годы служило и отстойником-распределителем для беглых детей. А еще выполняло коммерческие функции для редких взрослых, потому что питание здесь лучше и вообще спокойнее.

В коридоре подросткового отделения с утра стояло лишь три стойка капельниц: для меня, еще одного блатного, брата главврача онкологического диспансера, и мальчика из нашей палаты, не рассчитавшего дозу клея «Момент».

В раздаточной маленьких пациентов хвалили: вылизывают тарелки, даже добавку, можно мыть на раз. Там же в обед я увидел ночного скандалиста. Он был вялым, лениво подметал хлебной коркой картофельное пюре с тарелки. В столовой мы остались одни.

— Сережа, а болючий укол-то? — не зная, о чем спросить, сказал я под шумок моющейся посуды.

— Не-а, — прогнусавил Серя, утирая рукавом рот, — это другой, не витамин бэ. От этого спишь и голова пухнет... Его и мамке колют.

— А где мама?

— Внизу... — невнятно пробубнил мальчишка с набитым ртом.

Лицо было серое, в цвет казенной байковой курточки. Губы искусаны.

— Где-где?

— Мамка внизу лежит, — прожевал Серя.

— В женском отделении, что ли? — воскликнул я. — Врешь!

— Не вру, видел я ее! — округлил глаза пацан.

Его вялость как рукой сняло.

— Тут же кругом замки, мышь не проскочит! — чуя лазейку, делано подивился я.

— Тихо, ты, че орешь, мужик... — бросив взгляд в окошко раздаточной, прошипел Серя.

И поведал тайну.

В соседней палате шел ремонт; оттуда и сейчас слышался стук молотка и визг пилы-«болгарки». И потому решетки с окон сняли. После того как пацанов раскидают по семьям-интернатам, говорили, там будет коммерческая палата. А в коридоре рядом с туалетом из стены выпирал пожарный щит со стертыми буквами «ПК». Я тоже заметил свернутый

шланг за стеклом, позеленевший от длительного обезвоживания, который, должно быть, символизировал усмирленного зеленого змия.

Незарешеченное окно и пожарный шланг — связать это воедино мог в уме только профессиональный беглец. Дверка щита запиралась несерьезным замочком, такой годился разве что для почтового ящика.

Санитарка проболталась Сереже, что этажом ниже положили его мать. И после полуночи, когда медсестра ушла спать в подсобку, он размотал шланг, закрепил его на батарее ремонтируемой палаты и спустился на уровень женского отделения. И узрел за решеткой при тусклом свете палаты интенсивной терапии мать, примотанную к койке эластичными бинтами. Она была распята под капельницей. Сынок раскачался на шланге (помог ночной ветер-сообщник) и пнул оконную решетку.

«Мама-а-а! Я зде-еся! — не попадая зубом на зуб, заорал под луной злостный нарушитель режима. — Мамка-а-а! Глянь в окно!» Он замерз, но не выпускал спасительный шланг из рук. Слезы сбивали фокус, он не мог утереться, однако мог поклясться, что мамка его услышала: женщина под капельницей завозилась, сияясь повернуться к окну. «Не оборачивайся! — вскричал сын. — Игла выскочит! Игла-а-а!..»

— А может, не твоя мать была? — сказал я.

Сережа сразу надул губы, даже не доел пюре. И потом весь день умудрялся избегать меня, хотя в небольшом отделении сделать это сложно.

Ночью, когда маленький телевизор на сестринском посту смолк, я встал. Зачем — не знаю. Дежурная сестра спала на диване в ординаторской.

Я подошел к пожарному щиту, замочек раскрылся легко. Дверка протяжно скрипнула, я вздрогнул от сдержанного смеха.

— Че, бляха, не спится без бабы?

За спиной стоял высокий мужик лет сорока с гаком. Или живот, вываливающийся из треников, делал его старше? Под майкой в обрамлении курчавой поросли синела татуировка: ангел с мечом. У ангела был заговорщицкий вид, он походил на хронического алкоголика, которому вместо граненого стакана всучили меч. Судя по тому, как ангел расправил крылья, пребывание в наркологическом диспансере явно шло ему на пользу.

Брат главного врача онкодиспансера лежал в небольшой, но отдельной палате и целыми днями отгадывал кроссворды. Обильные продуктовые передачи блатной пациент уничтожал в режиме нон-стоп, по всей видимости, они помогали усиленной мозговой деятельности. Первое время приставал ко мне с вопросами типа: «Четверка коней на фронте Большого театра, четвертая — дэ». Дыша колбасным духом, предлагал раздавить чекушку перед обедом, подмигивал и хихикал, когда мимо проходили медсестры. Я сказал, что у меня запор и глисты, и он тогда отстал.

— Тоже по бабам наострился? Через окно? — тихо, как жеребец в ночном, заржал сосед. — Да ты не бойсь, не скажу никому! Ты че куришь, земляк?

Курить в детском отделении было запрещено. Полночный свидетель, раскуривая сигарету возле туалета, успел рассказать, как застучал



пацана. Пошел по-малому и увидел, что Серя раскатывает шланг — из коридора в палату к окну.

— А че, нормальный ход! — пыхнул брат главврача. — Мужик по бабам пошел. Пусть привыкает!

Он помог пацану водрузить тяжеленный шланг обратно на место.

Я сказал, что мальчик ходил к родной матери.

— Во, бляха, дают мамаша с сынком! — озадаченно притушил сигаретку. — А я думал, он за бабами подглядывать полез... Но ты не бойсь! — захихикал сосед. — Всегда есть выход, когда имеется вход сзади!

Все оказалось проще. Брат главврача давал деньги санитарам, и те устраивали встречи на темной лестнице с дамами из нижнего отделения. Ночью или в выходные дни. С пациентками легкого поведения обычно расплачивались водкой. За отдельную плату тебе могли предложить рандеву в комфортных условиях — в подсобке на груди грязного белья.

Я подумал, что эдак можно устроить свидание Сери с матерью.

— Свидание с женщиной? Как два пальца!.. — громко сказал брат главврача и осекся. Добавил тише: — Токо бабки готовь... Героиновая или «синячок»? Мой совет: с нарками не связывайся, брат. «Синяя» лучше будет... Как швейная машинка... отвечаю.

Я вернулся в палату. Ровное дыхание спящих мальчишек вернуло душевное равновесие. Засыпая, увидел белый квадрат.

Спираль 5

...И тяжела же работа маньяка! Взять ее важнейшую фазу — расчленение трупа. Он же теплый еще, не из холодильника, а мясники знают, что рубить легче в меру оттаявшую плоть.

Под потолком с тихим свистом крутились лопасти вентилятора, разгоняя мух и пух. Все было мокрым: фартук, руки — по локоть, лицо, волосы. То ли от крови, то ли от жира. Рукоять топора скользила в ладони — приходилось то и дело протирать ее ветошью. Вдобавок я потел; по цокольному этажу диспансера волнами катила июньская жара и тополиный пух. Уже через полчаса я стянул влажную футболку, потом спортивные штаны и вскоре остался в одних плавках и шлепанцах.

Утирая пот, я поднимал глаза и видел в узких, что щели дота, зарешеченных оконцах белеющие ноги поварих, вышедших покурить. Ноги как ноги. Кровавая работа не рождала ассоциаций.

Я выковыривал из волос комочки, сгустки и косточки и думал: если это не ад, то его предбанник. Однако я был неловок. За годы офисной работы утратил всякие навыки физического труда. Топорная работа! Я никак не мог попасть в след предыдущего удара. Лезвие весело влетало в раскисшую говядину, пузырилась кровавая пена, топор, ускользя, не слушался рук.

И тут мне дали помощника: видимо, кто-то из кухни заглянул в разделочную и — ужаснулся. Или посмеялся.

Но помощником мгновенно стал я, как только напарник взял в руки топор, хищно оглядел искромсанную коровью тушу и глухо сказал:

— Передохни, братишка...



Я с трудом узнал его без бороды. Тощий, как подросток, заросший, будто столетний дед после векового запоя, грязный, нечесанный, он два дня мычал связанный в палате интенсивной терапии (там всегда открыта дверь) и вонял на весь коридор. А тут побрился, помылся, и оказалось, что он моих лет. Чуток за сорок. Его звали Саней.

Саня разделся догола. Я тоже сбросил плавки, иначе не отстираешь потом. Предстояло расчленить три туши. Кроме того, набить филейными кусками пакеты для главного врача и заведующего отделением. Я понял, почему котлеты в столовой — единственное мясное блюдо за весь день — разваливаются от прикосновения алюминиевой вилки.

Саня набросился на труп коровы с патологическим энтузиазмом. Дергая кадыком и корча рожу, он смачно, хлестко и метко всаживал топор, тютелька в тютельку в линию топорного фарватера, и ухал, словно филин:

— У-у! Суки!.. Суки, получайте!.. У-у! Суки!..

Что-то было в этом крике. Этот оскал похож на улыбку.

Так идет в атаку штрафбат.

Так орет роженица — и в роддоме, и в кустах. Именно так, по-русски, верещала и всхлипывала в тайге ороchonка, дочь бригадира оленеводческой фермы, не доехав до акушерско-фельдшерского пункта какой-то сотни километров.

Так дерутся эски и пьяные работяги. Так усмехается третий номер орудийного расчета, уплотняя деревянным досыльником, похожим на бейсбольную битку, снаряд в зеве 122-миллиметровой гаубицы.

— У-у! Суки, получайте!..

Однако в крике Сани был свой обертон. Эхо сорванных бинтов. Унижение, бессилие, злость на приходящего по ночам черного человека, на сумерки запоя и секунды просветления, от которых еще горше. Черно-белое отчаяние. Страх перед свободой. Теснота барака и внезапно, так что больно глазам, раздвинувшиеся стены. Открывшаяся даль горизонта проводит и подводит черту. Под упущенными возможностями — безжалостно и бесповоротно. Не крик — резюме бедовой житухи.

Сперва я подносил снаряды, по кивку соратника разворачивал туши под удар, с хрустом отламывал, подхватывал падающие куски и относил их в сторонку, но заразившись напором, схватил второй топор.

— У-у! Суки!.. Суки, получайте! У-у!

Теперь мы орали хором.

Дикое, должно быть, зрелище: два голых мужика, трясая яйцами, машут окровавленными топорами посреди трупов животных и матюгаются, что буйные пациенты. В проеме появились озабоченные лица санитаров.

Саня с грохотом бросил топор на оцинкованный стол, обернулся к двери:

— Э, начальник, закурить нема?

Санитар возобновил процесс жевания чуингама:

— А мы думали, у вас «белочка» началась!

«Белочка» — это белая горячка. Принято считать, что она рождается в апогее алкогольного пике. Это не всегда так. На то и штопор, чтоб выйти боком. При мне мужчина интеллигентной наружности, получая



выписные бумаги и бюллетень, уже переодетый, на вахте, где его ждала жена, вдруг начал озираться по сторонам.

— Что забыл, Федя? — шагнула навстречу жена алкоголика. — Вещи — вот они, в пакете. И тапочки я положила, и ложку, очки...

— Палки!.. — заглянул под диванчик Федя. — Где мои палки?

— Палку ты дома бросишь, чувак! — заржал, проходя мимо, кто-то из «маечников».

Медсестра привстала из-за перегородки:

— Какие палки ищите, больной?

— Я сказал — палки! — буркнул выписывающийся. — Лыжные палки! Нам еще до сто второго квартала добираться, правда, Галя? Туда автобус плохо ходит.

Галя заплакала. А был июнь, кстати.

— Где мои лыжные палки, девушка?! — уже раздраженно чинил допрос медсестре. — Я, когда поступал, здесь, за диваном, оставил... А лыжи внизу сдал в приемном покое. Думаете, пьяный, не помню ничего? А палки здесь тут...

Так и сказал: «здесь тут»!

— Тут, главное, мазь подобрать, — вякнул, проходя в обратную сторону, тот же остряк.

Раздался хохоток. На вахту потянулись зеваки. От скуки рады малейшему инциденту.

— Да-да, кажется, я видела какие-то палки, наверно, их унесли на вещевой склад, — весело и громко сказала медсестра, делая знак возникшей в коридоре подруге.

Та поспешно ушла в ординаторскую — спустя минуту послышался ее деловитый говор по телефону.

«Лыжника» выписали. Вместе с тапочками, очками, зубной щеткой и ложкой его увезли санитары, рослые, холодно-вежливые, трезвые — не наши.

Зато другого чудака и не думали увозить. Привыкли. Он был абсолютно нормален, за исключением малости: в кухонном закутке в ожидании кипятка под бульканье разнокалиберных посудин разговаривал с электрощитком.

Каждому свое. Бывшему боксеру как воздух нужна доза, мне — устроить свидание Сери с матерью. Вот ведь повадились лазить за птицей счастья в окно, когда есть дверь. Нет, это мы уже проходили. Тушить из пожарного шланга убежавшее молоко. Ночью у пожарного щита было подсказано цивилизованное решение.

А через день меня перевели обратно в мужское отделение. Я остановил трусившего по коридору санитаря — парня с узким, как судно, лицом. Про Серю-скандалиста и его мать я говорить не стал. Санитары, если не сойдешься с ними в цене, могут настучать администрации.

— У тебя там баба, что ли? — Узколицый задумчиво сунул палец в нос. — Хм-м... С этим тут строго, брат. Ежели насчет бухла или «колес» — проще... А тут трешь-мнешь. Даже если по-бырому. Это ж дру-



гое отделение, сечешь? А ключи у дежурной сестры. Мой тебе совет: передерни в туалете. Не ты первый. После запоя прет — обычное дело.

Я обмолвился насчет денег.

— А сколько у тебя? С собой? — перестал тот ковыряться в носу. — Давай...

Он засуетился, багровые прыщи на щеках чуть не лопнули от нетерпения.

— Только гарантий, учти, никаких... — бормотал он, засовывая купюру под стельку тапочка. — Сегодня Тонька в ночь заступает. А у ней у самой хахаль. Придется с ним делиться... Ты пока не дергайся. Ежели что, я тебе вякну после отбоя. Будь в палате.

Из его торопливой невнятицы понял одно: в этом деле много посредников.

Вечером, после ухода врачей, санитары напились. Пили с размахом: набрали снеди, фруктов, купили торт, пригласили боевых подруг. Медсестры удивлялись: откуда деньги? Сперва крутили в основном тюремный шансон, нестройно, как козлы, подпевая; потом — песенку про девчонку-малолетку. И так без конца. Правда, после отбоя по требованию дежурной они убавили громкость музыки, зато стали громче говорить. «Бу-бу-бу!» — разносилось по коридору.

Я лежал в палате и слушал этот аудиопонос со скрипом зубовым, не без основания подозревая, что пропивается мой аванс.

Стука в дверь они не услышали. Когда я вошел, одна медсестра сидела на коленях у лысого санитаря в спортивном костюме (это у них вроде спецодежды). Второй кавалер разливал по стопкам и что-то взахлеб рассказывал, наверное анекдот, — компаньоны застыли с улыбками манекенов в ожидании сигнала, где смеяться.

— Больной, а почему вы входите в служебное помещение, да еще без стука?! — наконец ожила медсестра, тон был ледяной.

Грязные тарелки были щедро усыпаны кожурой от мандаринов — под цвет маникюра. Торт растерзан прямо на столе.

— Вечер добрый, как насчет моего дела? — Я прикрыл за собой дверь.

— Мужик, ты че, с койки упал? — тряхнул косичкой прыщавый. — Дела у прокурора, а у нас истории болезни.

— Да он же пьяный! — хохотнул его дружок.

Он расстегнул молнию трикотажной куртки, то ли от духоты, то ли с целью демонстрации накаченных мышц.

— Больной, вам что, вызвать бригаду? двадцать пятую? — сморщил личико девушка.

Белый халат она сняла. В уголке рта белел крем от торта. Моего торта!

Бригаду-25 из психоневрологического диспансера боялись, как ночного кошмара.

— Да привязать его — и все дела!

Знакомый санитар начал теснить меня к двери, изрыгая мандариново-чесночный дух и нашептывая:



— Ну не получилось, брат, дежурный врач сменился... Я тебе потом другую приведу... — И громко: — Иди проспись!.. Он, точно, пьяный, чуваки!

Я оттолкнул провожатого:

— Тогда гони бабки! Взад!

— Че-во? Какие бабки? В чей зад? — встал под одобрительные смешки амбал с койки.

И снял куртку. Бицепсы были что надо.

— Уж не те ли это деньги, что он пытался всучить нам как взятку?..

Они приобщены к делу, как вещдок, понятно тебе, лошара?

Амбал был выше на полголовы. Иногда это полезно. Обратить недостатки в достоинства. На его горле аелл засос. В этот дергающийся кадык, в просвет между небритым квадратным подбородком и кудрявой шерстью, что перла из-под майки, я и ударил — так, как учил комбат. Вложив в удар всю обиду за сладкое.

Санитар захрипел, стал оседать и синеть лицом. Узколицый сводник схватил со стола нож, вымазанный в торте. Медсестра завизжала.

— Не надо мокрухи! Милиции нам не надо! — залопотал второй прихлебатель, нервно дергая молнию на спортивной куртке.

Узколицый отрезал большой кусок торта.

Я вышел.

Шум, поднятый в стычке с санитарями, достиг ординаторской. И меня в наказание сослали в подвал на разделку мяса. Врачам, как всем бюджетникам, задерживали зарплату, и они хотели получить свое хотя бы говядиной.

А еще через три дня я выписался. Напоследок узнал. Первое. Виктору наконец сделали капельницу. Опытную медсестру отозвали на день из отпуска, и она нашла вену где-то возле ключицы боксера-наркомана. Второе. Истеричный мальчик Серя сбежал из диспансера по пожарному шлангу, когда ему сказали, что мать выписали из женского отделения за нарушение режима. Сбежал, но дома не появился. Да и был ли у него дом?

Блудные сыновья на то и блудные, что им есть куда возвратиться после загула. Я вернулся домой вслед за змеевиком деда Исты. Спиралевидная медная деталь — после франшизы, ее хозяин — после алкогольной шизы. Змеевик, упав на дно фибрового чемодана, скрутился в пять оборотов. Чтобы больше к нему не приставали. Мы оба завязали с этим делом. Кодирование тут ни при чем. Просто спираль истории замкнулась.

Замкнулась, однако не отпустила. Годы спустя я видел сквозь сон белый квадрат.

Перед выпиской случился казус. Санитары решили показать напоследок, кто в доме хозяин. Сперва хотели разобраться со мной в мясницкой, увидев же в моих руках топор, благоразумно отложили казнь до ночи. Связать сонного — и выбросить из окна курилки. А свободный полет списать на *delirium tremens*, алкогольный делирий, именуемый в народе «белочкой».

Об этом мне сообщила медичка Елена, подруга амбала с помятой глоткой, которой во время стычки не было. Оказывается, бойфренд изменил ей со смазливой уборщицей. Та убирала служебный туалет и там же, встав коленями на мытый кафель, оказала услугу санитару. Застуканный с поличным, амбал виновато сипел, держась за горло: «Подумаешь, Леноч, мы даже догола не раздевались...» Когда же Леноч попыталась призвать к ответу уборщицу с облезлым маникюром, разлучница вцепилась ей в прическу.

Пришлось вызывать Бубу. Звонок из ординаторской в линейный отдел милиции устроила Елена. Видать, больно надрали ей волосы.

Буба примчался через два часа. И не один — вместе со здоровяком старлеем, тем самым, который прибежал хлебнуть водки в фотолабораторию. Он был выше амбала-санитара на полголовы. Похохатывая, Буба и старлей толкались в мужском отделении. Буба тут же забыл о цели визита, приклеившись к медсестрам, и уже через минуту записывал в служебную папку номер телефона под кокетливое хихиканье абонентки. Старлей, поигрывая дубинкой, делал ею неприличные пассы.

Санитары закрылись в подсобке.

Мне вернули аванс за несостоявшуюся встречу Сери с матерью. Против ЛОМа нет приема.

Самое смешное: при выписке предложили остаться поработать санитаром.

На вахте сидела Сладкая Парочка. Муж и жена встали, как дети, и сказали хором:

— До свидания!

На улице под окнами детского отделения на стоптанных каблучках качалась пьяненькая женщина. В руке она держала пакет. Видимо, в таком виде ее не пустили на свидание, и она высматривала кого-то в окнах.

— Сынок! Сережа! — запрокинув голову, кричала пьяная.

Покачнулась, по асфальту покатались яблоки... Из здания вышел толстый вахтер, стал гнать шумливую посетительницу, яблоко пнул.

Я собрал яблоки с грязного асфальта и преградил путь толстяку. Он выпятил грудь:

— Эт-та что ишо за фрукт?

Я с хрустом надкусил яблоко, порченное ботинком охранника, и выплюнул плодоножку ему в лицо. Толстяк непроизвольно сделал шаг назад и с ворчаньем ретировался.

Я отдал фрукты женщине. Она подвернула каблук и не могла идти. Тогда довел ее до остановки и посадил в автобус. Женщина, плача, пыталась всучить мне пакет с яблоками. Я взял одно.

Дома у меня разболелся живот. От немытого яблока, не иначе. Интоксикация легкой тяжести. Легко отделался.

Ибо всякий изблевавшийся, но безмерно страдающий есмь человек.

(Окончание следует.)

Василий РЫСЕНКОВ

СРОК ДАВНОСТИ

Холода

1.

По лесам —
ледяным хрусталем —
корольков голоса.
Голубым кораблем
перелесок дрейфует в заливе зари —
посмотри.

2.

О тепле —
первый беличий сон
в предрассветном дупле.
Журавлиный поклон
над колодезным срубом и дым над селом.
Рассвело.

3.

Холода.
Хочет дымом печным
обогреться звезда.
Далеко до весны.
По небесному льду
даже солнце скользит.
Не забраться в зенит.
Отдохни.



* * *

Да какие тут новости, друг мой,
какие новости?
Если трезвый — то сон, работа
да чаепитие...
Ветер чуть шелохнулся
и в кроне кленовой стих.
Здесь ведь даже собачья свадьба —
и то событие.

Я хочу всем, кто помнит меня,
прокричать: «Привет!»
В канцелярию сонной души
напиши прошение.
Ведь счастливые мысли в безлюдье —
опавший цвет,
как сажённые плечи в безделье —
для разрушения.

И пусть каждый мой день
бесплезен и бестолков,
я люблю замечать,
как знакомый дичает сад.
Голубые озера танцующих мотыльков
только здесь на дорогах
в финале грозы встречаются.

Приготовить душистый чай
на огне костра,
отыскать огонечек счастья
на дне тоски.
Здесь бы только и жить,
но сюда возвращаются умирать...
А слова созревают в душе,
и на ветках — яблоки.

Побег

В этой жизни все мы пленники. Чтобы
Расступилась суета, ерунда,
Можно сесть в ночной случайный автобус
И поехать неизвестно куда.

А в дороге, если ты не задремлешь,
 Примечай, покуда не рассвело:
 Где цепочка огоньков — там деревня,
 Если россыпь огонечков — село.

Вдоль обочины лишь тень — от собаки
 Да деревьев полуночная дрожь.
 А во мраке все дорожные знаки —
 Предсказаниями:
 Направо пойдешь —
 Сразу призрачною станет дорога,
 А налево — только тьма да пустырь.
 И водитель вспомнит черта и Бога,
 Если фары набредут на кусты.

Пусть хандрой ты и безволием болен,
 Хвойный ветер мчится, снегом клубя.
 И ночевки под луной в дальнем поле
 Почему-то не пугают тебя.

Срок давности

Да, кому-то — грязь, а кому-то — высь.
 Если жить боишься — кино смотри.
 Не умеешь плакать, так улыбнись,
 Чтоб не взорвало тебя изнутри!

За овечьим выгоном вздыбил шерсть
 Волчий лес, которому нет конца.
 Где палаты царские — № 6,
 Мира нет ни хижинам, ни дворцам.

Кто растил детей и сажал сады —
 Не услышал смех, не увидел цвет.
 Где там сроки давности у беды,
 Коль Октябрь длится уже сто лет?

Может быть, вернется покой к Земле,
 Бархатный осенний придет уют,
 Если по окопам, в болотной мгле,
 Все винтовки Мосина догниют.

До холодных сумерек, до звезды,
 Словно вспоминая чужой урок,
 По лесам ораторствуют дрозды,
 Да рябины — флагами — вдоль дорог.

Никто не забыт?..

Вечный солдат преклонил колени.
В поле березы шумят прибоем.
Скоро исчезнут названья селений,
Взятых тогда, в сорок первом, с боем.
Взятых, чтоб снова запахло мятой
На перекопанных огородах,
Чтобы форсировал трактор закаты
Где-то на синих небесных бродах,
Чтобы полями гармонь плутала
И в сельсовете окно светилося —
Небо, безбрежное, как усталость,
Их на заре в декабре приютило.
Стали деревни лесными снами,
Рухнувший дом обжила крушина.
За тишину, за страну, за память
Горькая юность металл крушила.
Дремлет солдат, тишине внимая,
Солнечный день довоенный снится...
А на могиле Девятого мая
Праздничный митинг откроют птицы.

* * *

Остаются одни названия, имена
Да легенды — огни болотные — по стране,
Как Российское царство однажды сожгла война,
Как истлела потом Совдепия в тишине.

Если быстро и прямо ехали — повернем.
И опять замелькает старое впереди.
Ведь калединых да стольпиных — днем с огнем...
Но зато горбачевых да керенских — пруд пруди.

И пугливые души мертвые будут «за»,
А отчаянье откочует в степной умет.
И опять из окошка грозно сверкнут глаза,
Оживет погребенный в подполе пулемет.

Но Октябрь по стране проехался, отбесил...
Укатилась лавиной конница за леса.
И стучат топорами плотники по Руси,
И распахнут апрель гагаринский в небеса.

Через век обернется комиксами беда.
Боль и свет не вернуться с книгами и кино.
В конский хвост, как репей, не впутается звезда,
И от гневного взгляда синь не прожжет окно.

Михаил СМИРНОВ

ПОЗДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Р а с с к а з

Леонтий Шаргунов вернулся из госпиталя в начале осени, когда зачастили дожди, листва на деревьях пожелтела, а в низинах заколыхался туман. Война уже второй год как закончилась, а он только приехал.

Солнце повернуло на закат, когда Леонтий появился в деревне. Одной ноги у него не было, вместо нее деревянный чурбак, затянутый выше колена широкими ремнями. На другой ноге запыленный разбитый сапог. Сам в галифе, в гимнастерке, на которой поблескивало несколько медалей. Пилотка сдвинута на бровь, а за плечами тощий вещмешок.

Леонтий долго стоял за околицей, поглядывая на деревню. Задержалась щека, а потом затряслась и голова. Он схватился за нее рукой, словно хотел придержать, и зло матюгнулся. Нервное, как сказал врач в госпитале, пройдет со временем. А может, и нога отрастет. И хохотнул. Леонтий в ответ криво усмехнулся. Ладно, если бы кусок мяса выдрало — это дело наживное, а вот молодому без ноги остаться, да еще в деревне, — это большая беда. Тут и здоровому мужику ни времени, ни рук не хватает, чтобы по хозяйству успеть, а он, Леонтий, теперь обрубок.

Достал кисет. Руки дрожали. Пока прикуривал «козью ногу», просыпал табак. Несколько раз затянулся, поплевал на ладонь, затушил — и вытрусил остатки обратно в кисет: пригодится. Прислонился к дереву, расстегнул ремень. Поморщился, растирая култышку. Устала нога, ноет, спасу нет! А еще тащиться на другой конец деревни, да на виду: вечер, уже все с работы домой пришли... Леонтий не раз пожалел, что решил вернуться в деревню. Лучше бы не возвращался. Для всех лучше, и для жены — тоже...

Он еще немного потоптался, потом сплюнул, закинул вещмешок за спину и захромал по разбитой дороге: скрип-шлеп, скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Леонтий шел медленно, искоса поглядывая на избы. Кое-где мерцал свет. Где-то гроыхнуло ведро, сразу захотелось пить. Он подошел к колодцу. Ухватившись одной рукой за высокий сруб, второй стал крутить ворот. Достал воды, сделал несколько глотков — кадык заходил ходуном. Леонтий слил воду на корявую жесткую ладонь, плеснул на лицо, опять слил и плеснул... Гимнастерка намочила, пошла пятнами. Он пригладил короткий ежик волос, поправил вещмешок — и опять по деревне: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Изредка кто-нибудь из жителей появлялся на улице. Заметив солдата с вещмешком, люди жадно всматривались в его лицо, а потом долго провожали взглядом.

Скрип-шлеп, скрип-шлеп, скрип-шлеп... Леонтий морщился, когда оступался, и снова шагал, стараясь не смотреть по сторонам, чувствуя, что за ним наблюдают. Казалось бы, родная деревня, но сейчас никого не хотелось видеть: устал за долгую дорогу. Да и радости от возвращения он не испытывал. Не было ему здесь жизни в прошлом, а теперь тем более не будет.

Скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Наконец Леонтий добрался до дома. Вокруг порозрелась бузина да кусты сирени. Постоял, хмурясь, исподлобья поглядывая на темные окна. Все же решился — толкнул калитку, но не стал закрывать: пусть стоит распахнутая. Прошелся по заросшему двору — повсюду татарник да репей, — сбросил мешок на крыльцо, неуклюже развернулся и уселся на пыльную скрипучую ступеньку. Тяжко, со всхлипом вздохнул. Расстегнул ремни. Деревянная нога громынула и съехала на землю. Достал кiset, свернул «козью ножку» и задымил.

Ну, вот он и вернулся домой. А ждут ли его здесь? Вряд ли...

Махра потрескивала искрами, а потом едкий дым подхватывало ветерком, закручивало и уносило. Леонтий сгорбился, под гимнастеркой топорщились худые лопатки. Он сидел и, время от времени поглядывая по сторонам, морщился, растирая обрубок ноги.

За забором раздался чей-то голос. Ударили по доске, и донеслись шаркающие шаги.

— Это... Что расселся, прохожий? — пробубнил низенький лысый мужичок и пошкрябал волосатую грудь. — Что, говорю, сидишь-то? — Он махнул длинной рукой: — Ступай, ступай отсюда! Видишь, хозяйки нет? Вот и нечего соваться. Иди, пока я тебе пятки в обратную сторону не завернул.

— Да пошел ты! — буркнул Леонтий, продолжая растирать культу. — У, зараза, разнылась!

— Шагай, тебе сказано, нечего по чужим дворам шариться! — громко зевнул мужик, потянулся, а потом всмотрелся в Леонтия и удивленно отмахнулся: — Да ну, не верю... — Подступил ближе, склонился к солдату, хотел было опять зевнуть, но быстро закрыл рот, аж зубы клацнули. — Ленка! Ты, что ли? Ты вернулся?! На тебя же похоронка давным-давно пришла! Мол, погиб смертью храбрых, похоронен в братской могиле... А где — я забыл. Сам читал. Варвара твоя как получила похоронку, так в обморок и грохнулась, едва откачали. Все продолжала ждать от тебя вестей, не верила, что ты погиб. Ага... Война как закончилась, все деревенские мужики, кто в живых остался, домой вернулись. Мы, как соберемся, всё тебя поминали в числе погибших. А Варька каждый день на дорогу выходила — высматривала, не идешь ли. И вот ты сидишь здесь живой... Как же так, а? И правда живой, чертяка!

Мужик не удержался, хлопнул широченной ладонью солдата по спине так, что тот покачнулся и закричал.

— Слышь, Агафон, что ты размахался ручищами? Чуть спину не переломил, черт длиннорукий! Что на всю деревню разорался? Ну пришел я, ну живой — и что?

— Так это же я от радости... Ага! Много наших мужиков полегло, а ты уцелел! Я что говорю... За такое нужно выпить! — Агафон звонко щелкнул по горлу, а потом, словно невзначай, поинтересовался: — Слышь, Ленька, а где же ты столько времени пропадал? Неужто в лагерях побывал? Или какую-нибудь бабу утешал и забыл про свою Варьку? Сейчас же много такого добра. Сам знаешь, мужиков-то не хватает. На вес золота, так сказать...

— Какие лагеря, какие бабы, что ты мелешь помелом-то? — рассердился Леонтий. — Нога не заживала. Гангрена. Отпилят — а она опять гниет, отпилят — а она опять... Я сразу говорил, чтобы отрубили по самую мошонку и всё на этом. Ан нет, они же умные, всё знают и умеют. Говорят: «Пытаемся спасти». А что спасать, если уже гангрена пошла? Сами измучились и меня измохратили. Ладно, не подох, живучий оказался. Кое-как выкарабкался. Еле-еле душа в теле...

И заскрипел зубами — протяжно, громко, до озноба.

А потом принялся стаскивать сапог с ноги. Уцепился задинкой сапога за ступеньку, склонился, удерживая его, и запыхтел, заматерился, когда нога соскочила. Опять зацепился, снова стал дергать — и новые матюги, еще хлеще прежних.

— погоди, Ленька, не психуй, — подскочил Агафон, ухватился за сапог и за ногу, дернул раз, другой... Примерился, рванул — и Леонтий съехал со ступеньки. — На, держи свой сапог. Нога-то не оторвалась, когда дерганул, а? — Агафон засмеялся, мелко затрясся. — Меня на фронте всегда звали, если сапоги прирастали к ногам. Почитай, сутками на ходу, сапоги некогда снять, портянки перемотать. Вот и прирастали. Глянешь, а от портянок одно название осталось. И твоя портянка сопрела, гляди... Ты, Ленька, посиди чуток, сейчас вернусь. Отметим приезд.

Он щелкнул толстым пальцем по горлу, а потом заторопился со двора.

Леонтий пошевелил пальцами. Кожа белая, рыхлая, местами сбитая до кровавых мозолей, а ногти на ногах толстые да желтые, и такой запах... Он пожаткал в руках вонючую портянку, та под пальцами стала расплзаться. Нахмурился, хотел было выбросить, а потом повесил на крыльцо. Авось еще послужит, когда просохнет.

— Ну, Ленька, давай за твой приезд выпьем! — закричал Агафон, появляясь в калитке, и бултыхнул бутылку с мутноватой белесой жидкостью. В другой руке он держал стопки и две вяленые рыбки. Засеменил к крыльцу. — На, держи...

Сунул одну стопку Леонтию, сам зубами вытащил пробку из бутылки — и забулькал самогон.

— С возвращеньицем!

Чокнулись. Выпили.

Леонтий поморщился: отвык. Выпивал при случае, но так, чтобы каждый день, не было желания. Он пошкрябал щетинистую щеку, достал кисет и принялся сворачивать «козью ножку». Закурил. Следом засмолил

и Агафон. Поставил чурбак напротив крыльца, уселся на него и дымил, поглядывая на соседа, на обрубок ноги и большой деревянный протез со сбитой набойкой. Похвастался:

— А я всю войну прошел — и ни одной царапины! Бывало, после боя глянешь: вся шинелька в дырах, а сам целый. Ага...

— У каждого своя судьба, — буркнул Леонтий. — У нас был такой же, как ты: тоже ни одного ранения, словно заговоренный. А через речку переправлялись — он утонул. Видишь, как судьба распорядилась...

— А для чего такие большие оглобли сделал? — Агафон ткнул в протез. — Ничего промеж ног не натерло? Гляди, отвалится хозяйство-то. Как же без него будешь, а?

И хохотнул, довольный.

— За свое хозяйство беспокойся, — покосился на него Леонтий и высыпал остатки табака в кисет. — Так удобнее ходить. Не потеряется. Ремнями привязал к ноге и шагай. Первый протез выстругал, так на ходу мотылялся, все колено истер. Вот и придумал с такими оглоблями. Подушечку под колено сделал, рюмку для култышки и ремни приспособил. Култышку сунул, захлестнул ремнями — ни в жизнь не соскочит. Проверено.

— Ага, понятно, — закивал Агафон и потянулся с бутылкой. — Давай-ка еще раз за твое возвращение. Живой пришел, глянь-ка! — И удивленно мотнул башкой.

Выпили еще по стопке. Леонтий оторвал рыбий хвостик, погрыз и опять вынул кисет. Курил, поглядывая по сторонам. Вон сарай покосился. Огородишко зарос сорняками, а поле, где картоху сажали, почти все бурьяном покрылось. Лишь поближе к избе земля чернеет. Раньше-то поболее засаживали... В старые времена по осени картоху выкапывали, а нынче уже убрали. А может, даже и съели — кто знает. Он вздохнул.

— А что домой не писал? — покосился на него Агафон. — Как ушел на войну, так и пропал. Ни слуху ни духу...

— Что спрашиваешь-то? — Леонтий сгорбился, уткнулся взглядом в крыльцо. — Сам знаешь, как я жил.

Жизнь у него еще до войны не заладилась. Свела судьба с Варварой, но так и остались чужими друг для дружки. Да и женились как-то не людски. Слишком быстро все закутилось. Немного погуляли, а потом расписались. Может, как говорят, влюбился по уши: девка-то красивая была, мимо не пройдешь — оглянешься. А может, чем-нибудь опоили, чтобы дальше своего носа не видел. На следующий день, когда свадебные гости опохмелились, кто-то с ехидцей сказал, что баба у него блудливая, как мартовская кошка. Леонтий не выдержал, обозвал жену по-всякому и оттолкнул от себя, а она взглянула и промолчала, ни слова не сказала в ответ, лишь нахмурилась и в избе скрылась. Он сидел на крыльце словно оплеванный и не знал, как быть дальше. Ударить кулаком по столу и сказать гостям, что не останется с Варварой, потому что его обманули? Засмеют и не поймут: сам же выбирал невесту, вот и живи теперь. И никуда не денешься.

Стали жить. Леонтий думал, перемелется — все забудется, но, видеть, бесполезно. Не простила его Варвара, затаила обиду. Первое время

возвращался домой, по хозяйству возился, ночью совался к жене, а она словно бревно лежит или отвернется и молчит. До замужества веселая была да ласковая. Дня не мог прожить без нее. А потом будто наизнанку вывернули... Замолчала с той поры, как он ее при людях обругал, и ни словечка не говорила.

Детей не было. Пустая оказалась.

По деревне про нее всякие слухи гуляли. Говорили, будто у Варвары раньше был заезжий хахаль, с которым она было уехала да через две недели вернулась. Всё думали, за ум возьмется. Ага, как же! Другого уха-жера подцепила и назло всем закрутила с ним любовь, потом третьего... А потом Леонтий подвернулся — молодой, глупый. Окрутили его Варька с ее матерью, башку задурили и женили простачка... И еще всякое шептали.

Так и жили молодые супруги — каждый сам по себе. Он дневал и ночевал на работе. Она собиралась и тоже уходила. Леонтий вернется домой, а ее нет. Появится, молчком сунется на кровать и не шевелится, а начини говорить — будто не слышит. И лаской пытался образумить, и смертным боем бил, а Варвара отлежится — и снова в молчанку играет. Потом Леонтия на войну забрали. Ни слезинки не проронила, когда провожала. Все смотрела на него, за руки хватала и старалась в глаза заглянуть, но молчала. Он буркнул, что прощает все ее грехи, но больше к ней не вернется, потом уселся на подводу и ни разу не оглянулся, пока деревня не скрылась из виду.

А сейчас приехал — и для чего?..

Леонтий помедлил, взглянул на соседа, выпил, отмахнулся от закуски и, уткнувшись носом в пропахшую потом гимнастерку, сгорбился на ступеньке.

— Устал я, Агафон, — сказал он. — И раньше была жизнь через пень-колоду, и сейчас вернулся не знаю зачем. Сижу, а в избу не захожу.словно не моя она, а чужая. Как будто мимо шел, присел немного отдохнуть и сейчас дальше отправлюсь. Видать, вся наша жизнь — это дорога. Только у кого-то она гладкая, а у меня — вся в колдобинах...

— Знаешь, Ленька, у каждого в жизни колдобин хватает, — перебил Агафон. — Не успеваешь перепрыгивать и обходить. И люди не станут разбираться, кто или что тебя толкнуло в грязь, а тут же начнут судачить. Вот помочь отмыться и встать на ноги согласится не каждый, потому что всегда легче осудить, чем протянуть руку.

Они сидели и молчали. Изредка курили, а еще реже наливали самогонку и выпивали. Потом Агафон поднялся.

— Ну, бывай, — сказал он. — Подумай над моими словами, а я пошел. Умotalся сегодня. На ходу засыпаю. — И громко, протяжно зевнул. Направился к калитке, но потом обернулся.

— Слышь, а что про Варьку-то не спрашиваешь? Все-таки жена...

Леонтий пожал плечами.

— А зачем? — сказал он. — У Варьки своя жизнь, а у меня...

И махнул рукой.

— Уехала она, — зевая, сказал Агафон. — Немного не застал. Дня два как уехала, а куда — не знаю.

И ушел.

Леонтий невольно оглянулся на дверь. Уехала... Кажется, на душе стало легче, но в то же время навалилась усталость. Он боялся этой встречи, но в душе хотел увидеть ее, свою жену. Посмотреть, какой она стала за эти годы. Хотя какие годы, если его в середине войны забрали... Такая же осталась, как раньше. С ним холодная, словно ледышка, зато с другими была горяча, как шептались в деревне. Леонтий ушел на фронт и ей руки развязал: делай что хочешь...

Он чертыхнулся. Хватит о ней думать и себя накручивать!

Долго поднимался, схватившись за шаткие перила. Придерживаясь за стену, допрыгал до двери. Она не заперта: зачем, если нечего воровать. Толкнул — заскрипела и распахнулась. Уже в сенях до боли знакомые запахи. На ощупь нашел в темноте дверь в избу, дернул. Не получилось переступить порог. Опустился на щелястый пол, на карачках пробрался внутрь. Прислонился к печке. Холодная, а все равно пахло хлебом и дымом. В животе заурчало. Леонтий уже забыл, когда в последний раз ел, да и желания раньше не было: покурил, водички попил — и хватит.

Заполз в горницу и опять прислонился к стене. Стена обшарпанная, давно не мазанная и не беленная. Взглянул по сторонам — и закашлялся, задохнулся. Частенько ему на фронте и потом в госпитале ночами снилось, как он сидит за столом, а на столе чугунок с картохой, рядом капуста лежит и полная чашка соленых рыжиков, а здесь груздочки выглядывают, а в другой чашке судак и щука соленые — сам на зиму заготавливал. Каждый год опускал в погреб по два-три бочонка с рыбой, потом всю зиму питались. С картошкой, с соленьями, а если еще под стакашок... И, как ни странно, Варвара снилась. Иной раз Леонтий чертыхался, а бывало, тоска накатывала, да такая, что хоть волком вой или об стену головой бейся!

И всегда была какая-то недосказанность в этих снах. Варвара стоит перед ним и смотрит, словно в душу заглядывает и выворачивает ее — эту душу, и вроде что-то хочет сказать. Потянется ему навстречу, а потом плечики поникнут, и стоит сгорбившись. Леонтий руку начнет к ней протягивать, а рука неподъемная, с места не сдвинешь. Рванется к ней — и тут же просыпается, а потом весь день смурной ходит...

— Эй, хозяева! — С улицы донесся густой голос, и раздались медленные тяжелые шаги. — Что свои ноги разбросали по всему двору? Ни пройти ни проехать.

Заскрипела дверь. Склонившись, протиснулся высокий мужик, аккуратно приставил протез к печке, а сам заглянул в горницу.

— Здорово, Ленька! — забасил он, подхватил Леонтия и принялся тискать. — Здорово, чертяка! Живой, ёшкин малахай, а мы уж тебя тыщу раз похоронили! Значит, будешь жить вечно... — И опять тискает.

— Пусти, Панкрат! — захрипел Леонтий, стараясь вырваться из цепких рук. — Все ребра переломал, ирод!

— А мне Агафон говорит, ты вернулся, а я не верю. Сам знаешь, какой он болтун, — продолжал басить мужик. — С того света не возвращаются. Ага, ёшкин малахай... Думал, он лишку выпил. Присмотрелся — вроде трезвый, и по глазам видно, не врет, зараза. Ну, я у своей бабы пузырек забрал ради такого случая, немного снеди прихватил —

думаю, ты же голодный вернулся — и сюда подался. Гляжу: точно, возле крыльца нога валяется. Не обманул Афонька! Аж дух занялся, так обрадовался. Ведь тебя же давным-давно схоронили, ёшкин малахай. Одна твоя Варька не верила, что ты погиб. Всё ждала...

И Панкрат опять полез обниматься. Потом дотащил Леонтия до стола и посадил на шаткую табуретку.

— Здесь чуток посветлеет будет, — сказал он, вытащил из кармана бутылку, заткнутую бумажной пробкой, положил на стол большой сверток и метнулся на кухню. Загремел чем-то, захлопали дверцы, и Панкрат опять вернулся. — Вот, разыскал, — сказал он, поставил стаканы и разлил выпивку. Потом развернул сверток и придвинул к Леонтию. — Это для тебя, ёшкин малахай. Давай-ка опрокинем по стопке, и принимайся за еду. Истощал, кожа да кости остались! Ну, ничего, были бы кости, а мясо нарастет. Откормит тебя Варвара, поставит на ноги...

И запнулся, исподлобья взглянув на Леонтия. Тот промолчал, лишь сильнее нахмурился.

— Ну, «провались земля и небо, мы на кочках проживем», как мой батяня говорил. Давай-ка опрокинем за проезд, — сказал Панкрат, медленно выпил и затряс головой. — Ух, зараза, аж слезу вышибает! — И тут же ткнул пальцем: — Ты покушай, Ленька, покушай. Оголодал, пока добрался. Правда, мало разносолов. Голодновато в деревне, но ничего, не помрем — привыкшие.

Леонтий взял со стола маленького жареного окунька и принялся его грызть, обгладывая и обсасывая каждую косточку. У, вкусно-то как! Всякую рыбу пробовал, а своя намного вкуснее. Родная, можно сказать.

— Давай еще по стопке опрокинем, — подтолкнул Панкрат. — Ну и что, что темно? Мимо рта не пронесешь!

И снова закричал, закашлялся. Потом закурил, и огонек выхватывал из тьмы уставшее лицо, заросшее щетиной, и пальцы с обгрызенными ногтями.

— Ну, рассказывай, почему задержался, — наблюдая за Леонтием, сказал сосед. — Афонька говорил, что в госпитале валялся. А почему не писал домой? Все обиду держишь на Варвару, да?

— А тебе какое дело? — не стерпев, рявкнул Леонтий и бросил рыбью голову на стол. — Что лезете в душу? Один зашел, взялся учить, сейчас ты нос суешь... В своих семьях разбирайтесь, а ко мне не приставайте, не то враз отлуп получите. Ишь, защитнички выискались!

Не удержался, схватился за бутылку, налил в стакан, выпил и замолчал, поглядывая в темное окно.

— Дурак, — спокойно, даже неторопливо пробасил Панкрат и повторил: — Дурак! Развыступался, ёшкин малахай! Сам виноват. Поменьше бы других слушал, а побольше бы Варькой интересовался. Внимание уделял, так сказать. Глядишь, жили бы как люди. Ладно, потом поговорим... Лучше скажи, как в госпиталь попал, почему похоронку прислали?

— Как обычно попадают — ранили, — буркнул Леонтий. — Осколком зацепило. Гангрена началась. Если бы сразу отрезали ногу, давно бы приехал, а они «спасали». И на кой черт она нужна такая? — Он хлопнул по обрубку, поморщился — больно. — Это же не мужик, с такой кулдыш-

кой, тем более в деревне: ни копать, ни пахать. Молодой еще, жить да жить, но уже стал обузой. Ай, да пропади всё...

Махнул рукой и отвернулся.

— Какая обуза, если всего полноги не хватает? — хохотнул Панкрат. — Вон возьми нашего Николая Дронова. Ну, у которого дом возле речки. Да ты знаешь его, ёшкин малахай! У него три култышки и рука крючком, а он живет да еще умудрился ребятенка сделать. И баба его рада-радехонька, пылинки с него сдувает. А ты: обуза, обуза... Кому — Варьке, что ли, обуза? Да ну, скажешь тоже...

— Что ты заладил: Варька, Варька... — взъярился Леонтий и крепко хлопнул ладонью по столу. — У нее своя жизнь, а у меня своя. Понял? Я вообще не хотел возвращаться. Никто не ждет меня. Некому ждать.

— Дурак, ох дурак! — покачивая головой, сказал Панкрат и поднялся. — Ладно, я пойду, пока не разругались. Вижу, разговор не получается. Отсыпайся с дороги. Скажу своей бабе, чтобы завтра к тебе заглянула. Чем-нибудь поможем. — Постоял, помолчал, потом все-таки сказал: — А Варька твоя, чтобы ты знал, за десятерых ломила в войну, когда всех мужиков на фронт забрали. Всех баб поддерживала, с любой бедой к ней бежали, а она помогала. Последний кусок ребятишкам-сиротам отдавала, а сейчас поехала... — Он запнулся, а потом махнул рукой: — Смотришь далеко, а под носом ни шиша не видишь. Эх ты, горе луковое...

И ушел, хлопнув дверью.

Леонтий долго сидел за столом. Темно за окном, а в избе еще темнее. Руку протяни — и не увидишь. Курил. Вспыхивал огонек, выхватывая из темноты край стола, или отражался в мутном стекле. Леонтий потушит окурок, вытрусит в кисет и снова сидит. Обо всем думал. Мелькали перед ним обрывки прошлой жизни. Одни исчезали, другие складывались в какую-нибудь картинку. То война вспоминалась, то довоенное. Вот отец мелькнул, давно уж его нет в живых. Надо бы на могилки сходить к родителям да и деда с бабкой проведать. Всех родных Леонтий схоронил. Один был у матери с отцом. Мать он помнил плохо: какой-то смутный образ, запахи больницы... А потом она померла. Леонтия воспитывал отец. Да как воспитывал, если его дома-то не было, все на работе пропадал? Вернется, повозится по хозяйству, что-нибудь перекусит и спать заваливается... Однажды по весне отец стоял на обрыве, смотрел, как вода прибывает, а край обрыва обвалился и ушел под воду. Отца нашли в топляках, когда вода на спад пошла.

Пришлось Леонтию самому заниматься хозяйством. Не до учебы стало, рано пошел работать, а подошло время — женился, но жизнь как-то не сложилась. Конечно, Леонтий и себя за это корил, но Варвару — больше: мол, люди зря не будут говорить, дыма без огня не бывает. С другой стороны, может, со всем бы они справились, если бы он, мужик, ей плечо подставил. А он, получается, оставил ее одну со всеми бедами-напастями: мол, разбирайся как знаешь... Вспомнил он, как они с Варварой познакомились, как гуляли, о чем разговаривали... Что ни говори, а с ней было интересно! И смеялась она так, что и не захочешь, а следом за ней зальешься. А уж как взглянет...

Леонтий чертыхнулся: все-то она в башку лезет! Неуклюже поднялся. Придерживаясь за стену, допрыгал до кровати в углу. Скинул гимнастерку и повалился на матрац. Покрутился, устраиваясь на подушке, — и от нее Варварой пахло, как показалось. Хотел сбросить подушку на пол, а потом обнял покрепче и уснул, словно провалился. Все, он дома...

Едва рассвело, Леонтий был на ногах, если можно так сказать. Сунул свой обрубок в протез, захлестнул ремнями, вышел во двор, постоял, поглядывая по сторонам, потом взял ведро и как был в нательной рубахе, так и направился к колодцу: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

— Ой, гляньте-ка, Леонтий воскрес из мертвых! — протяжно, с ехидцей, заголосила толстая баба, стоявшая возле колодца. — Прикатил, а его раскрасавица умызнула. Видать, поехала нового хахаля искать...

— Дура ты, Глашка! Что языком-то поганым мелешь? — всплеснула руками старушонка в широкой юбке до земли, в кафавейке и теплом платке. — Не знаешь — не болтай! Здравствуйте вам, Леонтий Матвейч! — Она склонила голову. — Вот радость-то, живым вернулись! А Глашку не слушайте. Завистливая баба.

— А чему завидовать-то? — уперев руки в бока, возмутилась Глафира. — Что у него баба гулящая или что он безногим воротился? Хе-хе, вот радость-то! И Варька не баба, и он не мужик. Так, две половинки... — И поджала тонкие губы.

— Стыда у тебя нет! — покачивая головой, протяжно сказала старуха. — Не слушай ее, Леонтий Матвейч! Твоя Варька — золото, а не баба.

— Золото для других? — буркнул Леонтий, подхватил ведро и медленно направился к дому: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

— О, баб Дуся, слышала? Сам Ленька сказал, что его Варька еще та гулена! Всех мужиков перебрала, огни и воды прошла, шалава подзаборная, — опять зачестила Глафира. — Горбатого могила исправит. Так и ее...

— Да замолчи уже! — сердито прошамкала старуха. — Сама не живешь и другим не даешь. Распустили сплетни на пустом месте, ославили девку на всю деревню... Вот погоди, скажу твоему мужику, пусть он тебя проучит!

— Тоже мне напугала — мужик! Да я сама его... — начала было Глашка — и ойкнула, когда рядом с ней вдруг загудел тягучий бас. — Коленька, я же пошутила... Конечно, ты настоящий мужик... А-а-а!..

— Правильно, Коля, так ее, заразу! — донеслось от колодца. — Приструни немного, чтобы почем зря языком не молола.

Во дворе Леонтий скинул исподнюю рубаху и принялся мыться холодной водой. Охал, фыркал, намываясь. Потом вытерся утиркой, висевшей на крыльце, подхватил рубаху и зашел в избу.

Усевшись за стол, сразу налил в стакан, выпил. Закряхтел, замотал головой: ух, крепка самогонка! Потом схватил окунька и принялся грызть. Достал из свертка, что оставил Панкрат, две небольшие картошки. Очистил одну: внутри почерневшая. Все равно откусил и зажмурился. Опять налил и выпил. Закурил. Стал осматриваться.

Впотьмах-то накануне родную избу не разглядел. Все такое знакомое, но в то же время чужое. Как он вчера сказал соседу, «будто я мимо

проходил и просто присел отдохнуть». Так и сейчас было, но уже как будто немного отступило и притупилось... Стол, табуретки, кровать в углу, над ней простенький коврик. Рядом сундук, а в нем, как он помнил, его костюм, рубахи и ботинки, Варькины платья и прочие тряпки. Возле окна этажерка, на ней две-три книжки, огрызок карандаша, шкатулка — все нажитое богатство. А в углу икона виднеется. Это Варвара с собой принесла, когда они с Леонтием поженились. Странно, если насовсем уехала, почему ее не забрала? Леонтий сдвинул брови. Знал, что жена дорожила этой иконой, которая ей будто бы еще от бабки досталась. Икона здесь, а Варвары нет, и куда укатила — непонятно, все молчат...

Леонтий поднялся. Придерживаясь за стены, вышел во двор. Распахнул дверь в сараюшку. Тишина. Раньше, хоть и жили сами по себе, а здесь и свинка была, даже не одна, и кур десятка два, и гуси ходили, и козу держали. И за всем этим хозяйством Варвара присматривала... Тьфу ты! О чем бы ни подумал, все думки неминуемо к Варьке сходятся!

Огляделся в полутьме. Скрип-шлеп, скрип-шлеп. Подошел к закрытой двери, звякнул щеколдой — открыл. Остановился на пороге. Здесь он столярничал. Верстак в углу, на нем лежит весь инструмент, на стенке пилы, угольники да линейки. Он постоял, рассматривая. Каждая вещь на своем месте, как он привык держать. Наверное, Варвара позаботилась... Вот черт, опять! Грохнул дверью и направился в избу: скрип-шлеп, скрип-шлеп.

— Хозяин, бывай здоров! — На крыльце стояла соседка с ведром и узелком. — С прибытием, Лень! Мы так рады, что ты вернулся живой, так рады! Я всю ноченьку глаз не сомкнула, все про тебя думала да про Варвару...

— Нечего думать, — буркнул Леонтий и стал медленно подниматься по ступеням. — Не успел появиться, уже всю плешь прогрызли. И ты будь здорова, Анюта! Что тебя нелегкая принесла?

— Панкрат прислал. — Она кивнула на ведро. — Чуток картошки положила. Плохо уродилась в этот раз, да и сажать было нечего. Вот здесь еще грибы. А Панкрат выделил для тебя самосад и газетку сунул на всякий случай. Мало ли что... — Она помялась, хотела что-то сказать, а потом махнула рукой, все оставила и пошла со двора. — Сами разберетесь, не малые дети.

Чему-чему, а табаку Леонтий обрадовался. Лучше без куса хлеба остаться, чем без курева! Проголодаешься — можно потерпеть дня два и даже три, а вот без табака сразу беда. Весь изведешься, всю траву да листья искуришь или изжуешь, но все равно тянет смолить — спасу нет. Он сразу подхватил узелок и ведро да быстрее подался в избу.

К вечеру снова нагрянули гости. А потом люди и вовсе потянулись друг за дружкой. По деревне быстро разошелся слух, что считавшийся погибшим Леонтий Шаргунов вернулся — без ноги, но живым. Несмотря на голодные времена, каждый старался прихватить гостинчик. К Леонтию заглядывали все: соседи, ребятня, деревенские бабы и молодые девчонки. И вдовы заходили — спросить, не встречался ли он где-нибудь на фронте с их мужьями... Спрашивали, а сами плакали.

Плакали все, кто приходил, бывало, даже мужчины не сдерживали слез.

Мужики приносили бутылку, рассаживались возле стола, а то и на подоконнике, если места было маловато, выпивали и подолгу разговаривали. Все разговоры в конце концов сводились к войне. Каждый старался выложить что-нибудь свое, наболевшее: или про себя, или про друзей, с кем рядом воевал. Этот вернулся, тот погиб, а тем повезло — в госпиталь угодили. Повезло, потому что в живых остались, а что теперь без руки или без ноги — это мелочи. Дома их готовы ждать сколько угодно и примут любых: здоровых, контуженных, безруких и безногих, слепых и глухих... Лишь бы вернулись.

— Вот я помню, наш полк вырвался вперед, — рассказывал невысокий тощий мужичок. — Ушли мы далеко от своих — и нас взяли в кольцо. Боеприпасы закончились. И как принялись фашисты садить на нас без передышки, зная, что никуда не вырвемся! Трое суток мы пролежали в болотах, головы не могли поднять — такой огонь вели по нам фрицы. Чтобы от него укрыться, мы выкладывали перед собой тела погибших товарищей. Они мертвые спасали нас живых. А через трое суток наши подоспели. Вот только от полка осталась всего одна рота. Так-то, братцы... Мне ночами снятся ребята, что там погибли. Приходят. Разговариваю с ними...

Он замолчал, уткнувшись взглядом в пол.

— Давайте, мужики, выпьем, — сказал кто-то.

Все выпили.

— А мы готовились к атаке. «Катюши» как врезали по немцам — ужас, что творилось! — заговорил крепкий мужик в расстегнутой до пупа рубашке. — Как дали, аж земля горела! Потом пошли мы, танки. И только двинулись в атаку, как из огня навстречу нам выскакивает фашист! Прямо вот так, передо мной. Гляжу, а у него вся башка седая и глаза белые-белые, даже зрачков не видно! Видать, рассудка лишился после наших «катыш». Никого не замечает и бежит прямо на мой танк. А я куда отверну, если рядом со мной другие идут? По нему прошли... Эх, война сволочная!..

И тоже смолк, уставившись куда-то в окно.

— Помню, заскочил я в один дом, когда Берлин брали, — медленно заговорил еще один мужик, потирая щетинистое лицо. — Слышу, кто-то возится в комнате. Забегаю туда, а там офицер-эсэсовец в гражданскую одежду переодевается. Видать, сбежать хотел. Меня увидел, пистолет выхватил и выстрелил мне в лицо. Промаяхнул, мне только висок обожгло. Я его из автомата снял. Дурак он: нужно было в грудь стрелять, тогда бы попал. А он — в лицо из пистолета! Кто же так стреляет?

Сказал и пожал плечами, словно не в него палили и не его могли убить.

— Давайте, мужики, выпьем за всех, кто не вернулся домой, — предложил кто-то за столом. — За всех, кого до сих пор ждут и будут ждать...

Выпили. Потом потянулись на улицу, на перекур. И на крыльце опять долгие разговоры. Вспоминали войну, тут же переходили на деревенскую жизнь и начинали что-нибудь обсуждать, спорить, а иногда и

ссориться. Тогда вмешивались жены и наводили порядок: одних ругали, других уговаривали, третьих просто уводили домой.

Прошло несколько дней, и на пороге появился председатель, Роман Тимофеевич. Зашел, осмотрелся. Нахмурился, увидев замызганные полы, мусор в углах, пепел на столе и подоконниках, разбросанные повсюду свертки, узелки и узелочки. В доме стоял стойкий запах махорки.

Леонтий сидел за столом — небритый, опухший и уже навеселе.

— Здорово, солдат! — Председатель подошел к столу, громыхнул табуреткой и присел напротив Леонтия. Покрутил в руках заляпанный стакан, чуточку налил в него и выпил. — За приезд, за твое воскрешение из мертвых!

— А, здрасте вам. — Леонтий пьяно качнул головой. — Как живете-можете? — И потянулся за бутылкой.

— Вашими молитвами. — Председатель перехватил бутылку и отставил подальше. — Не надоело в рюмку заглядывать?

— А что? — с гонором сказал Леонтий. — Имею право! Я домой вернулся. Вот гуляю...

Он обвел рукой стол.

— И долго еще собираешься гулять? — прищурился Роман Тимофеевич.

— Сколько хочу, столько гуляю. Вам-то какое дело? — повысил голос Леонтий. И заухмылялся: — Я человек списанный, к жизни и труду непригодный. Калека безногий. Вся моя жизнь коту под хвост. Ясно вам?

— А, ну да, ну да! — закивал председатель. — Это проще всего — себя жалеть. Мол, больной, хромой, жизнью обиженный... И самогоном себя глушить — так сказать, горе заливать.

— Я войну видел! — Леонтий ударил кулаком по столу. — А ты, Тимофеич, дальше райцентра не выезжал. И не тебе меня совестить, понятно?

— А я каждый день смотрел в глаза детишек, которых к нам привозили в эвакуацию! — тоже повысил голос председатель. — У нас в деревне всю войну детдом стоял, только потом его в город перевели. Ты знаешь, каково это, когда голодные дети смотрят на тебя и молчат? Страшно и больно... Твоя Варвара этих ребятишек выхаживала. В тень превратилась, потому что у самой маковой росинки во рту не было, все им отдавала. И если бы не она...

— Да что вы лезете ко мне с этой Варькой? — вспыхнул Леонтий и смахнул со стола пустую бутылку. Та, звякнув, покатила по грязному полу. — Нашли икону! У меня своя жизнь...

— Знаешь, Ленька, я тебе раньше сочувствовал, — помолчав, сказал Роман Тимофеевич. — Ты рано без родителей остался, совсем еще мальчишкой пошел работать, чтобы себя прокормить. Потом, как женился, поползли эти слухи про Варвару... Я думал, надо же, как не везет человеку, жалел тебя. А теперь понял: ты просто дальше своего носа не видел и не хотел видеть. Тебе так было удобно. Наслушался бабьих пересудов, отвернулся от жены и успокоился. А ты бы своей башкой подумал,



сколько Варваре пришлось вынести, через что она прошла! Ты помочь ей должен был, защитить. А ты бросил ее одну...

Председатель вздохнул. Хотел было налить себе в стакан, но передумал и поставил бутылку обратно.

— Я бросил?! — вскинулся Леонтий. — Я вернулся — и где же она, моя разлюбезная, а? Никто не знает, а кто знает — посмеиваются. Говорят, к хахалю подалась...

— Дурак! — оборвал его председатель. — В город твоя Варька поехала, в детдом. Прикажешь на каждом перекрестке об этом кричать? Хочет она взять мальчонку-сироту. Мы с бумагами помогли. А что тебя никто не спросил, так ведь ты погибшим числился, столько лет не подавал о себе вестей... — И добавил: — Радуйся, сын у тебя будет! Еще один мужик в доме появится, помощник вырастет. Мальчонка — вылитый ты. Варвара как его увидела, так сразу к нему сердцем и потянулась.

— Сын... — Леонтий запнулся и в растерянности закрутил башкой. — Так ведь... А как жить-то будем? Я же безногий...

Сказал и поник.

— А руки и голова у тебя на что? — усмехнулся Роман Тимофеевич. — Чем собираешься заниматься? Так и будешь у бутылки дно искать или все-таки возьмешься за ум? Не для того Варвара мальчонку привезет, чтобы он смотрел, как отец лодыря гоняет и спивается.

— Да куда я со своей культей пойду? — Леонтий стукнул по ноге. — Ни копать, ни пахать...

— Кто тебя заставляет пахать? — пожал плечами председатель. — Ты же неплохой столяр и плотник. До войны любо-дорого было смотреть на твою работу. И двери делал, и окна, да много чего... Вот и займись. Мастерскую выделю, инструментами и материалом обеспечу. Помощников подберешь сам. Работы — непочатый край: нужно старое восстанавливать, новое строить... Сына в подручные возьмешь, пусть растет при деле, учится мастерству. Ну как, согласен?

Леонтий растерялся от неожиданного предложения. Он уже привык считать себя ни на что не годным, обузой для других, а тут вдруг... Вспомнил, как в первый день после возвращения зашел в свою мастерскую, как задрожали руки, прикоснувшись к инструментам... Соскучился!

— Можно взяться, — степенно сказал он. — От работы я никогда не бегал. Приучиться бы только с одной ногой управляться...

— Вот и ладушки, — перебил Роман Тимофеевич и встал. — Договорились. Я распоряжусь, чтобы подготовили мастерские и прочее. А тебе даю еще три дня на уборку в избе... — Он обвел взглядом горницу. — И в семье порядок наведи. Нужно жить своей головой, а не верить чужим сплетням. Понял? Вот так!

Надвинув на глаза фуражку, председатель пошел к выходу. На пороге оглянулся, постоял, глядя на Леонтия, как будто прикидывал, можно на того надеяться или нет. Потом погрозил пальцем и вышел.

Леонтий еще посидел за столом. Хотел выпить, но подумал и отставил бутылку в сторону. Посмотрел по сторонам: везде грязь, мусор, окурки... А запах!.. Поморщился и торопливо взялся за уборку. Думал о Варваре, о сыне, который скоро приедет, и удивленно качал головой.

Смеркалось, когда дверь распахнулась и на пороге появился Агафон. Он хохотнул, увидев, как Леонтий елозит по полу в исподнем белье и косырем скоблит грязные половицы.

— Эй, Ленька, ты что это делаешь? — Сосед прислонился к косяку. — Полы драить — это же бабья работа! Хватит, поднимайся. Посидим, покурим, поболтаем. Столько не виделись...

— Некогда рассиживаться, — буркнул запыхавшийся Леонтий. — Иди отсюда, не стой над душой! Мешаешь. Хватит, отметили приезд. Пора делом заняться.

И опять взялся за косырь.

Агафон потоптался, что-то бормоча себе под нос. Собрался закурить, достал кисет, потом взглянул на чистый пол и молчком вышел.

Чуть погодя снова стукнули в дверь. Ввалился крепкий старик, держа в руке небольшой кулан с мелочевкой.

— Ленька, я рыбку принес! — забасил он и в грязных опорках прошлепал к столу. Положил на него рыбу и прищурился: — А ты чего на карачках ползаешь? Перебрал, что ли?

— Ну, дед Тимоха! Я тут полы скоблю, а ты в грязной обуви шляешься! — не удержался, рыкнул Леонтий и вытер вспотевшее лицо. — Вон, аж мокрый весь... Спасибо за гостинец.

— Ну ладно, не стану мешать. — Дед Тимоха направился к двери. — Не ругайся. Рыбку определи, чтобы не испортилась. Наловлю — еще принесу.

Леонтий не ответил, все скобил пол. Доски зажелтели. Намочит их — сразу смоляным духом тянет. Опять берется за косырь и начинает скоблить. Немного продерет, смывает водой — и опять запах смоляной...

Наконец закончил. Чувствуя здоровую, рабочую усталость, устроился на крыльце с кисетом. Над деревней висели густые сумерки. Дорога терялась в них, но Леонтий все равно смотрел вдаль, дымил самокруткой и ждал. Вдруг они приедут уже сегодня — Варвара и мальчик. Какими словами их встретить? «Здорово, малой, я твой папка. Здравствуй, Варя. Мне Тимофеич все рассказал...» Так, что ли?

Задергалась щека, следом затряслась голова. Он схватился рукой, словно старался удержать. Врачи говорили, что это нервное, со временем пройдет...

Леонтий представил лицо жены. Вспомнил, как она смотрела в тот день, когда его забирали на войну, — словно хотела что-то сказать или спросить, но не решалась... Вспомнил слова председателя, что нужно жить своей головой. И вдруг успокоился. Здесь его дом, и теперь у него по-настоящему есть семья. Война и мытарства по госпиталям остались позади. Можно начинать жить заново. Они с Варварой и сами не пропадут, и сына на ноги поставят. Ничего, что он, Леонтий, без ноги. К этому можно приспособиться. Главное, что живой.

Он сидел, курил, глядя в дорогу, по которой к нему должна была прийти новая жизнь, готовый встать и шагнуть ей навстречу. Может, они приедут завтра, а не сегодня. Путь-то из города не близкий... Ну и ладно: ведь Леонтий больше никуда отсюда не денется. Он теперь всегда будет с ними. Он вернулся.

Иван ПОЛТОРАЦКИЙ

СОВЕТСКИЕ СТИХИ

* * *

вот тело музыки нетронутое львами
четвертый день лежит глаза не закрывая
не трожь ее — а то не оживет
пусть полынья вмерзает в черный лед
вот ты огнем охвачен
но не горишь — огонь горит в тебе
вычеркиваешь лишнее — в тебе —
огонь горит
смерть умирает
время говорит
вложи сознание в развернутую рану
что ты докажешь рухнув в полынью
из музыки никто не возвращался
четвертый день я песенку пою

советские стихи

загородный заговор
деревьев городских:
весной воскреснуть заново
в селениях людских
но умереть заранее
надолго и всерьез

выходят на задание
разведчики берез
артиллеристы лиственниц
забили снег в стволы
и в тишине их выстрелы
как облако белы



сверкающее воинство
 деревьев под Москвой
 не торопясь готовится
 к атаке лобовой
 стоит за кроной пламени
 корней заградотряд

и не уронит знамени
 сиреневый солдат
 и смертью смерть распятая
 глотает свой скелет
 пока в деревьях парковых
 работает завет.

* * *

братья бодрость и ярость
 стремительны ваши приказы
 вот пылает Орфей
 озираясь
 на собственный крик
 и двоится лицо его
 на недоступное глазу
 и лицо человека
 обогнавшего память на миг

братья ярость и бодрость
 как молнии ваши запястья
 как праздничны ваши шаги
 как вас тонкие женщины держат
 на бедрах
 как вздымаются змеи заслышав ваш гибельный гимн

образ крови на пять оборотов
 время в рост как ненужная тяжесть нежна
 и выходит на воздух и ждет нас прозрачная кротость
 безупречная крепость
 и только ладони разжать

озеро

я где-нибудь проснусь
 я не могу иначе
 рассветом пронесусь
 над озером на даче

а не проснуться нет
никак я не могу
ведь только что рассвет
валялся на снегу

но что он нам принес
помимо белой шерсти
мы не боимся смерти
смерть не боится нас
вот что он произнес
проснувшийся анфас

у озера я пес
и я смотрю на Вас

март

Март хрустящ и хрусталёв.
Что ты плачешь, Гумилев?
Николаевич, не плачь,
не придет к тебе палач,
будет оттепель, апрель,
бесконечная метель,
нас возьмет на карандаш
быстрой памяти монтаж,
чтобы лишнее отсечь,
сквозь огонь просеять речь
и увидеть на лице,
проступающем в конце,
лишь одну прямую страсть —
к простыне лучом припасть.

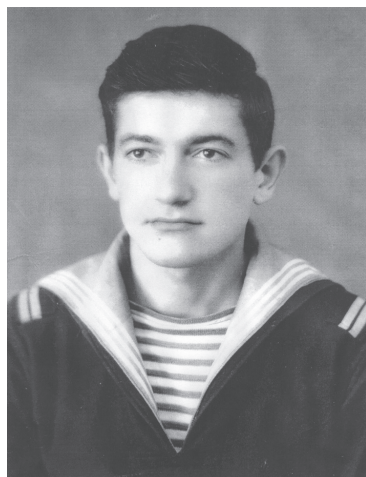
* * *

Между теорией и практикой
зазор такой,
что лезвие ножа
войдет дрожа
точь-в-точь.
Товарищ, оч-ень
надо верить:
звезда высокого труда
в осколках ночи воссияет
и пробудятся марсиане
не как какие-нибудь звери,
а люди, люди!

Александр ПЛИТЧЕНКО

ДАЛЬНЕЕ СИНЕЕ МОРЕ

Творческое наследие сибирского поэта Александра Ивановича Плитченко (1943—1997) велико и разнообразно. Он много издавался в Новосибирске и Москве и пользовался успехом у любителей отечественной поэзии. Лучшие его стихотворения и по сей день на слуху. Однако есть и такие стихотворения, которые известны лишь немногим обладателям всех-всех когда-либо вышедших сборников писателя; стихотворения, несомненно заслуживающие полноценного включения их в поэтическую действительность. Подборку из таких стихов мы и предлагаем вниманию наших читателей.



Александр Плитченко.
1963 г.

Редакция благодарит за помощь в подготовке данной публикации жену поэта Эрту Геннадьевну Плитченко (Падерину) и Владимира Ивановича Ярцева.

Окно

Оно имело цвет и запах,
Как будто легкое вино,
То,
Обращенное на запад,
То земляничное окно.

И голубыми вечерами,
Когда уже взойдет луна,
Я прикасался к синей раме —
И мир теснился у окна.

В миру ворочались и жили
 И самолеты, и жуки,
 Коровы и автомобили,
 Приезжие и земляки,
 И лес — еловый, вострокрыший,
 И на заборах петухи,
 А в заключенье кто-то рыжий
 Шел и насвистывал стихи.

И стоило мне очутиться
 В постели
 И уснуть в тепле,
 Как сквозь окно влетала птица
 И застывала на столе...

Воспоминание об океанском побережье (1963 г.)

Полуживые бакланы — перья пропитаны нефтью.
 Ящерики, комья асфальта, обувь, игрушки, бутылки.
 Дохлая рыба, моллюски, заваль капусты осклизлой.
 С этого и начиналось дальнейшее синее море...
 После вчерашнего ветра — жарило желтое солнце.
 Душная бухта дышала влагою, гнилью и йодом.
 Грязные чайки мотались с криками над мелководьем.
 С этого и начиналось дальнейшее синее море...

Иволга

В сумерках звуку какому-то
 Ищешь названия ты —
 Это по черному омуту
 Синие кружат цветы,

Или тот звук удивительный,
 Влагой исполненный, он —
 Звон родниковый живительный,
 Знобкий и радостный стон,

Иль окликает растения
 Вольно упавших долин,
 Изнемогая в цветении,
 Из-за ограды жасмин,



Или коровий медлительный,
Влажно изогнутый глаз —
Теплою тьмою растительной
Глянул, блеснул и погас,

Или — луной припорошена,
Плавно — бела и тепла —
Из-под фуфайки наброшенной
Милой рука протекла, —

Это свечение нежности,
Радостный оклик высот,
Это движение свежести,
Этот звучащий полет

Я сохраню, если вечное
Слово оставить смогу...
Иволга,
Иволга вечером,
Иволга пела в логу!

Без границы

С деревьев перевала
На первое число
Все листья посрывало
Да в море унесло.
И мне видней, поскольку
Ничто не застит свет,
Над островом Аскольдом
Полночный ход планет.
И оттого мне любо,
Что эти дни пришли,
Что небо,
 небо,
 небо —
 от самой от земли
Взлетает,
Вырастает,
Бушует синевой,
Сияя высотойю
Над самой головой.
Была от неба ржою
Земля отделена.
Покончено с межою —
Распахана она.

* * *

Прости меня, родина горькая,
Узнай,
Обогрей,
Приюти,
Усталой осеннею зорькою
Дорогу мою освети.

О, доля твоя недопетая,
Печаль разговоров и хат,
И в чем я виновен — не ведаю,
Как будто во всем виноват.

Но верю,
Ты скажешь:
— Прощение?
Нет в мире весны до весны,
Вот так и твое возвращение
Само —
Искупленье вины.

Прочь, прошлое, рук не заламывай,
Плечей не когти, воронье.
Вот я и вернулся,
Земля моя,
Любовь моя,
Горе мое.

Скворец

И молодо-зелено в мире,
и песни свои завели
и в небо весеннее взмыли
веселье птахи земли.
Летайте и пойте по маю,
шалейте от звезд и любви!
Пой, скворушка,
я понимаю
недолгие песни твои.
Пой, пой, перелетная птаха,
живи.
До птенцов, до гнезда
не ведай ни боли, ни страха, не знай ни греха, ни стыда.





...А дальние грозы
лягают
над синим бугром небосвод...

И как это птицы летают,
и в чем только песня живет?
Я знаю —
окончиться маю,
и песню в душе берегу,
и эту весну продлеваю,
и, видно, продлить не смогу.

Дорога к морю

Издалека, из Чумаково,
Из васюганского села,
Где весело,
Где бестолково
Моя дорога пролегла.
Иду я.
Подводить итоги
Еще не наступили дни.
В миру такие есть дороги,
Что и не снились мне они.
Однако этот путь недолгий —
Начало песни и судьбы —
Касался приказанской Волги,
Дудинки,
Камня-на-Оби.
И без особенной поклажи
Я шел под солнцем и грозой,
И трансибирские пейзажи
Бурлили через горизонт.
И трепетало надо мною,
И берегло мое житье
Берез вязанье кружевное,
Дубов чугунное литье.
Вели меня вселенской ранью
Сквозь незнакомые края
Голубок утренних ворчанье
И разговоры соловья.
И я пришел в края иные,
Где из тревожной тишины
Деревья вроде бы земные
В нездешний свет устремлены.

И на каком-то косогоре
 Вдруг
 За малиновым леском
 Блеснуло утреннее море
 Ультрамариновым
 Мазком!

* * *

Земли родные!
 Туда
 Тянет большее с годами,
 Даром ли слово «страда»
 Сродственно слову «страданье».

Обыкновенна роса,
 Тын, а у тына калина.
 Что же, всегда «чудеса»
 Схожи со словом «чужбина».

За суетой камыша
 Вновь загораются зори
 Или пылает душа
 От непомерного горя?

Так ведь недаром места,
 Милые помыслам с детства,
 Ставят святое «мечта»
 С яростным «меч» по соседству.

Кто это знал,
 До конца
 Будет любить без укора
 Клен у могилы отца,
 Свет у Отчизны простора.

Утро

Еще темно,
 Еще совсем темно...
 Проснется мать,
 По дому захлопочет...
 Заголубеет раннее окно,
 Огонь в печи спросонья залопочет...

Я выйду в полушубке на крыльцо,
И вот он —
Мир весеннего восхода —
Сияющее катит колесо
Из-за лесов на кручи небосвода.

Как воздух яр!
Как широко дышать!
О, что нас остановит или свяжет?!
Откроет двери,
Улыбнется мать
И поглядит,
И ничего не скажет.

Душа полна!
О боже, как полна!
И под крылами утреннего ветра
Все выше
Поднимается волна
Родимого,
Родительского света!

Стою на синем, как слеза, ветру
С глаголом влаги,
С памятью полыни,
Я отвлеченно знаю, что умру,
Но этого не чувствую поныне...



Константин ГАПОНЕНКО

НАШИ ВЕРНУЛИСЬ!

Серый зимний день отсчитал мне 84-й год. Нелегкий груз оказался за плечами. Что в нем самое тяжелое, самое ужасное? Что является самым добрым и светлым?

Трагедией стала война, оккупация. Наше село Трушки и райцентр Белая Церковь (Киевская область) немцы заняли 16 июля 1941 г. Разрушен был прежний уклад жизни, сложившийся при советской власти, и учрежден «новый порядок». Согласно этому «порядку» немецко-фашистских оккупантов надо было снабжать молоком, маслом, мясом, курятиной, яйцами, отдавать им лучшие помещения для отдыха, убирать с полей хлеб и отправлять его в Германию. Дней через десять после прихода немцев гестаповцы арестовали отца и еще четверых односельчан. Никто из них домой не вернулся. Для нашей семьи наступили черные дни: с произволом полицаев, с холодом, голодом, вшами, чесоткой, с тяжелым простудным кашлем и постоянным страхом.

Самым радостным событием было освобождение села. Наши пришли 1 января 1944 г. Для меня это был самый большой праздник. Но глубоко осмыслить минувшее мы не сумели до сих пор.

И трагическое и светлое за десятилетия потускнело, затушеввалось, а после развала Советского Союза все смешалось, преступников начали рядить в мундиры героев, а имена освободителей предавать забвению. На Западе Сталина и Гитлера уравнивали как создателей тоталитарных режимов, а советских воинов, освободивших Европу от фашизма, объявили оккупантами.

Не лучше обстоят дела у нас дома. Вот что написала «Литературная газета» в № 47 за 2017 год: «В начале нулевых “ЛГ” накануне Дня Победы провела опрос старшеклассников. Простенький, как нам казалось. Нужно было ответить, когда началась Великая Отечественная и кто в ней победил. Результат оказался ошеломляющим. Больше половины победителями считали американцев, а верную дату называли только трое. Тогда мы решили, что, выбирая школу наобум, просто попали, что называется, пальцем в небо. Но сегодня, после скандала с выступлением российского школьника в бундестаге, случайностью ответы уже не кажутся. Сейчас эти дети окончили вузы и стали учителями, режиссерами, писателями и политиками. И теперь сами преподносят ученикам и последователям свое, альтернативное видение событий. История “наших предков, какой нам Бог ее дал”, незаметно начала превращаться в нагромождение мифов, нередко не имеющих никакой связи с действительностью».



Накануне

Знакомая, проживавшая в центре села, рассказывала:

— Немец не тот пошел, что прежде. То гоголем ходили, а теперь носы повесили, оскотинились, обовшивели. У меня беженка утюг оставила, так они накалят его угольями и гладят свое шмотье, от вшей только треск стоит, а они голяком по хате ходят — никакого стыда. По всему видно, что драпать собираются.

Чуткие люди выходят по ночам во двор и улавливают далекий гул — значит, наши приближаются.

Моя сестра Женя берет в руки районную «брехаловку». Немцы выпускают двухполосный листок под названием «Дзвін воли» («Колокол свободы»). Сестра насмешничает:

— Пишут, что фронт выравнивают и отступают лишь местами, а в других местах наступают на наших. Вранье все это. Слухи ходят, что наши Днепр уже давно перешли.

Мы тогда не знали, что Киев уже был освобожден 6 ноября 1943 г.

Дома обсуждают объявление, напечатанное в газете: «Молодая женщина желает выйти замуж за человека арийской крови и уехать из вонючей Украины в фатерланд — прекрасную Германию». Далее сообщается, что у нее светлый цвет волос, рост такой-то, объем груди такой-то, объем бедер такой-то. Смысла последних цифр я не понимаю.

Обсуждают еще одну новость: немцы вскрыли захоронение четырех своих летчиков. В июле 1941 г. они летели на восток на советском транспортном самолете. С белоцерковского аэродрома поднялись два немецких истребителя и открыли по самолету огонь, несмотря на то что из открытой двери вылетали зеленые ракеты. Самолет загорелся над нашим селом и упал в поле. Немцев захоронили почему-то возле магазина. А теперь вскрыли могилы, достали гробы и погрузили их в машину. Стало понятно: немцы убегают. Скатертью дорога!

Поздним вечером в окошко постучали.

— Кто там?

— Это я, Бардачев. Выходите скорее!

Накинув верхнюю одежду, мы опрометью кинулись во двор. Небо светилось.

— Сюда!

Сосед Бардачев повел нас за хату. Картина перед нами открылась невиданная. Такое бывало, когда из-за леса всходила огромная луна. На этот раз их было несколько. Огни находились далеко, но излучали такой сильный свет, что отблеск ложился на наши лица, вершины деревьев, соломенные крыши хат. Бардачев пояснил:

— Фастов бомбят. Узловая станция, эшелонов скопилось много. Теперь и у наших появились вот такие фонари. Завешивают их на парашютах и дают немцу прикурить.

Слышны были далекие взрывы, словно кто-то беспорядочно колотил в барабан. Мы стояли в жутком и радостном оцепенении. Холод донимал, но уходить не хотелось.

Не прошло и недели, как прямо среди серого ноябрьского дня из-за леса вынырнула стая наших самолетов и на глазах у всего честного мира закружила в неистовой карусели над немецким аэродромом возле Белой Церкви. Одни взмывали вверх, другие неслись с воем в пике, бросали бомбы и строчили из скорострельных пушек. Через огород бежала соседка и кричала, будто мы не видели:

— Смотрите, смотрите! Наши, наши!

Самолеты так же внезапно скрылись за лесом, лишь после этого твякнула немецкая зенитка, высоко вспучив ватное облачко. Соседка свернула им кукиш:
— Вот вам!

Наши!

В конце нашего огорода еще летом было вырыто подобие окопа, прикрытое жердями, хворостом и тонким слоем дерна. Поздним вечером 31 декабря 1943 г. Женя перенесла туда мешок с тряпьем и кошелку с сухарями, скомандовав всем идти в укрытие.

Наше жалкое убежище оказалось никудышным. Сбившись в кучку, мы за-таились в крошечной тьме. Время застыло. Холод донимал.

— Ничего, надышим — согреемся, — приободрила мама, закрывая вход связками кукурузных стеблей.

Но не прошло и пятнадцати минут, как мы промерзли до костей. Мама решительно поднялась:

— Идемте домой, иначе околеет. Что будет, то и будет.

На печи мы забились под старый отцовский кожух. Мама одетая сидела на лавке, поглядывая в окно. Женя то и дело выходила. Я уснул и дальнейший ход событий пропустил, но рассказы об этой ночи повторялись в нашей семье часто и запомнились накрепко.

Сестра не обманулась в своих расчетах.

Где-то в полночь Женя радостно доложила маме:

— Наши! Разведка!

А вот следующая новость, с какой она вошла в хату, вызвала тревожное удивление.

— Мама, какие-то чужие солдаты, у них на погонах львы.

До этого «брехаловка» сообщала, что все армии у Сталина разбиты и он нанимает монголов. Дома у нас едко высмеивали саму идею наемной чужеземной армии:

— Какой же дурак пойдет за деньги на такую войну?

Вскоре все выяснилось. Меня разбудил радостный рассказ соседки:

— Зашли они в хату, все рослые, красивые, веселые. Разговаривают не нашему, а я все же что-то понимаю. Спрашиваю: «Кто вы?» Они отвечают: «Чехи, чехи! Людвик Свобода». Свобода — это, выходит, они нас освободили. «А кто же из вас Людвик?» Они улыбаются: «Людвик — командир, а Свобода — фамилия у него такая».

Я кубарем слетел с печи. Хата была залита ярким утренним солнцем. Лица матери и соседки сияли. Влетела возбужденная сестра с пустой сулеей и миской.

— Давайте еще капусты! Красноармейцы прямо горстями берут.

— Скажи хоть толком, что там да как.

— Ой, некогда! Там такое! Войска идут и идут!

Конечно, я проспал все на свете. На улице, торжественно убранной искрящимся снегом, дружки, как на последнего недотепу, показывали на меня пальцем:

— Он еще ничего не видел!

Их распирало от впечатлений, и они вновь повернули к центру села. Такого ликования, какое было в тот день, люди не знали никогда. Красноармейцев обнимали, целовали, угощали самогонкой, огурцами, капустой, табаком, семечками. Пестрели теплые платки, звенел девичий смех, раздавались какие-то команды, спешили офицеры в белых полушубках, серых валенках, перепоясан-





ные ремнями. Могучие битюги — на крупе каждого можно было играть в карты — легко везли пушки с зачехленными стволами. Проехало несколько машин с будками; над будками — тонкие жестяные трубы, вьется дым, ну прямо-таки печь на колесах, как у Емели. Загрохотали танки.

На мост взошли какие-то начальники:

— Где здесь брод?

Колька Рыжий оказался ближе всех, подскочил первым:

— Вон там спуск, а вон там старому воробью по колено.

На дороге встал красноармеец с флажком, и танки начали осторожно сползать на заснеженный пустырь. Над каждой башней возвышается командир в шлеме, лицо сосредоточенное. Народ восторгается, ахает. Первый танк чуть приостановился, потом рванул с места, взломал лед, перемахнул водную преграду и, чадя сизым дымом, вылетел на противоположный берег. За мельницей танк остановился, командир вышел размять ноги. Женщины обступили его, поднесли чарку. Прозвучали смачные поцелуи. Из переднего люка высунулся чумазый водитель, и его угостили, и с ним поцеловались.

— С Новым годом!

Вдруг все уважительно расступились. Идут трое: маскхалаты на них белые, лица у них красные — уже крепенько их угостили, пацаны вокруг — роем, отовсюду восхищенные возгласы:

— Разведчики! Разведчики!

Все, что накопилось за два с половиной года оккупации, разом прорвалось восклицаниями, слезами, объятиями, несмолкаемыми разговорами. Люди не могли наговориться, такая пробудилась душевность. Какой-то командир говорит народу:

— Хребет ему сломали, теперь погоним до самого Берлина.

Захлебываясь от восторга, мы повторяем хлесткие слова, разносим их по всему селу. Грудь распирает от радости, голова идет кругом от избытка впечатлений.

Так начался день 1 января 1944 года.

Обстрел

В тот же день мы с мамой пошли проведать Домну, жившую у центральной дороги. Она рассказала об удивительном происшествии.

— Вчера, как только стемнело, заехала во двор крытая машина. Вышли три немца и говорят: «Матка, нагрей нам воды, чтобы помыться, а мы тебе сообщим хорошую новость». Я нагрела воды и подала им корыто. Помывшись, они переоделись в чистое и пришли на кухню, нарезали шпик, достали шнапс и приглашают меня. Я подала им вареной картошки и поставила бутылку самогона. Выпили они и показывают, чтобы я выпила. Я сделала глоток, закашлялась, чтобы показать, что пить больше не могу. Они мне и говорят: «Матка, утром ваши придут». А сами уставились на меня во все глаза. Я смикитила, что радоваться нельзя, могут вывести во двор и кокнуть. Они снова выпивают и требуют, чтобы и я выпила. Я сделала глоток и опять закашлялась, вытираю слезы, а они говорят: «Матка, гут, гут». Я не выдержала и тоже говорю: «Гут, гут, хорошо». Один немец засмеялся и повторил за мной: «Карашо!» Выпили они свой шнапс и мой самогон и пошли спать в другую комнату. Утром гляжу, что они не торопятся. Думаю, к чему бы это, а они оделись, вышли на дорогу и сдались нашим!

Мы с мамой пошли домой. До мельницы оставалось шагов сто, когда в широкий пруд, покрытый льдом, ударил снаряд. Взлетели мелкие куски льда, свер-

кая от солнечных лучей. Мы ускорили шаг. Второй снаряд лег правее, ближе к нам. Куски льда засверкали ярче. Мы бросились бежать и уже заворачивали в свой переулочек, когда снаряд разорвался сзади нас, попав в старое русло реки. Мама схватила меня за руку и потащила на бугор, где стоял погреб соседки Устиньи. Каменный погреб был пуст. Мы соскочили вниз. Там было тихо и холодно. Долго просидеть мы не смогли и кинулись бежать домой. Слышно было, как несколько снарядов разорвалось далеко справа. Через какое-то время обстрел прекратился. Никакого вреда селу он не принес, единственной жертвой стал старший лейтенант, ехавший на коне. Снаряд разорвался с ним рядом. Убит был и конь, и офицер. В тот же день его хоронили внутри церковной ограды. Военные в белых полшубках произнесли речи. Гроб опустили, засыпали землей. Команда солдат произвела салют, в лад с ними офицеры палили из пистолетов. На могиле установили деревянный памятник с краткой надписью.

После захоронения священник сотворил молитву, а потом произнес проповедь о даровании победы доблестной Красной армии и великому вождю советского народа Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сметливые люди заметили, что всего неделю тому назад тот же батюшка молился за победу войск великой Германии и за здоровье Адольфа Гитлера. Им возражали: батюшка тоже хочет жить, если бы он при немцах произнес молитву за Красную армию, его бы вздернули на колокольне да и нас бы по головке не погладили, полсела бы спалили. Так что батюшка все правильно сделал, он хороший, не курит, не пьянствует, не то что был в сорок первом рыжий поп. Тот курил табак, часто опивался самогонкой, до молодок был охоч. Анька Заречная уже полтора года тетешит рыжего попенка.

Ночной дозор

День закончился большой тревогой. Из соседнего переулка к маме пришла ее давняя подруга и выпалила:

— Наши отступают!

Все село гудит. Люди готовятся к отступлению, потому что если немец вернется — будет лютовать неистово. Никанор, что живет у леса, поясняет: если бы наши войска шли туда — то это наступление, а если они идут вот туда — то это отступление. Несколько раз выходили на улицу, где-то слышался шум. На севере, где находилась Белая Церковь, временами громыхало, вспыхивало зарево. На душе становилось тревожно. Решено было идти в разведку. Я увязался за мамой. Наш переулочек был пустынный. Снег скрипел под ногами. Возле дома Устиньи топтался человек, он и закричал нам: «Стойте, кто идет?» Мы остановились. К нам подошел военный с автоматом на груди и строго спросил:

— Кто такие?

Мама ответила:

— Я вот тут через две хаты живу.

— Куда следуете?

— Идем разведать, будто наши отступают, тогда и мы с вами.

— Шагом марш к командиру, — сказал автоматчик и показал на крыльцо Устиньиной хаты.

В комнате, куда мы вошли, за столом сидел военный в накинутах на плечи полшубке и читал какие-то бумаги. Автоматчик доложил:

— Вот, задержаны. Отступать собираются. Разрешите идти?

Автоматчик вышел. Майор встал и подошел к нам.

— Кто такие? Куда идете?



Мама начала было пояснять, повторяя доводы соседки, но майор перебил ее:
— А вы знаете, что бывает за распространение ложных слухов? Ведь вы сеете панику!

Мама ответила:

— Товарищ командир, мы не панику сеем, мы боимся одного: оказаться опять под немцем, если будет отступление. Натерпелись мы досыта.

Майор смягчился:

— Никакого отступления, гражданочка, больше не будет. Теперь Красная армия движется только вперед, на запад, и к концу года мы будем в Берлине.

— Дай-то бог, — ответила мама.

— Даст бог или не даст, но мы логово зверя возьмем штурмом. Вот так и передайте всем и не мутите воду.

Майор остановился возле меня:

— А ты, казак, куда?

Я не знал, что ответить, и посмотрел на маму. Та сказала:

— Это мой самый младший.

Майор повернулся к солдату, сидевшему на кровати:

— Поддай сумку! — Он достал из сумки кусок рафинаду, завернул его в чистый лист бумаги и подал мне. — Щипчики дома есть?

— Есть, — ответила мама.

— А ртов много?

— Много.

— Идите домой и ложитесь спать.

Мама поблагодарила майора, и мы вышли в морозную ночь.

Дома у нас были щипчики, чтобы колоть рафинад. Мама расколола грудку рафинада на дольки и спрятала их до утра.

Бьет артиллерия

В эти дни никому не сиделось дома. Ребята постарше что-то разузнали. На пустыре за селом перед дубовым лесом выстраиваются пушки. Когда мы прибежали туда, то перед нами открылась невиданная картина: пушки, направив стволы на север, выстроились как на параде. Мы хотели подойти ближе, но военный с флажком прикрикнул: «Ребята, шагом марш отсюда! Тут будет жарко». Мы ушли за бугор и оттуда выглядывали. Подъезжали машины, разгружали ящики со снарядами, у орудий суетились солдаты. Военный с флажком пробежал вдоль батареи и остановился, высоко подняв флажок. Все замерло. Он резко махнул флажком вниз, грохнул залп, орудия подпрыгнули, лягнули замки, гильзы со звоном упали на землю. Военный снова поднял флажок. Ребята говорили, что бьют по Белой Церкви. Артиллерийская канонада длилась, наверное, с полчасца. Гильзы звенели все звонче. Мы восхищались работой артиллеристов. С той поры я запомнил это слово и даже узнал, как оно пишется. Подошли тягачи, и орудия стали куда-то увозить. Ответа со стороны врага не было.

Через много лет я побывал в Белой Церкви на той окраине, где когда-то немцы держали оборону. Там был выстроен из белого кирпича целый квартал. Одна из улиц называлась улицей Январского Прорыва. Во время штурма погибли наши красноармейцы, офицеры и солдаты чехословацкого корпуса. Их похоронили рядом. В прежние времена в начале января и 9 мая приезжали сюда гости из Чехословакии, возлагали цветы на могилы и говорили о вечной дружбе наших народов.

Шинель

У нас во дворе валялось несколько толстых дубовых бревен. Завезли их наши пленные летом сорок третьего, когда немцы принялись строить оборонительный вал. Пленные работали без конвоя, и иногда подводы с дороги заворачивали туда, где имелся жгучий первач. А его хватало в каждой хате. Немцы самогонварение поощряли: пусть русские свиньи хлещут, легче управлять.

Податливую сосну и дубовый тонкомер мы с братом распилили, остальное оказалось не по силам. Дуб высох, был тверд как железо, тупая пила застревала в нем — хоть плачь! Печь топили соломой, бурьяном, хворостом, стеблями кукурузы и подсолнуха. Греться на печку залезали все, кто остался от нашей большой семьи.

Дня через два или три после освобождения остановились у нас два солдата и сержант. Почистили они оружие, покурили, принесли воды из колодца. Сержант спросил:

— Что у вас за бревна во дворе? Делать нам пока нечего, распилим, если пила найдется, а то мы порядком соскучились по работе.

Странно, подумал я, разве по работе можно скучать? Я был рад-радешенек, если удавалось увильнуть от этой проклятой пилки дров, а летом рвануть от огорода на речку.

Осмотрев пилу, сержант спросил напильник. Напильник был, но без ручки. Сержант сначала приделал ручку, потом принялся за пилу. Точил он не спеша, движения его были плавные, лицо сосредоточенное. Только часа через полтора зубья нашей пилы-мучительницы заблестели.

— Ага, — сказал брат, — такой пилой и мы бы перепилили. Вы бы вот той попробовали!

— Зачем той, если лучше этой? Инструмент хорош, когда он наточен... Коля, придержи нам.

Мама сразу заметила, что этот Коля какой-то грустный, на расспросы отвечает односложно, как-то виновато покашливает. Сержант объяснил:

— Слаб еще, прибыл к нам после второго ранения.

Коля и мы с братом уселись на бревне, чтобы оно не качалось, а сержант с другим солдатом пилили. Пила у них не вибрировала, не дергалась, не застревала, а сама ходила, обильно роняя рыжие опилки. Первая чурка оказалась гладенькой, хоть пляши на ней. Коля спросил топор. Сержант остановил его:

— Мы тут сами управимся, а ты бери парнишку и иди за обедом.

Пошли мы с Колей за обедом на колхозный двор, где среди тягачей и пушек с зачехленными стволами дымила походная кухня. Повар приветствовал солдата:

— Никак племянника нашел? Хорошо, кинем на него черпак.

У моих дружков, увидевших, как мы шагаем с котелками в руках, лица вытянулись.

К нашему возвращению бревна уже были распилены, сержант, распахнув бушлат, ловко орудовал топором, растущая горка поленьев радовала глаз.

В тот день обед удался на славу. Мама достала квашеной капусты, поставила миску с горячей картошкой.

— Спасибо вам, хлопцы, за работу. А можно вам по чарке?

— Можно. Мы, мамаша, накинемся на вашу капусту, а вы наших харчей отведайте.

Открыли крышки с котелков — и хата наполнилась таким вкусным запахом, что голова закружилась. Сельский этикет требовал поначалу отказываться от





угощения, делать вид, будто мы сыты, гордость иметь. Только какая тут гордость, если тебя всего переворачивает от этого запаха!

Мама была лучшей поварихой на все село, но такого супа я, кажется, в жизни не едал. И хлеб был мягок, вкусен, с кислинкой. Последние два года мы давились тем, что можно было испечь из смеси отрубей, ржаной, ячменной и кукурузной муки. Да и того недоставало.

— Дзэбэ даць? — спросил с улыбкой сержант, когда мы с братом заскребли ложками по дну своей чашки.

Я не понял и посмотрел на маму. Она остановила:

— Куда ему добавки? Еще разорвет ночью.

Место для каши все же нашлось. Она была с мясом и пахла лавровым листом. Я почувствовал приятное наполнение в своем хилом теле и полез на печь.

Короток солдатский отдых. На второй день красноармейцы стали собираться. А сборы всего-то: шинель подпоясал — и готов. Однако на Николае оказался только зеленый бушлат.

— Где же твоя шинель? — спросила мама.

— В госпитале украли.

— Куда же там здоровые смотрели, если у раненого украли? Что за порядки там такие?

Николай смутился:

— Может, сам прозевал. Ничего, обойдусь.

— Нет, погоди! — велела мама. Она полезла на чердак, достала узел, покрытый толстым слоем пыли, подала сержанту: — Выколоти хорошенько.

Когда узел развязали, там оказалась новехонья шинель.

— Прятала, как будто знала, что пригодится. Надевай!

Шинель эту мама выменяла летом сорок первого на два десятка яиц. Заехала в наш проулок немецкая крытая машина, доверху набитая нашими шинелями. Ясно, разграбили где-то склад да наше же добро давай нам продавать за курки-яйки. В трудные годы оккупации не раз возникал соблазн обменять шинель на пропитание: за нее могли дать пуда два ржи или проса. Мама не соглашалась: «Перетерпим».

Теперь шинель ладно облегла фигуру неокрепшего солдата.

— Гляди-ка, прямо на тебя сшита. Носи на здоровье!

Николай стал отнекиваться, мол, неудобно такой подарок принять, когда все в доме раздеты и разуты.

— Мне нечем вас отблагодарить.

— Освободили нас — вот и вся благодарность. Минуй вас, хлопцы, всякая пуля. Пусть вас дождутся ваши матери.

Военврач

7 ноября 1943 г. в одном из тихих закоулков нашего села пьянствовали — справляли 26-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Взрослые пили за столом, а детвора, в их числе был и мой шестилетний племянник Виталий, крутилась возле печи и тоже выпивала.

Виталика принесли домой в полном беспамьятстве. Он страдал рвотой несколько дней, никакую пищу принимать не мог и перестал подниматься с кровати. Мама и Женья принимали какие-то меры. По совету знахарок заваривали травы, пытались ими поить больного, но ничего не помогало. Он стал таять с каждым днем. В конце концов он исхудал до такой степени, что, казалось, виден был насквозь — кожа, кости и большие глаза.

После прихода наших, когда стали подтягиваться тылы, вошел к нам майор (мы уже легко различали все звания), стал осматривать хату, возможно, захотел на постой. Увидев Виталика, он нахмурился:

- Это что такое, мамаша?
- Внук помирает.
- И вы так спокойно говорите об этом?

Мама сердито ответила:

— Ты меня не кори. Не знаешь, какого мы лиха хлебнули. Врача нет, помер еще в сорок втором, лекарств нет. Что я, неграмотная баба, сделаю?

Майор помотал головой и ушел. Женя упрекнула:

- Зачем вы так грубо?

Через час майор вернулся, да не один. С ним пришла женщина, одетая, как и ее спутник, в полушубок, с пистолетом на ремне. На погонах у нее рядом с четвертой звездочкой зеленела чашечка со змейкой.

Мама перед майором всплеснула руками:

— Уж вы простите меня за грубость.
 — Ничего! Начали с ругани — крепче дружить будем. Вот военврач в ваше распоряжение.

Женщина не спеша сняла полушубок, подпоясала ремнем гимнастерку, расправила складки, улыбнулась матери и сестре, с интересом, склонив голову,глянула на наши физиономии:

- Вот у вас какие бойцы-молодцы!

Мы сконфузились. Какие уж тут молодцы — большеголовые, стриженные, замурзанные, с тонкими шеями.

Подойдя к печи, женщина стала греть руки.

- Ну, так что у вас случилось?

Пока мама во всех подробностях излагала историю болезни, губы военврача то сжимались, то расплывались в улыбке, брови то взлетали, то хмурились. Коснувшись ладонями своих румяных щек, она сказала:

- Пойдемте посмотреть больного.

В комнате, где лежал Виталий, мать, сестра и докторша пробыли минут пятнадцать и вышли, окутанные запахом лекарства.

- Приготовьте куриного бульону, а я после обеда подойду.

- Где ж теперь курицу достать? Когда-то у меня был их полон двор...

- Уж где-нибудь достаньте.

К ее приходу в нашей хате посветлело. Мама побелила припечек, застелила земляной пол свежей соломой. На столе стоял начищенный самовар — самое сокровенное мамино богатство. Давно уже не было ни заварного чая, ни сахара, но мама изредка устраивала себе чаепитие: ставила самовар, заваривала сушеные лепестки розы или вишневого листа и выпивала с черным сухарем две-три кружки. Сейчас она, поколдовав над смесью, заварила какой-то букет. Курица, доставленная откуда-то Женей, была разделана, большую часть ее убрали в кладовку, а в маленьком чугушке сварили лишь кусочек. Бульон был слит в отдельную посудину и остывал, а мы облизывались, гадая, как этот кусочек поделят между нами.

И вот вновь пришла докторша, румяная, улыбчивая. Больше всего ее удивил самовар.

- Как у вас хорошо!

Теперь они с Виталием возились долго, видно, поили с ложечки. Рукомойника не было — госте полили на руки из кружки. Мыло она достала свое:

- Это пусть вам останется.

Мама посадила докторшу на почетное место, где до войны сиживал отец.



Примостившись на лежанке, я внимательно рассматривал ее. Есть неведомая тайна, какая-то притягательная сила в миловидном женском лице. Я чутко реагировал на каждую перемену в нем, и екнуло мое сердчишко, когда она призналась:

— Страшно на войне, да только думать об этом некогда. И раненых много, и обмороженных хватает.

Если нам страшно, думал я, то мы бежим, прячемся, плачем, а ведь ей нельзя ни бежать, ни плакать. И мне стало жалко ее.

Мама налила ей кружку чаю, подала на единственном блюдечке, извинившись за скудность угощения.

— А мы это дело поправим, — сказала военврач, доставая из полевой сумки что-то завернутое в коричневую бумагу.

Мы разинули рты. Она извлекла три больших куса рафинаду.

— Ой, что вы! — смутилась мама. — Грех вас обирать. Мы уж тут как-нибудь обойдемся, а вы на войне.

— Больному дадите, да и соколятам вашим не мешало бы по кусочку попробовать.

Нас привело в совершенное недоумение, что совсем чужая женщина, врач, капитан, обратила на нас внимание. Мы у всех путались под ногами, мешали заниматься делами, были только ртами, истребителями одежды и обуви.

Она делилась своими переживаниями:

— Ваше село не пострадало. А сколько мы видели разрушений! Люди в землянках ютятся, бедность ужасная, дети больные.

На распросы о семье ответила:

— Дочку у мамы оставила, скучаю по ней. Вернусь с войны — наверное, не узнаю.

Проводив гостью, мама весь остаток дня восторгалась:

— Вот это женщина! Есть же на свете такие хорошие люди! Кто мы ей, а пришла, проявила заботу.

Дня четыре, пока часть стояла в селе, военврач приходила к нам, осматривала Виталия, а нам каждый раз приносила какой-нибудь гостинец. Маму она растрогала до слез, подарив пачку чаю. Как-то положила на стол буханку хлеба, а в другой раз подала сверкающую банку американской тушенки. На кашу мама употребила только десятую часть банки, а все равно мы уплетали пшенку так, что за ушами трещало.

На прощание военврач подробно рассказала, как дальше проводить лечение, и завершила:

— Ваш внук скоро встанет. Самое худшее миновало.

Мама поклонилась ей:

— Не знаю, есть Бог или нет, но буду век молиться за вас. Оставьте ваш адрес.

Помахала она нам рукой, поцеловала маму и ушла. Долго шел о ней разговор в тот день, вспоминали ее и впоследствии.

Не прошло и недели, как случилось чудо. Сидим мы, лузгаем семечки — выходит Виталий из комнаты! Своим ходом, только за стенку держится, пыхтит, рукой машет:

— Не подходите, я сам!

И потекла жизнь — трудная, голодная, но уже с великими надеждами на будущее.

В то бурное время часто возникали разговоры об особом предназначении женщины в самые драматичные моменты истории. Конечно, говорили взрослые, бить и гнать врага должны мужчины, вооруженные боевой техникой, об-

ученные военному делу. А вот обогреть бойца, избавить от вшей, выходить раненого и больного, внушить ему добрые чувства, мудрую и ясную мысль может только женщина. Годы стерли из памяти имя военврача, хотя дома долго хранилась бумажка с коротким адресом: полевая почта номер такой-то, фамилия, имя и отчество получателя. Мальчик тот, Виталий, стал высоким и стройным мужчиной, заимел детей, обзавелся внуками. Мама говаривала: «Вот посмотрела бы на тебя та докторша!» Виталий пытался найти ее, несколько раз посылал запросы. То ли письма были адресованы не туда, то ли военврач поменяла фамилию, а может, случилось самое печальное и ей не суждено было увидеть дочь, по которой она тосковала, — никакого ответа он не получил. А светлый лик ее живет в нас, память о ней мы завещаем хранить нашим потомкам.

Суд

В ноябре маму вызвали в Белую Церковь. Следователь, разбиравший трофейные архивы, сообщил, что сохранились списки расстрелянных, в которых имеется фамилия нашего отца. Он был расстрелян в начале октября 1941 г. вместе со многими другими арестантами. Гибель отца — наша незаживающая рана, мы до сих пор не можем понять, почему он не внял настойчивым просьбам мамы. Она требовала, умоляла: «Отступай вместе со всеми. Тебе не простят ни революцию, ни колхозы». Он отмахивался: «Я никому не сделал зла, и бояться мне нечего». Как он сам мог так грубо ошибиться в своих предположениях? Отец по возрасту не подлежал мобилизации, но он был здоров, имел огромный опыт хозяйственной работы и принес бы в тылу большую пользу любому колхозу.

— А вы знаете, кто его выдал? — спросил следователь.

Мама дала отрицательный ответ.

— А знаком ли вам человек по имени Григорий, инвалид?

Мама ответила, что знает его хорошо. До войны он, будучи пьяным, попал под поезд и потерял левую ногу и левую руку. Врачи спасли ему жизнь, как-то приспособили костыль, и он кое-как мог передвигаться. У него была куча детей, и колхоз ему выделил одноконку. Григорий ездил по ярмаркам, скупал поросят и развозил их по селу, тем и жил.

Следователь сказал:

— С приходом немцев Григорий стал сотрудничать с гестапо, за что ему разрешали собирать барахло в еврейских квартирах. Он и преподнес оккупантам списочек из пятерых односельчан, в числе которых был и ваш муж. За каждого из пятерых арестованных он получил по 25 марок.

Мама тяжело вздохнула:

— А сколько отец помогал Григорию...

Следователь записал все, что мама рассказала о Григории, а через какое-то время ее вызвали в суд в качестве свидетеля.

Дома она десятки раз рассказывала о том, что видела на судебном заседании. Мама пришла в Белую Церковь за час до заседания, отметилась. Всех свидетелей пригласили в отдельную комнату. Сидят они, общаются между собой, по вызову секретаря входят в зал. И вот вызывают маму: «Свидетельница Гапоненко!» Мама заходит, ей дают подписать судебную присягу. Затем судья показывает на Григория, сидящего на скамье подсудимых:

— Знаете ли вы этого человека?

Мама коротко отвечает: знаю.

— На предварительном следствии вы показали, — продолжает судья, — как вел себя этот человек во время оккупации.

Мама рассказывает, что жил он хорошо, содержал маслобойку, торговал награбленным барахлом, часто пьянствовал с полициями и старостой.

— Однажды в июле 1942 г. мы, четыре женщины, сидели на завалинке у Нюры. А напротив во дворе сельуправы несколько человек выпивали и куражились, в их числе был и Григорий. Особенно отличался полицай Мишка. Татьяна, сидевшая с нами, спросила: «Мишка, а что ты запоешь, когда наши придут?» — «А ваши придут, — отвечал ей Мишка, — ваши придут, когда у меня на ладони волос вырастет или отсюда солнце взойдет». Он снял штаны и показал нам голый зад. Татьяна назвала его дураком, он пригрозил ей всыпать шомполов, но та ответила: «А я с доносом пойду к Риману и скажу, как ты ворует масло, собранное для немцев. А там видно будет, по чьей спине шомпола станут гулять». Риман — из обрусевших немцев — отвечал перед немецким командованием за поставки продовольствия по Белоцерковскому району. В это время Григорий обратился к старосте: «Мирон Иванович, дай мне пять марок, я тебе Сталина за возом приведу».

Судья обратился к подсудимому:

— Это правда?

— Правда. Так я же пьяный был.

— А вы как хотели привести к старосте... Портрет, что ли, товарища Сталина?

— Да нет, я обещал живого.

В этот момент с заднего ряда вскочил капитан и бросился к подсудимому, на ходу расстегивая кобуру. Конвой кинулся ему наперерез. Капитан гневно кричал: «Пустите меня, я его, подлеца, застрелю!» Капитана с трудом успокоили и попросили покинуть зал. Допрос продолжался еще некоторое время, после чего маме предложили остаться в зале суда или уйти. Она ушла домой.

Школа

Школу в нашем селе построили в двадцатых годах. Расположена она была на окраине села. Перед ней был просторный выгон, где до войны несколько раз в году развевывалась ярмарка. К школе с востока подступал небольшой дубовый лес, которому было лет пятьдесят и в котором до войны располагались летние военные лагеря. За лесом простиралось на несколько километров стрельбище, изрытое окопами. Школу облюбовали себе немецкие летчики под дом отдыха. С аэродрома их привозили на машинах. Как они там отдыхали — никто не знал, поскольку сельские жители к зданию не подходили даже близко.

Для нас школа открылась во второй половине января. Учащихся набралось великое множество. В первый класс пришли сразу три возраста. За парты, которые сумели сохранить в сарае, садились по три, по четыре человека. Мы пришли с пустыми руками, никаких книжек и учебных принадлежностей не было. Если учительница читала что-то или рассказывала, было интересно, а вот на уроках письма было нудно. Учительница, разлиновав доску, учила нас писать: куском желто-белого мела она выводила элементы букв, а затем вызывала нас по очереди, чтобы мы повторили за ней. Получалось плохо, усваивали мы грамоту очень трудно, и 15 мая, когда закончился учебный год, лишь нескольких перевели во второй класс, а все остальные с 1 сентября 1944 г. пошли в первый заново.

Еще шла война, учебников и тетрадей не хватало. Скучная была и школьная библиотека, ее собирали с миру по книжке. Чернила делали из столовой свеклы, из бузины. Перья, которые с трудом удавалось купить на городском базаре, привязывали нитками или тонкой проволокой к палочкам, которые мастерили мы сами.

Но свой первый учебный год я не закончил. В конце марта, когда я сидел на печи с книжкой, мама вернулась с работы с двумя мужчинами. Один из них был Василий Смолин, человек из нашего переулка, второго я не знал. Мама сказала:

— Сынок, слезай, к тебе люди пришли.

Я был крайне изумлен таким вниманием.

Незнакомцу мама подала табурет, Василий сел на лавку. Мама представила незнакомца, назвав его имя и отчество:

— Это заведующий животноводческой фермой.

Гость улыбнулся и сказал:

— Пришла пора выгонять скот на пастбище. В пастухи мы приглашаем Василия, а он нам поставил условие: если пойдет Костя подпаском, то я буду пастухом, а ни с каким другим пацаном я не пойду.

Я попытался было возразить, что мне еще четвертую четверть ходить в школу надо. Все трое взрослых ответили: тебя Фрося Ивановна и так переведет.

— Ну так как? — спросил заведующий фермой.

Я уставился на маму. Она сказала:

— Сынок, люди просят, надо уважить. Ты же понимаешь, идет война.

Разумеется, я согласился.

С 1 апреля по 30 августа я вставал до восхода солнца и наскоро завтракал тем, что мама смогла приготовить. Василий стучал в окно, и мы шли на ферму. Возвращался я в сумерках, ужинал и падал замертво спать. За пять месяцев у меня не было ни одного выходного, я не прочитал ни одной печатной строки. Я и думать не смел, начислили мне что-нибудь за мои труды, полагалось ли, чтобы хоть кто-то мне сказал спасибо: тогда все работали не требуя оплаты.

Уже в пожилом возрасте я размышлял над своими детскими и отроческими годами. Мне удалось окончить среднюю школу, получить диплом учителя, я много занимался самообразованием, но никогда не наверстал того, что можно было усвоить в золотые годы детства. Я, как и миллионы моих сверстников, находившихся в оккупации, не получил того, что формируется в первые годы ученичества. Сказки Пушкина надо читать в десятилетнем возрасте. И в сорок лет сказка Пушкина останется все той же вершиной человеческого духа, но взрослый человек не испытывает при чтении того восторга, которое испытывает ребенок.

Еще хуже пришлось тем, кто был взрослее нас. После третьего, четвертого класса они пошли на работу, потом для юношей наступала армейская служба, возвращались они уже взрослыми, становились семейными, на этом их образование и заканчивалось.

Когда ученые подводят итоги Великой Отечественной войны, они делают упор на людские и материальные потери, но мало говорят о том, какие потери мы понесли из-за того, что целые поколения шагнули во взрослую жизнь неучами.

Удивительно: чем дальше уходят те годы, тем ярче высвечиваются картины, описанные выше. Но с особой настойчивостью вспоминается атмосфера праздника 1 января 1944-го, осознание того, что сброшено ярмо оккупационной мерзости, что уже не нужно бояться чужеземных палачей. В глухой ночи я усталым сердцем ощущаю ту непередаваемую радость, которая охватила тогда нас всех. Я вижу светлые лица своих ровесников, яркие улыбки девушек, я слышу речи солдат и их командиров. В этой гуще всплескивает руками пожилая женщина: «Может, получу письмо от своего Степана!»

...В школьном дворе однорукий военрук муштрует наши ребячьи отряды. Какой-то малец путается под ногами. Военрук зачитывает очередное победное сообщение с фронта, затем он хватает единственной рукой мальчика, поднимает его над головой и кричит: «Наша берет! Ура!» Мы подхватываем этот возглас с полной уверенностью, что скоро придет долгожданная победа.

Сергей КУНЯЕВ

РУССКИЙ БЕРКУТ

Главы из книги

*Посвящается светлой памяти
Вадима Валериановича Кожина*

*А первым был поэт Васильев Пашка,
златоволосый хищник ножевой —
не маргариткой вышита рубашка,
а крестиком — почти за упокой.*

Ярослав Смеяков

Книга Сергея Куняева «Русский беркут» вышла в 2001 г. в издательстве «Наш современник». Но автор продолжал работу над биографией Павла Васильева. За прошедшие годы удалось разыскать новые материалы, полнее осмыслить явления общественно-литературной жизни 1930-х. Скоро выйдет в свет новое издание книги, главы из него мы предлагаем сегодня вниманию наших читателей.

Город ястребиный

— Пришел с посошком и с узелком в Литфонд за пособием. Спрашиваю, где бы получить. И тут... — в глазах Сергея Маркова мелькает искра, — Безымянский подъезжает, антихрист, с блудницами, масонами. И все забрал.

Да, именно так он и рассказывал.

— А сзади, — говорит, — Мейерхольд верхом на блуднице...

Так у него сны и явь перемешивались, он на ходу сочинял новеллы, рассказывал лишь то, что считал нужным. Очень боялся, как бы не узнали его подлинную биографию.

Я сижу жарким летним днем 1977 г. в квартире Сергея Николаевича Маркова и расспрашиваю его о Николае Клюеве, с которым писатель встречался в начале 30-х гг.

— Много что он рассказывал о себе, но где правда, где нет — поди узнай. Рассказывал о своем путешествии в Туркестан, о хождении в Кульджу, что в Западном Китае. «Аж до Тибета доходил...» А спросишь его о чем-нибудь подробнее — так отговаривается: «Жизнь — тропа Батыева. Помирать буду — расскажу».

— Он действительно был таким противником советской власти, как о нем писали?

— Да прямых политических выступлений у него и не было никогда. Разве что с сожалением вспоминал о царском дворе. Но как вспоминал! С лютой завистью к Распутину. «Гришка Распутин мне дорогу перешел...» И не один раз это повторял. А в другой раз — о том, как его вызвали в ГПУ, это в период процесса над Промпартией. «Ваше отношение

к Рамзину?» — спрашивают. А он: «Рамазинов? Помню. У нас в деревне железом торговал». Так и ломался. «Как что случится — я к Анатолию Васильевичу». К Луначарскому то есть. «В профсоюз вступать надо было. А у меня билета нет. Пошел к Анатолию Васильевичу, и написал он мне удостоверение: “Сторож источников народного творчества”».

— Вы в Ленинграде с ним встречались?

— Сначала в Ленинграде, потом в Москве. В Ленинграде он жил в подвальном помещении дворца, где убили Распутина. В Москве тоже в полуподвале.

— А какое впечатление он производил как человек?

— Как человек? Гениальный актер. Приходишь к нему, а он сидит, варежку вяжет, рассказывает одну историю за другой. Достая бутылку водки, хочу угостить, наливаю. Он руками машет, крестится. «Ты что, котинька, дух...» Потом глаза сверкнут, хитро подмигнет: «А жидам не скажешь?» И опрокинет рюмку.

Марков немного наклоняется вперед, чуть прикрывает веки, словно дорисовывает в своей памяти портрет, размытый волной времени.

— Но более образованного человека я в те годы не встречал. Своим он был в кругах востоковедов. Историю монгольского ига знал как никто. Я не говорю уже о древнерусской литературе и иконописи. Когда наизусть читал Аввакума — рыдал горячими слезами. При мне же читал в подлиннике Верлена и играл на рояле Грига... Не забыть, как исполнял свои стихи. Сидит на деревянной лавке под образами и читает «Заозерье»... Сам в кафтане, в смазных сапогах, слушатели поначалу недоуменно переглядываются при виде маскарада. А он как затянет:

**Отец Алексей из Заозерья —
Берестяный светлый поп,
Бородка — прожельть тетерья,
Волосы — житный сноп.**

Читает до конца и тут же переходит к «Деревне». «Видно, к хлебушку с новым раем посощку пути нележки...» Слушатели уже сидят как прикованные, сил ни у кого не остается. А он под конец — свою пророческую «Погорельщину». Крик пророка. Крик о Христе. И все доходят до кликушества... Ох, как он умел это делать! И ничего не боялся.

— Кто из литераторов был близок к нему?

— Вертелись вокруг многие... Был такой Рюрик Ивнев, выпускник кадетского корпуса, бывший жокей, выплывший в литературу. Я его выдворил, когда он появился у меня в Новосибирске. Кто еще? У него целая свита была, с которой он в Дом Герцена ходил. В ней выделялся Пимен Карпов, талантливейший человек, бывший тогда в полном ничтожестве. Из прежних друзей он часто вспоминал Есенина («Сережа с Дунькой спутался!»), Алексея Ганина, с которым познакомился в Вологде. А из близких... Самыми близкими ему тогда были Иванов-Разумник и Клычков. Дружил он и с Михаилом Герасимовым, бывшим «кузнецом». Хорошо с ним был знаком Тихонов, встречал я возле него и Кривича, сына Анненского. К Алексею Толстому он относился крайне иронично, матерно ругал Сологуба. Дружески отзывался об Асееве и люто ненавидел Маяковского.

Снова небольшая пауза. Сергей Николаевич словно что-то припоминал или подумывал, о чем можно сказать, а о чем — не стоит.

— У Асеева был картежный салон, где частенько встречались друзья-писатели. Кстати, частым гостем там был Крученых, с которым Клюев тоже дружил. В общем, вертелись вокруг всякие... Близок он был и к Васильеву — этой аморальной личности.

— К Павлу Васильеву?

— Да, к Павлу. Этот выдавал себя за казака, что Клюеву очень импонировало.

Тон Маркова переменялся, стал резковатым и холодным. Не то чтобы он

жалел о сказанном, но явно не хотел продолжать разговор. Жесткость отзыва о Васильеве меня удивила, хотелось поговорить о нем побольше, узнать, что Марков имел в виду под словами «аморальная личность», но ясно было, что разговор этот хозяину дома неприятен и больше он все равно ничего не скажет. А я не желал быть назойливым, о чем позже не раз пожалел.

Мы расстались, и больше мне не довелось общаться с замечательным поэтом, которого я полюбил с первого прочитанного мною стихотворения, уникальным прозаиком, собирателем и хранителем исторических загадок. Загадки собственной биографии он раскрывать не торопился... Многое, что осталось за пределами этого разговора, стало ясно мне годы и годы спустя.

* * *

Те, кто от корки до корки прочитывал альманах «День поэзии», ежегодно выходящий в «Советском писателе», вряд ли забыли очерк Сергея Маркова «Омская сага», напечатанный в выпуске за 1969 г.

Стоит привести из этого очерка солидную цитату — она познакомит читателя с одним из героев нашего повествования.

В годы «бедной юности моей» меня, как и многих других молодых писателей, неожиданно обласкал и приблизил к себе не кто иной, как знаменитый Антон Сорокин... — «король писателей Сибири», кандидат на премию Нобеля, корреспондент властителя Сиамы и прочая, и прочая, и прочая.

...Антон Сорокин имел огромное влияние на писателей Сибири. Этого влияния не избежал и будущий поэт Евгений Забелин, который, кстати сказать, и Забелиным-то не сразу стал, а принял эту фамилию по совету Антона Семеновича.

...Я провел несколько дней «при дворе» писательского короля в его стольном

городе Омске и за это время наслушался столько удивительных историй, что их, наверное, хватило бы на целую книгу.

— Как вы открыли Забелина? — спросил я однажды Антона Семеновича.

— На омском кладбище. Дело маленькое! — прибавил Антон Сорокин свою любимую поговорку.

С явным наслаждением он неторопливо рассказал мне, что гуляя по кладбищу, увидел стихотворные эпитафии, помещенные на могильных крестах и плитах. Они просто хорошо были написаны! Расспросив кладбищенских сторожей и могильщиков, неутомимый Антон Сорокин узнал, что сочинением эпитафий занимается юный Леонид Савкин, сын протоиерея. Протопоп служил, кажется, в том самом соборе, где хранилось знамя Ермака, похищенное атаманом Анненковым во время ночного налета на старинный храм.

Антон Семенович отыскал сочинителя надгробных надписей и стал терпеливо выяснять, пишет ли он что-нибудь в другом жанре. Юный Савкин показал «королю писателей» толстую тетрадь с лирическими стихами.

— Гениально! — изрек Антон Семенович. — Но только вот... — и он погрузился в раздумье...

В результате этого «раздумья» Сорокин пришел к выводу, что носить «плебейскую фамилию» наподобие капитана Лебядкина молодому поэту не пристало. Нужно что-нибудь «звучное, историческое». Сорокин выбрал фамилию известного историка Забелина. Этим дело не ограничилось. Предстояло еще поменять имя.

В конце концов собеседники поладили на «Евгений» по той причине, что среди омских поэтов один Леонид уже есть: Сорокин имел в виду Леонида Мартынова...

...От кладбищенской почвы Антон Сорокин молодого поэта оторвал, но вот главного для него долго не мог сделать. Над Забелиным тяготело проклятье его происхождения; он мучился от мысли

о том, что не сможет получить образования и вообще занять место в жизни. Поэтому-то он и жил как во сне, зачастую вздрагивал, громко откликаясь на обращения к нему.

К новому имени и звучному псевдониму он постепенно привык, так сказать, разносил их, как тесную и непривычную обувь, получив известное облегчение.

И далее Марков пишет яркую сцену преобразования новоиспеченного Евгения Забелина:

...Совершилось то, что в несколько мгновений перевернуло всю судьбу Забелина. И виновником этого был неистовый выдумщик Антон Сорокин.

Однажды он узнал, что в Омск должен приехать один из известных деятелей культуры. Назовем его Богуславским.

Антон Семенович взвыграл! Приглаживая свои китайские усы, он долго похаживал возле высокого радужного сундука, который иногда заменял письменный стол, и делал какие-то заметки на листке бумаги.

Потом он покатил на извозчике к Забелину и повез его в Пушкинскую библиотеку.

Удивленный Забелин пытался уклониться от изучения историко-краеведческих сборников, но Антон Семенович стоял над душой поэта. Сорокин потихоньку растолковывал Забелину, на что он должен обратить особое внимание при своих разысканиях.

Как бы то ни было, а Забелин, вытерев вспотевший лоб, облегченно вздохнул и закрыл последний по счету сборник.

Антон Семенович проверил познания, полученные Забелиным, кое-что дополнил и, потирая морщинистые руки, стал терпеливо дожидаться приезда Богуславского в Омск. А тот уже мчался в окутанном паровозным дымом маньчжурском экспрессе в загадочную для него Сибирь, страну будущего, как всюду называл ее в своих выступлениях.

Был майский день, солнце отражалось в гладких крупах вороных коней. Богуславский сидел в сверкающей колесными

спицами коляске вместе с женой и своим секретарем. Когда он поворачивался, отвечая на многочисленные приветствия, на его пенсне вспыхивали стремительные лучи...

Молодой человек, подняв над головой сложенную вдвое бумагу, ринулся под копыта вороных коней, и они остановились.

— Папа! — закричал Забелин. — Папа! Зачем ты нас с мамой бросил? Зачем оставил?..

— Вы нездоровы, молодой человек? — участливо спросил Богуславский, а сам, как бы в поисках ответа, покосился на вывеску ближайшего пивного зала «Омсельпрома».

— Где же тут здоровым быть! — завопил Забелин. — Серсе кровью обливается. От мимолетных спряжений родиться — хуже быть не может. У других детей погремушки всякие, а у меня век ничего не было, страшно вспомнить! Вне закона родился!

И Забелин зарыдал, судорожно сжимая в руках бумагу.

— Вологодскую губернию, папа, помнишь? Помнишь город Тотьму? — продолжал он. — Там еще исправник кроликов разводил. Ты с мамой по Сухоне на лодке катался, а потом уехал и нас забыл... Мама скитаться стала, до Сибири дошла и меня к протопопу Савкину подкинула. Плохо, пап, живу: стихи мои не печатают, учиться не дают, потому что меня протопоп усыновил...

Забелин рухнул на колени.

— Встаньте, молодой человек! Стыдно так унижаться! — сказал Богуславский. — Вы стихи пишете? Не стесняйтесь, прочтите что-нибудь, — мягко добавил он, сделав широкий пригласительный жест.

*Польнь, польнь, смиренная вдовица,
Кто не пил слез от горечи твоей?
Польнь, польнь, роняет перья птица,
Зыбь облаков белее лебедей!*

Забелин начал неуверенно, но, убедившись, что Богуславский внимательно слушает, с подъемом дочитал всю свою «Польнь» до конца.

<...>

— Вам надо учиться, молодой человек, — ласково промолвил Богуславский. — Дайте вашу бумагу!

Пробежав ее, Богуславский вынул ручку и начертал на челобитной несколько строк. Забелин прочел их и, заплакав от радости, пошел разыскивать Антона Сорокина.

— Будьте мужчиной, вытрите слезы, — сурово приказал Антон Сорокин. — Я вам говорил, что так и будет. Дело маленькое...

— А я думал, что в миле Сию уведут, — еще всхлипывая, сказал Забелин.

...Жить Забелину стало много легче. Его уже печатали в омской газете «Рабочий путь»...

Вскоре Забелин поехал в Москву. За ним, отнюдь не на его счастье, увязался Павел Васильев.

Кроме запоминающегося портрета Антона Сорокина, объявившего себя «королем сибирских писателей», вечного скандалиста, самовыдвиженца на Нобелевскую премию, оригинального прозаика, в этой сцене обращает на себя внимание довольно ядовитая характеристика Евгения Забелина как вечно неуверенного в себе человека и явно неблагожелательное отношение автора к Павлу Васильеву.

Какая кошка между ними пробежала?

Мы еще узнаем — какая именно. А пока отметим, что в марковском очерке под именем Богуславского фигурирует не кто иной, как народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский, и обратимся к книге другого мемуариста — Евгения Туманского.

Его «документальная повесть» «Павел Васильев, каким его не знали» представляет собой смесь выдумки и реальных картин, необратимо искаженных под наплывом прошедших лет. Чрезвычайно трудно в этом сочинении отделить жизненный материал от беллетристики... Об этой книге у нас еще будет не один и не

два повода поговорить. А сейчас представим слово самому Туманскому:

...Павел отправился к Луначарскому, а так как Наркомпрос соседствовал с рабфаком искусств (я учился на первом курсе), то нам было по пути. На Покровке сошли с трамвая и пошли по бульвару Чистые Пруды, где находился Наркомпрос. Мы уже были близко, как услышали возгласы прохожих:

— Смотрите, Луначарский, Луначарский!

Впереди, по мостовой, медленно катился открытый, без крыши, автомобиль. Мы увидели Луначарского, с рыжеватой бородкой, в пенсне. Когда до подъезда оставалось два десятка шагов, Васильев вдруг бросился с тротуара навстречу автомобилю.

— Задавят, задавят! — послышались крики на тротуаре.

Раздался пронзительный скрип тормозов, и автомобиль, содрогаясь всем своим железным телом, остановился, касаясь радиатором Пашиных ног. Рассвирепевший шофер, обложив Васильева нецензурными словами, стал оттаскивать его от автомобиля, но тут подошел взволнованный Луначарский.

— Юноша, разве можно так легко относиться к собственной жизни? Это же самоубийство.

— Я не самоубийца, — воскликнул Павел, — я поэт!

— Тем более, — улыбнулся Луначарский. — Разве бросаться под автомобиль легче, чем писать стихи?

Васильев вдруг рассмеялся:

— А я, Анатолий Васильевич, не такой дурак кончать жизнь под колесами, это я напугать хотел, чтобы вы меня учиться послали на рабфак искусств. Не принимают меня, нету командировки, есть только стихи.

С этими словами Павел вывалил из чемоданчика на радиатор машины газеты и журналы с напечатанными стихами. Луначарский снял пальто, положил его на борт автомобиля, протер белоснежным платочком пенсне и тут же, на улице, стал прочитывать стихи. А потом вынул

из кармана пиджака блокнот и карандаш, стал что-то писать. Отдавая Васильеву записку, Луначарский, улыбувшись, сказал:

— Желаю удачи поэту-сибиряку, — и добавил: — Озорнику.

Вот эта записка:

«Заведующему Единым Художественным рабфаком искусств или его заместителю.

Податель молодой человек из Сибири Павел Васильев, хотя он не имеет командировки и не числится рабочим, желание получить художественное образование колоссальное. По-моему надо экстренно помочь юноше в получении первоначального художественного образования на рабфаке искусств.

Луначарский».

Помню, Павел долго не мог оторвать радостных глаз от записки Луначарского, а потом мы оба, как сумасшедшие, кинулись в Тургеневку. Там, в читальном зале, Павел стал составлять Автобиографию, как он сказал (в своей манере резкости и грубости), «документ, доказывающий в письменной форме, что я не верблюд...» К этому документу он приложил привезенные с собою справки о своей трудовой жизни.

Здесь практически полностью воспроизведена ситуация, описанная Марковым в «Омской саге». Только вместо коляски появляется автомобиль, Забелин в результате своей авантюры начинает печататься в омском «Рабочем пути», а Павел Васильев поступает на рабфак искусств...

Списал ли Туманский у Маркова всю эту историю для пушного оживления своей книги или Забелин, рассказавший о своем «подвиге» Васильеву, подвигнул молодого собрата совершить нечто подобное? Трудно дать однозначный ответ, и не приходится удивляться, что подобных «совпадений», легенд и рассказней в васильевской биографии нам встретится еще немало.

Васильев, вываливающий на радиатор машины газеты и журналы с напе-

чатанными стихами — это все же из области мифа. Человек, забывший чемодан с рукописями в сретенской гостинице и не пожелавший, по словам его близкого товарища Николая Титова, возвращаться («Ничего, новые напишем!»), едва ли будет собирать в чемодан все состоявшиеся к этому времени публикации. Уж скорее прочел бы вслух стихи, наподобие Забелина, — это ему больше пристало.

Это же надо было — дословно запомнить записку Луначарского и не сохранить в своей памяти текста васильевской «Автобиографии» — уж во всяком случае куда более значимого документа! Да и была ли она, эта самая автобиография, «доказывающая», что поэт не является «верблюдом»?

А насчет справок о «трудовой жизни» — здесь мемуарист явно перебрал. Таких справок у Васильева не было и быть не могло — ибо кто же выдавал ему справки в редакциях владивостокских газет, в «Сибирских огнях», в омском «Рабочем пути», где он печатался до своего первого появления в Москве? Работа на золотых приисках, в охотничьей бригаде, в культмассовом секторе в Сибири и на Дальнем Востоке была еще впереди, и справки в таких местах едва ли было принято выдавать...

Дальше — больше. Туманский приводит тексты писем Васильева, которые, судя по всему, представляют собой сплав вспомнившихся отрывков и дополнений к ним, сочиненных автором. Иначе нельзя сказать, например, о следующем пассаже:

Меня продолжают трепать за дело и без дела, хотя рапповское руководство и свергнуто. Некоторые братья и сестры по перу разыгрывают, что с ними после постановления ЦК («О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года. — С. К.) произошли чудесные превращения. Может быть, это и так, но я чувствую себя подкидышем, нет-нет, а норовят лягнуть

копытом. Вот сейчас ни с того ни с сего опричники порешили мою поэму «Соляной бунт», которую напечатал «Новый мир». Эти ничтожества конфисковали из-за поэмы весь тираж журнала. Ублюдки!

Чувствуется здесь васильевская фразеология, но ощутима и авторская отсебятина. Ибо тираж журнала «Новый мир» (точнее, большая его часть) с васильевской поэмой, действительно, был конфискован, но поэма эта называлась «Песня о гибели казачьего войска». Номера журнала с «Соляным бунтом» вышли из типографии полгода спустя и беспрепятственно дошли до читателя.

Это все вряд ли можно назвать фактическими ошибками. Это продолжение фантастических сочинений о жизни Павла Васильева, начало которым положил сам поэт. Петр Северов вспоминал:

Я не переставал удивляться необычному пареньку: временами он словно бы зажигался, его речь становилась плавной,стройной и яркой, и было приятно и слушать, и на него смотреть. Но одновременно я не мог не заметить, что, увлекаясь «распутыванием» собственных бесчисленных приключений, как и своей родословной, Павел не сводил концы с концами и беззастенчиво привирал.

— А ведь недавно ты говорил, — напомнил я поэту, — что твой папаша — родовитый киргизский князь, а мать — украденная им русская монашка.

Павел нисколько не смутился.

— Версия отменяется, — сказал он. — В конце концов, моя биография — мое дело...

И уже вторично, без связи с предыдущим разговором, он стал рассказывать о том, с каким уважением был встречен в редакции журнала «Сибирские огни», как его пригласили в Новосибирск выступить на литературном вечере, на котором он «чуть было не оглох от оваций». У него была слабость — самолюбование. Думается, что именно оно понуждало его приукрашивать скромную биографию

чуть ли не фантастическими эпизодами: где-то в Японии, в опикурильне, его пытались похитить бандиты, и тут ему пригодились умение владеть ножом...

— Свисток, Паша! — сказал я ему откровенно. — Крутой поворот. Жми на тормоза.

Он сделал вид, будто не понял меня, и стал рассказывать о своих приключениях на Алдане, где, впрочем, тогда еще лишь собирался побывать. Все же мне нравилось, как он плел одну за другой замысловатые истории, и я ободрял его непременно «ну, а что дальше?!» Эта игра продолжалась часами, пока ему не надоело выдумывать.

— Больше не спрашивай, — попросил он устало. — Хватит. У меня от воспоминаний, особенно от подробностей, голова трещит. И потом... ты ведь не веришь? Правда, не веришь?

— Правда.

— А почему слушаешь?

— Потому что интересно.

— Что именно?

— Как ты выдумываешь, как завязываешь и развязываешь «узелки».

Однако далеко не всем было «интересно» слушать васильевские рассказы, и далеко не все относились к ним столь добродушно. Прижизненные сплетни со временем увеличивались в подробностях, «цвели и благоухали», авторы посмертных фантастических сочинений уже не гнушались ничем, вплоть до приписывания Васильеву поступков других людей и сочинения уже от его имени живописных подробностей его собственной биографии. Уже в начале 80-х гг. Сергей Поделков писал:

Как только ни называли поэта: и сыном кулака, и сыном есаула, и певцом кондового казачества, и все, что он создавал, объявлялось идейно порочным, враждебным, проникнутым реакционным, иногда прямо контрреволюционным смыслом. А он был на самом деле сыном учителя математики, внуком пыльщика и прачки, служивших у пав-

лодарского купца Дерова, и с любовью рисовал мощным поэтическим словом жизнь родного народа, советскую действительность.

Выбросил с балкона С. Алымов пуделя Фельку — собаку артиста Дикого, — приписали П. Васильеву. Написал Е. Забелин пессимистические стихи «Тюрьма, тюрьма, о камень камнем бей...» — автором объявили П. Васильева. Он любил до самозабвения С. Есенина, называл его «князем песни русския», знал почти наизусть четырехтомник знаменитого рязанца, и все равно А. Коваленков измыслил отрицательное отношение П. Васильева к творчеству Есенина и бесстыдно опубликовал клевету.

Правда, он не был ангелом; но если клеветуют и травят, разве можно быть им?

Впрочем, Павел и сам любил рассказать свою выдуманную родословную, причем в условиях совершенно для этого не подходящих.

Уже под конец своей короткой жизни он встретился в столице со старым знакомым еще по Новосибирску — поэтом Андреем Алдан-Семеновым, во время скороспелой выпивки перелистывал газетные страницы, на которых красовались извещения об отказе детей от своих отцов, объявленных врагами народа... Скомкал лист газеты, швырнул его себе под ноги и в упор уставился на Алдана.

— Ну и детки от первой пятилетки! Только и слышишь: каюсь да отрекаюсь. А я вот нарочно распустил слух про себя, что, дескать, сын степного прасола-миллионщика, а не учителя из Павлодара.

— Зачем выдумывать басни во вред себе?

— В пику продажным душам! Когда предательство родного отца объявляют героизмом — это уже растрепание душ. Противно. Но хватит об этом.

А кому «в пику» Павел сочинял несколькими годами раньше, при своем первом появлении в Москве, легенду о

том, что он сам — сын казачьего есаула, после чего родной отец, узнав об этой легенде, что в любой миг могла повлечь за собой непоправимые последствия, схватился за сердце?

* * *

Павел Васильев не был потомственным казаком. Его дед по отцу Корнила Ильич был выходцем из казачьей среды. Дед по материнской линии Матвей Васильевич Ржанников — павлодарский купец второй гильдии.

Отец Николай Корнилович действительно был учителем. Ко времени рождения сына он заведовал мужским приходским училищем в Зайсане, одном из небольших городов, расположенных по Иртышской линии Сибирского казачьего войска.

23 декабря 1909 г. священник Геннадий Кочергин в метрической книге Александро-Невской церкви города Зайсана сделал запись о рождении Павла Николаевича Васильева, сына «учителя Зайсанской приходской школы Николая Корниловича Васильева и законной его жены Глафиры Матвеевны». Первые два года жизни прошли в Зайсане, пока не разразилась эпидемия дизентерии. Васильевы уже потеряли двух детей, умерших в младенческом возрасте, еще до рождения Павла. Дабы не искушать судьбу в третий раз, они снялись с места и отправились в Павлодар, на родину Глафиры Матвеевны. В Павлодар, который и станет настоящей родиной будущего поэта.

**Багровою сиренью набухал
Купецкий город, город ястребинный,
Курганный ветер шел по Иртышу,
Он выветрил амбары и лабазы,
Он гнал гусей теченью вопреки
От Урлютюпа к Усть-Каменогору...
Припомни же рябиновый закат,
Туман в ночи и шелест тополиный,
И старый дом, в котором ты звалась
Купеческою дочерью — Глафирой.**

**Припоминай же, как, поголубев,
Рассветом ранним окна леденели
И вразнойбой кричали петухи
В глухих сенях, что пьяные бояре,
Как день вставал сквозною кисеей,
Иконами и самоварным солнцем,
Горячей медью тлеи сундуки
И под ногами пели половицы...**

Он будет покидать этот дом, проклинать его, признаваться ему в любви и тут же писать о своей ненависти к нему, но память о родных стенах будет преследовать его до самого конца. Слова отречения он не вымолвит.

На всю жизнь останутся с ним песни бабушки Марии Федоровны («Без уздечки, без седла на месяце востром сидит Баба-яга в сарафане пестром...») и сказки неграмотного деда Корнилы Ильича, которые он позже переложит в «Сказки чернильные деда забавные», что станут первой пробой его пера.

**Корнила Ильич, ты мне сказки
баял,
Служивый да ладный — вон ты
каков!
Кружилась за окнами ночь, рябая
От звезд, сирени и светляков.
<...>
Недобрым огнем зажигались
поверья,
Под мох забиваясь, шипя под золой,
И песни летали, как белые перья,
Как пух одуванчиков над землей!**

**Корнила Ильич, бородастый дедко,
Я помню, как в пасмурные вечера
Лицо загудевшею синей сеткой
Тебе заволакивала мошкара.**

**Ножовый цвет бархата, незабудки,
Да в темную ночь смолевой запал, —
Ходил ты к реке и играл на дудке,
А я подсвистывал и подпевал.**

**Таким ты остался. Хмурый да ярый,
Еще не уступчивый в стык, на слом,
Рыжеголовый, с дудкою старой,
Весну проводящий сквозь бурелом.**

Недолго семья Васильевых прожила в Павлодаре. Прослужив некоторое время в трехклассном городском училище, Николай Корнилович, будучи уже отцом двоих сыновей — Павла и Бориса (третий — Виктор — родился в 1919 г., а младший — Лев — в 1923-м), был переведен в станицу Сандыктавскую, что раскинулась на реке Джабай, притоке Ишима. Затем последовал переезд в Атбасар, а в 1916 г. — в Петропавловск.

Масленицы, казачьи свадьбы, ярмарки... Казахская степь, верблюжьки караваны, песни акынов... Все сливалось в многоцветную, разноголосую картину. Павел, как и его многочисленные сверстники, дети прииртышских казаков, быстро овладел казахским языком, постоянно общаясь с кочевниками, что поднимались со своими стадами на север до Омска и дальше, а к зиме возвращались к южным выпасам для скота. У костров играли на двухструнных домбрах и пели «Марьям Жогаркызы» — песню о любви русской девушки Марии к казахскому юноше или письмо Татьяны к Онегину в собственном переложении.

Российская империя доживала последние месяцы. Казахская степь была южным пограничьем, в свое время на совершенно добровольных началах ставшим частью могучего государства. Еще в 1594 г. казахский царевич Ураз-Мухаммед просил дьяка Посольского приказа Василия Щелкалова сообщить царю Федору Иоанновичу о желании хана Тевкеля передать казахскую и калмыцкую орды «под царскую руку». В обмен Тевкель обещал прислать в заклад царевича, т. е. своего сына.

Здесь есть смысл сослаться на слова писателя Николая Кузьмина, тщательно исследовавшего историю этого вопроса.

Спокойная рассудком, беспристрастная История свидетельствует — Россия не завоевывала Казахстана. Экспансия? Да, это «заграничное» словечко фигури-

рует во внешнеполитическом лексиконе тех времен. Но надо помнить, что означало оно всего лишь «освоение», но никак не «завоевание»! В этом термине никакое ухо не уловит зловеющего звяканья оружия. Вспомните, еще совсем недавно хищные барымтачи — разбойники степи — таскали на арканах зазевавшихся на полевых работах русских баб и мужиков под самым Оренбургом. Добыча продавалась на невольничьих рынках и томилась в рабских оковах в Бухаре, Коканде и Хиве...

Суровая тогдашняя действительность складывалась так, что соседние народы, обитавшие за окраинной чертой России, сами стремились отдаться под ее покровительство, найти надежную защиту ее правителей, ее вооруженных сил. Мощь государства в те времена решала многое, если не все.

Радовалась ли Россия такому добровольному приращению территорий? Прежде чем дать ответ, вспомните, что Украина целых шесть лет буквально умоляла правителей России «принять ее под свою высокую руку», защитить от хищных крымцев и беспощадных ляхов... По украинскому образцу произошло и присоединение казахской степи. Знаю по первоисточникам, какие зверства творили джунгары, хивинцы и кокандцы. Приведу одну деталь: девочки, не падавшие с ног от удара папахи, подвергались насильно озверелых налетчиков. Угонялся скот, забирался огромный полон, оживлявший азиатские рынки невольников.

Защита новых членов семьи народов России требовала и крови, и гигантских средств... В казахстанскую степь вслед за солдатами и офицерами ехали учителя, инженеры, землестроители, просто строители — дорог, каналов, зданий. Дети степняков потянулись на учебу в Омск, Москву, Петербург. Возвращаясь в «родные палестины», они открывали школы, семинарии, печатали журналы и книги. Вековая степь, ристалище сражений с наглыми захватчиками, становилась краем, где появлялась своя письменность, свое национальное искусство...

Да, так было на протяжении долгого времени. Но когда семья народов начинает распадаться, это сопровождается неизбежной кровью. От живого тела страны отдельные части никогда не отпадали безболезненно.

В 1916 г. в Семипалатинской губернии началась мобилизация казахов для тыловых работ, которые будут оплачиваться деньгами и продовольствием. Но среди казахов Каркаралинского уезда разнесся (а скорее всего, намеренно был пущен) слух, что их забирают в солдаты и будут насильно крестить. Результатом стало всеобщее возмущение, которое прокатилось волной по степным аулам. Казахи нападали на русских переселенцев, отбивали у них стада скота, вытраивали урожай и перебегали в Китай. Оставшиеся, запасшись огнестрельным и холодным оружием, вступали в бой с казачьими сотнями.

Естественно, появлялись разного рода «ханчики» с далеко идущими миражными планами. Так, некий Мукай Джузбаев обещал своим «нукерам» с самодельными саблями, шашками, пиками и ружьями «завоевать Великую Россию». А «санзарский бек» Таракул Турадбеков объявил Санзарский участок Джизакского уезда «самостоятельным мусульманским государством», которое ведет «священную войну против русского владычества».

Справки канцелярии военного министерства той поры достаточно красноречивы.

В Усть-Каменогоском уезде инородцы совершенно отказались ехать на работу и побили некоторых старшин.

В Зайсанском уезде инородцы бросают степь, имущество, покосы и бегут за границу, угоняя с собою и скот. Взбунтовавшиеся киргизы (так называли тогда и казахов. — С. К.) сгруппировались тысячными отрядами, вооружились огнестрельным оружием, полученным из Китая.

В Семипалатинском уезде киргизы отняли у старшин должностные знаки, печати и выразили полное нежелание подчиниться требованию выставить рабочих. Угоняют скот за тысячи верст...

В Уральском уезде толпой киргизов убиты волостной управитель и его писарь. В Наумовском поселке того же уезда управителю и его писарю нанесены побои, под угрозой смерти были отобраны и уничтожены списки...

В Кустанайском уезде некоторые из волостных и аульных властей убиты. Киргизы угрожают полным сопротивлением призыву. В Актюбинском уезде киргизы напали на почту, пассажирские автомобили, разыскивая посемейные списки, намеревались убить крестьянского начальника...

Но хладнокровные сводки документов не в состоянии передать подробностей, от которых и ныне кровь леденеет в жилах. Вот что рассказывал монах Ираклий вернинским монахиням о погроме, учиненном казахами в Иссык-Кульском монастыре в Семиречье летом 1916 г.:

На меня страх напал... видимо, мне не время было умирать, неготовый был я. Я побежал на колокольню. Ищу, где спрятаться. Метался, метался и подлез под тес, под лист железа. Киргизы выбили двери, зашли в монастырь, стали требовать драгоценности. Иконы побили, забрали церковную утварь — чаши, подносы, кресты. Потом во дворе началась казнь. Я лежал под крышей, и мне все было видно. Было очень жарко, я чуть не сгорел, железо накалилось, хотелось пить, но пришлось все терпеть. Смотрел, как монахам саблями отрубали носы, уши, руки, ноги. Сделают человека, как самовар, он кровью исходит, а я не знаю, что со мной тогда было... Потом одного старца повесили за ноги вниз головой и начали снимать с него кожу. Сняли кожу, дали кожу ему в рот и кричат: «Держи!» Он висит вниз головой, держит кожу. Все окровавлено, все, как куски мяса. Не пощадили никого, всех

порубили. Под вечер, к заходу солнца, смотрю, киргизы сели на лошадей и уехали. А я все под крышей лежу. Вижу, появились люди из селений, и ушедшие монахи стали подходить. Тогда я стал вываливаться из своего убежища. Упал на пол колокольни, а у меня ни руки, ни ноги не работают. Пить хочу. Я катался по полу, чтобы хоть немного отойти. Потом стал спускаться вниз — не шел, а катился. И когда меня братья увидели, напоили водой: «Ты живой?» — «Живой». — «Как же ты спасся?» — «Да вот я на колокольне был». Плачем все. К утру все раненные поумирали. Похоронили всех в общей могиле.

Все советские годы это восстание всемерно прославлялось как «борьба угнетенных национальных меньшинств против царизма». Но при этом в более или менее добросовестных исторических книгах приводился массив подлинных документов, по многим из которых можно было воссоздать относительно реальную картину происходивших кровавых зверств, которые спустя семь десятков лет повторились на окраинах уже не Российской империи, а Советского Союза.

* * *

В 1917 г. Павел начинает учебу в Петропавловском высшем начальном училище. В начале 1918 г. в городе устанавливается советская власть. А 1 июня того же года Петропавловск переходит в руки казачьих частей и чешских дивизий, сформированных из военнопленных Первой мировой войны. Казаки отнюдь не отличались гуманностью по отношению к большевикам, но мародерство и зверства чехов запомнились жителям города на всю жизнь.

Дикие самосуды над работниками советских учреждений, избияния и убийства лавочниками среди бела дня на улицах города большевиков, ранее про-

водивших реквизиции, — все это отпечаталось навсегда в памяти восьмилетнего мальчика. На его глазах был буквально растерзан озверевшей толпой один из работников местного Совета К. Р. Сутюшев. В городе передавались подробности переулочных расправ, расстрелов на берегу Ишима, жутких допросов в местной тюрьме и в подвалах крупных магазинов, превращенных в застенки.

Лишь в августе 1919 г. полки 5-й Красной Армии вошли в Петропавловск. В этом же году Николай Корнилович был мобилизован отступавшими колчаковцами в конную группу в должности ротного писаря. Потом ему надлежало отправиться в Челябинскую школу прапорщиков, но тут уже его судьба делает новый крутой поворот. По рекомендации знакомого штабс-капитана Николай Корнилович устраивается каптенармусом в Каменногорский полк дивизии знаменитого «черного атамана» Анненкова. Ему суждено было либо быть убитым в бою с красногвардейцами, либо пасть от руки анненковских подручных, истреблявших всех не желавших уходить с Анненковым после разгрома атаманских частей. Но судьба оказалась милостивой и на этот раз. Спас тот же штабс-капитан, отпустивший бывшего писаря в отпуск «для устройства домашних дел и посещения министерства просвещения».

Жизнь крутила и мотала Николая Корниловича в течение этого года как щепку. В должности писаря вещевого склада Степной группы войск он отправляется в Новониколаевск. Добирается до города пешком после ссоры с командиром части: был ссажен с поезда. В Новониколаевске был арестован колчаковцами как дезертир — спасло лишь то, что за него поручился оказавшийся рядом знакомый казак. Прикомандированный писарем в конвойную сотню, Васильев вместе с обозом добровольно сдался в плен красноармейцам в двадцати пяти километрах от Красноярска. Он ни-

когда не был воинственным человеком, а белые навсегда поселили в его душе отвращение и ненависть к ним. Насмотрелся...

Эпидемия тифа в Новониколаевске... Полтора месяца тяжелейшей болезни. Едва оправившись, Васильев пришел в местный губревком и получил командировку в отдел народного просвещения. И снова учительская стезя, снова школа — сначала в Омске, затем в Павлодаре. Семья Васильевых снова в городе, покинутом ею почти десять лет назад.

Сердечный мой,

Мне говор твой знаком.

**Я о тебе припомнил, как о брате,
Вспоенный полносочным молоком
Твоих коров, мычащих на закате.**

<...>

И улицы!

Все в листьях, все в пыли.

Прислушайся, припомни —

не вчера ли

**По Троицкой мы с песнями прошли
И в прятки на Потанинской играли?**

Не здесь ли, раздвигая камыши,

Почувя одичавшую свободу,

Ныряли, как тяжелые ковши,

Рябые утки в утреннюю воду?

Так ветренен был облак надо мной,

И дни летели, ветреные сами.

Играло детство с легкой волной,

Вперся в нее пытливыми глазами.

Я вырос парнем с медью в волосах.

И вот настало время для элегий:

Я уезжал. И прыгали в овсах

Костистые и хриплые телеги.

<...>

И вот я вновь

Нашел в тебе приют,

Мой Павлодар, мой город

ястребиный.

Зажмурь глаза — по сердцу

пробегут

Июльский гул и лепет сентябрьный.

Эти строки были написаны Павлом в 1931 г., когда его размышления о родном городе уже не были столь идиллическими, когда он безуспешно пытался оборвать

светлые воспоминания и признавался Павлодару не только в любви...

Но об этом речь впереди. А пока — радость от возвращения в материнский дом, шумная и радостная встреча с любимыми дедом и бабушкой, учеба в семилетней школе, находившейся в управлении водного транспорта, которой заведовал отец и в которой Павел обрел друзей: Ираиду, Юрия и Марию Пшеницыных, Серафима Дагаева, Веру Иванову, Евгению Стэнман.

* * *

Нередко осенними или зимними вечерами мы стелили в комнате на полу кошму, усаживались на нее, и начинались фантастические рассказы. Свет в комнате не зажигали, керосиновая лампа стояла на столе в соседней комнате, где сидели взрослые. Прочитанные о разных приключениях книги дополнялись и всегда изменялись так, «чтобы было страшно». Иногда после таких рассказов я не могла уснуть от страха, но они были очень интересными и хотелось их слушать снова и снова. Фантазия Павла рисовала самые необыкновенные ситуации, она не знала предела, а мы не знали устали, слушая его. Он не замечал, как сам становился действующим лицом своего рассказа. Импровизации его отличались складностью и какой-то романтической достоверностью.

Однажды, когда Павел рассказывал очередную фантастическую историю с таким увлечением, что глаза у него ярко горели и сам он как бы перевоплощался, я не выдержала и сказала: «Паша! А глаза у тебя как у кошки!» Он тут же стал изображать дикого зверя и прорычал: «Как у ягуара!» Действительно, его глаза были как яркие желто-зеленые огоньки, они менялись вместе с увлеченным рассказом о каких-нибудь приключениях. Не помню сейчас, кто сказал о внешности Павла: «Русый взгляд, брови вразлет, кудрявая голова...»

Увлечение приключенческой литературой было очень сильным. Так, после

прочтения книги А. Дюма «Графиня де Монсоро» Павел был так восхищен смелостью, доблестью и любовными похождениями героя романа графа де Бюсси, что написал стихотворение «Бюсси» (весной 1926 г.). Он тогда читал у нас эти стихи. С детства Павел мечтал о путешествиях. Прочитанные книги укрепляли его в мечтах о неизведанных землях, о мужественных, сильных и находчивых людях. (Из воспоминаний Ираиды Пшеницыной.)

Как всегда, Павел и я были организаторами разных проделок. Так, нами было устроено «похищение» одной из наших соклассниц — Лидии Прокофьевой. Она жила у мачехи, решила уехать в Омск. Ее похищение было организовано в три часа ночи. Чтобы доказать бесстрашие, ночью ходили на кладбище, устроили однажды дуэль между двумя школьниками... Сейчас, перебирая в памяти случаи из своей юности, я часто думаю: если бы все, что мы устраивали, делала моя дочь, будучи школьницей, или моя внучка, я пришла бы в ужас, так как за все эти проказы могли исключить из школы. А тогда... мы все старались сделать из обычного необычное. И Павел особенно отличался. (Из воспоминаний Евгении Киссен (Стэнман).)

Следует сказать, что отец Павла — наш учитель математики в семилетке — был человеком крутой воли и Павлу от него порой крепко доставалось. И не только на словах. А характером и волей Павел был в отца. И чем дальше, тем заметнее это выходило наружу. И тогда он напоминал порой дикого, необъезженного жеребенка, который в любую минуту мог сорваться с поводка. Уже в последнем (девятом) классе школы чувствовалось, что Павлу не терпелось стать на крыло. (Из воспоминаний Георгия Пшеницына.)

Фантазером и мечтателем Павел был невероятным. Он мечтал объехать весь мир: собирался побывать на Дальнем Востоке, в Средней Азии, Японии, Ин-

дии. А однажды предложил совершить побег на Памир, чтобы вступить добровольцем в пограничный отряд и бороться с басмачами. Мы стали копить деньги, собирать одежду и продукты. Но наш план побега из дома был раскрыт. Отец Павла, Николай Корнилович, выпорол Павла и посоветовал моим родителям проделать со мной то же самое. (Из воспоминаний Сергея Успенского.)

По этим и другим многочисленным позднейшим воспоминаниям одноклассников Павла можно нарисовать более или менее приблизительную картину его жизни в Павлодаре в первой половине 20-х... Мальчишка запоем глотал книги. Пушкин, ставший примером в жизни и поэзии, Лермонтов, Некрасов, Гоголь, Лев Толстой, Горький перемежались Жюлем Верном, Бремом, Майн Ридом, Фенимором Купером, Луи Буссенаром. Неумный характер, буйный темперамент, рано проявившийся, толкал Павла на резкие и подчас необдуманные поступки, в результате чего все чаще и чаще возникали у него конфликты с отцом. Характер сталкивался с характером.

Он во многом был похож на своего отца. Воспринял от него своеволие, грубость, деспотизм по отношению к окружающим, хотя до поры до времени эти качества не обретали законченных форм. Сказывалось все же благотворное влияние матери, тихой интеллигентной женщины, жившей под каблуком мужниного сапога. Именно от нее Павел унаследовал любовь к литературе и в особенности к поэзии.

Толчок к пробуждению творческого дара давали также уроки живописи, которые вел пейзажист, участник выставок передвижников и близкий друг Репина Виктор Павлович Батурич. Он не только преподавал азы живописного мастерства — он учил проникать в самую суть замысла художника, посвящал учеников в таинства расположения красок и света на холсте, рассказывал об особенностях

художественной композиции... Часто отвлекался и начинал вспоминать о встречах и разговорах с Шишкиным, Левитаном, Серовым, Ярошенко, Репиным.

Литературу преподавал Давид Васильевич Костенко, ставший позднее заслуженным учителем Казахской ССР и автором учебных пособий для национальной школы. Он был одним из тех многочисленных русских интеллигентов, просветителей инородцев, которые десятилетиями жили с ними одной жизнью, вызывая к себе чувства восхищения, любви и, увы, ненависти: ненависти со стороны ярых националистов, которые никуда не исчезли, невзирая на все политические гонения. Начиная со второй половины 80-х гг. таких, как Костенко, а также их детей и внуков стали насильно выдворять из Казахстана, в том числе и посредством спровоцированных и хорошо подготовленных погромов. Процесс этот продолжается до сих пор.

Осенью 1924 г. Павел, сидевший на задней парте, неожиданно встал посреди урока и задал учителю вопрос: почему по программе ученики не изучают поэзию Абая, который уже был объявлен националистом и злейшим врагом советских казахов? Костенко внимательно посмотрел на дерзкого мальчишку, повернулся и вышел из класса. Через несколько минут он вернулся с томиком Абая в руках. И весь урок прошел в чтении казахского классика, в рассказах о его жизни.

Симптоматичный эпизод произошел в конце 1925 г. Павел снова встал без разрешения, когда Костенко еще не начал вести урок.

— Давид Васильевич! — голос Павла слегка дрожал. — Нельзя ли сегодняшний обязательный урок заменить есенинским? В России умер великий поэт. Беда...

Костенко стал рассказывать о Есенине, читать «Персидские мотивы», отрывки из «Гуляй-поля». Как само собой разумеющееся прозвучало в стенах про-

винциальной средней школы, по столичным меркам — сущего захолустья: «Великий поэт».

В Москве в эти траурные дни на ДOME печати был вывешен транспарант: «Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь». Существуют глухие упоминания, что автором этого текста и инициатором вывешивания транспаранта был Николай Клюев. Не пройдет и нескольких месяцев, как данное действие будет квалифицировано Львом Сосновским как контрреволюционная акция, совершенная, «очевидно, с похмелья». А десять лет спустя один из близких друзей Есенина Петр Орешин на допросе у лубянского следователя даст следующие показания:

Когда... покончил самоубийством С. Есенин, по инициативе С. Клычкова была организована антисоветская демонстрация. Этот факт также был использован нами для широкой агитации среди литературной и художественной интеллигенции «об удушении русской литературы». На фасаде Дома печати был вывешен плакат с надписью: «Здесь покоится прах великого русского национального писателя Сергея Есенина». Похороны Есенина благодаря нашим стараниям вылились в антисоветскую демонстрацию. Со смертью Есенина наша антисоветская группа не распалась. Мы (Клюев, Клычков и я — Орешин) часто собирались в замкнутом кругу и обсуждали в антисоветском духе положение в стране и в литературе...

Тогда же Орешин назвал среди своих ближайших друзей — членов «антисоветской группы» — и Павла Васильева, которого уже не было в живых. Насколько справедливой была эта характеристика — мы увидим в дальнейшем. Но ничего нет случайного в самом факте появления имени Васильева среди имен ближайших есенинских друзей.

* * *

Есть в этом совпадении нечто мистическое. Александр Никитич Есенин, глядя на своего сына, качал головой и произносил: «Он не такой, как мы. Он Бог его знает кто».

И почти то же самое с искренним сожалением произнесла Глафира Матвеевна Васильева, глядя на Пашку, чередовавшего чтение книг с шальями, а подчас и дерзкими забавами: «И откуда в нем это берется? Не похож на других, и что только мы будем с ним делать?»

Среди первых стихов, которые запомнил Павел в школе, среди многочисленных вариаций, подражаний, пейзажных зарисовок, стихотворных любовных признаний было написано и «На смерть Есенина», к сожалению, не сохранившееся.

В 1926 г. во Владивостоке начинающий поэт, недавно покинувший родимый дом, встречает двух своих первых наставников и покровителей: Рюрика Ивнева, сотоварища Есенина по «имажинистскому братству», который отметил дарование будущего «соратника по величию образа» еще в 1915 г., и Льва Повицкого, тоже старинного есенинского друга, адресата одного из стихотворений великого поэта. Ивнев и Повицкий, словно замороженные, слушали юношеские стихи Павла, восхищались, аплодировали, улавливая сходство с недавно погибшим другом, помогали в первых публикациях и устройстве первых публичных чтений.

Через шесть лет Васильев, уже обжившийся и пообтершийся в Москве, переступил порог полуподвальной квартиры Николая Клыкова и вошел в дом Сергея Клычкова — и был встречен с распростертыми объятиями, как продолжатель дела Есенина, как новая надежда. Благодарность Павла за заботу и помощь была весьма своеобразной, и Клюев проклял его как «изменника» почти так же, как в свое время Есенина, впрочем, так и не

найдя в себе сил вырвать из сердца молодого непутевого собрата по перу. Сюжет этот весьма непрост, и в дальнейшем его придется обрисовать как можно более подробно.

Знаменитая статья Максима Горького «О литературных забавах» сейчас практически забыта. Да не покажется это утверждение парадоксальным. Забыта большая часть ее неудобоваримого плоского текста, но остается в памяти, цитируется и пересказывается один кусочек из нее — кусочек, посвященный Павлу Васильеву: «Жалуются, что Васильев хулиганит хуже, чем Сергей Есенин...»

И друзья, и многочисленные враги видели в нем прямого наследника великого русского поэта, тем более что он никогда не скрывал своей любви к нему. «Воспитатели» из литературно-политической среды стремились по возможности нейтрализовать «вредное влияние». Литературные шавки новой формации травили его, как в свое время Есенина, уже опробованными методами. А через двадцать лет после гибели Васильева, когда Есенин стал официально признанным поэтом, Александр Коваленков объявил, что Есенина для Васильева «как бы не существовало».

Сам Павел отнюдь не считал себя продолжателем, а тем более эпигоном. Злился, отбрыкивался, но внутреннее родство осознавал со всей ясностью. Poleмизировал, но не отрекался.

* * *

Младший брат поэта Виктор, вспоминая о том, как Павел покинул родной дом, утверждал, что произошло это внезапно для родных после тяжелой ссоры с отцом.

Шел 1926 год. Павел окончил девятилетку. К этому времени в нашей семье произошли большие изменения. Вслед за дедом Корнилой умерла и бабушка Варвара. Раз (за что именно — не помню)

Павел был избит отцом. На следующий день его не обнаружили дома. Он исчез. Его искали по всему Павлодару. Мать беспрерывно плакала, а отец ходил тучей. Наконец кто-то сказал, что Павла видели, когда он сел на пароход, идущий вниз по Иртышу к Омску.

На самом деле произошло следующее. «Союз воинствующих безбожников» организовал в Павлодаре диспут на тему «Был ли Христос?». Такого рода диспуты проводились по всей стране в качестве идейной подготовки к окончательному разгрому церкви. В них вовлекалась молодежь, а первую скрипку играли неперемненные участники — священники обновленческой церкви, созданной по инициативе ГПУ. Они исполняли роль своеобразных «козлов-провокаторов». Один такой священник-обновленец вступил на диспуте в спор с Давидом Костенко. Причем он не столько защищал веру, сколько публично издевался над своим оппонентом, что, естественно, вызвало возмущение всех присутствующих.

Павлодар вообще стал к этому времени одним из центров обновленчества. Раскол церкви на сторонников патриарха Тихона и обновленцев лишь способствовал отторжению населения от православия, чего, собственно, и добивалась новая власть. О том, что происходило в середине 20-х гг. в церковной жизни Павлодара, можно узнать, ознакомившись с отчетным докладом помощника прокурора Семипалатинской губернии по Павлодарскому уезду Некрасова за период с 1 октября 1925 г. по 1 октября 1926-го («стиль» документа сохранен).

...Главным образом ярко отразилось течение раскола в самом Павлодаре: прогрессивное и реакционное. Причем еще в 1922 году духовенство обеих церквей перешло на сторону обновленческого движения, через два года одна

из общин — Воскресенская присоединилась к тихоновцам, но договора общинами на здания не перезаключались, таким образом, в городе параллельно существовали две общины: в соборе — обновленцев и в кладбищенской церкви — тихоновцы, а в 1925 году, в сентябре месяце, [во время] съезда Поместного Собора [в] городе Москве, и вследствие непримирения [на] последнем тихоновцев с обновленцами, этот вопрос не бесследно прошел, большая часть общины, находившаяся в Троицком соборе, руководимая духовенством, мотивируя тем, что они не хотят оставаться «живоцерковниками» ввиду не состоявшегося примирения сторон, [с]ами они переходят из тихоновщины, причем, тихоновская группа оказалась численностью гораздо больше, т. е. большее количество оказалось на стороне духовенства, ввиду чего группа «живоцерковников» осталась вытесненной.

В декабре месяце община «живоцерковников» вошла с ходатайством перед административным отделом о передаче им одного из храмов собора, как насильно захваченного тихоновцами, обсудив этот вопрос с администрацией милиции и согласовав с другими учреждениями, где решено было передать обновленцам Троицкий собор. 26 января административным отделом были вызваны церковный староста гражданин Малахов, председатель, и члены церковного совета Кожевников, Яковлев и Андреев, было предложено провести передачу собора на основании существующих законоположений и телеграфного распоряжения Начгубамотдела за [№] 590, поименованные выше лица на это предложение категорически отказались, мотивируя [тем], что они на это не уполномочены, а с другой стороны, передать совершенно не намерены, к тому же, приняты меры к будированию верующего населения, чтобы оно также сопротивлялось передаче собора, на что им было разрешено собрать 60 человек, подписавших договор, а ими собрано 301 человек, где вынесено постановление церковь не сдавать, не подчиняться законным требова-

ниям власти во избежание дальнейших недоразумений. Административным подотделом были арестованы инициаторы Малахов, Кожевников, Луговцов, Яковлев и Андреев, этим самым было прекращено будирование верующих и собор передан 5 февраля обновленцам, а дело по обвинению названных лиц направлено следователю 15-го участка Павлодарского уезда для дальнейшего направления...

Власть не только репрессировала, но своеобразно «поощряла». Так, в докладе павлодарской губмилиции от 25 декабря 1926 г. было отмечено, что «в первом полугодии было выдано четыре разрешения на съезды: мусульманам, баптистам и обновленцам... Разрешен один съезд, который прошел 12 декабря с. г. в г. Павлодаре, это уездный церковный съезд духовенства и мирян Павлодарского уезда обновленческого толка». То есть «свободой совести» могли пользоваться все, за исключением православных христиан, не принявших обновленчества. В этих условиях от церкви постепенно отходили многие люди, уже пожившие на этом свете и всю жизнь соблюдавшие церковные обряды. А что уж говорить о молодежи!

Павел с детства проникся неприятием религии. Он постоянно вступал в горячие споры с дедом — Матвеем Васильевичем Ржанниковым, церковным старостой одной из двух действовавших павлодарских церквей. Как и большинство его сверстников, Павел в своей бескомпромиссности не знал удержу. Дед настоятельно требовал от внука соблюдения постов, причастия и частенько брал в руки хворостину в качестве аргумента, что только усиливало в мальчишке пыл сопротивления... Однажды Павел залез на здание недостроенного собора и читал оттуда стихи, собрав большую толпу, а после диспута не придумал ничего умнее, как, пробравшись ночью к казачьей церкви, свалить два креста над входом перво-

го этажа. Это святотатство вызвало негодование всех верующих и неодобрение многих из тех, кто еще недавно возмущался речами обновленца. Николай Корнилович в Бога не верил, но тут проучил Павла по-настоящему, точнее жестоко выдрал его. Этот случай стал рубежом окончательной размовки Павла с отцом, тем более что отец на дух не переносил его стихи, которые становились главным делом жизни сына.

— Наделал Паня беды, — говорила мать. — Как-то все обойдется?..

Обошлось. Но не так, как хотелось бы Глафире Матвеевне.

Окончив школу, Паша пришел на семейный совет и заявил, что уезжает из дома. Отец хмурился, мать плакала, но никто не пытался его отговорить. Знали, что бесполезно.

В июне 1926 г. Павел отправился в Семипалатинск. Дальнейший его путь лежал к Омску и на Дальний Восток. Ветер странствий обдувал шальную кудрявую голову, душа сжималась от предчувствия невероятных приключений... Жизнь оказалась куда более насыщенной, жестокой и драматичной, чем самые захватывающие сюжеты Фенимора Купера и Майн Рида.

Сибирская бригада

1 января 1928 г. в омском «Рабочем пути» появились стихи Васильева — «Песня об убитом» и «Вступление к поэме “Шаманья пляска”». А 15 января начался знаменитый сибирский вояж генерального секретаря Всесоюзной коммунистической партии большевиков Иосифа Виссарионовича Сталина, имевший далеко идущие последствия не только для Сибири, но и для всей страны.

Еще в мае 1927 г. «Рабочий путь» поместил извещение о строгом контроле над 10-процентным снижением розничных цен с указанием точных сроков исполнения.

Окрторг напоминает ЦРК, Аркорту и Омпто, что срок для выполнения директивы правительства и партии о 10 проц. снижении розничных цен с 1-го июня истекает, и эта директива во что бы то ни стало должна быть выполнена... Весь материал о полном 10 проц. снижении с измененными преysкурантными ценами... представить лично в округ с ответственным представителем во вторник 31-го мая к 12 часам дня.

НЭп доживал свои последние дни. 5 ноября 1927 г. Сталин в беседе с иностранными делегациями излагал программу строительства новой деревни в еще сравнительно мягких тонах и с долговременной исторической перспективой.

Мы думаем осуществить коллективизм в сельском хозяйстве *постепенно*, мерами экономического, финансового и культурно-политического порядка...

Всеохватывающая коллективизация наступит тогда, когда крестьянские хозяйства будут перестроены на новой технической базе в порядке механизации и электрификации, когда большинство трудового крестьянства будет охвачено кооперативными организациями, когда большинство деревень покроется сельскохозяйственными товариществами коллективистского типа.

К этому дело идет, но к этому дело не пришло и не скоро придет. Почему? Потому, между прочим, что на это нужны громадные финансы, которых еще нет у нашего государства, но которые будут... Я думаю, что мы уже вступаем в ту полосу развития сельского хозяйства, когда государство начинает получать возможность усиленно финансировать новый социальный, коллективистский строй.

Громя левую оппозицию, Сталин на XVI партконференции предельно четко обозначил принципиальный пункт расхождения между своей политикой по отношению к крестьянству и политикой троцкистов, упомянув Преображенского, «главного экономиста оппозиции, ко-

торый рассматривает крестьянство как “колонию” для нашей промышленности, как объект, подлежащий всемерной эксплуатации...»

Коллективизация была неизбежна, но Сталин рассчитывал на ее постепенное проведение. Однако уже во время сибирской поездки, вызванной провалом плана хлебозаготовок, все разговоры о постепенности были напрочь отринуты.

Поставить нашу индустрию в зависимость от кулацких капризов мы не можем. Поэтому нужно добиться того, чтобы в течение ближайших трех-четырёх лет колхозы и совхозы, как сдатчики хлеба, могли дать государству хотя бы третью часть потребного хлеба. Это оттеснило бы кулаков на задний план и дало бы основу для более или менее правильного снабжения хлебом рабочих и Красной Армии. Но для того, чтобы добиться этого, нужно развернуть вовсю, не жалея сил и средств, строительство колхозов и совхозов. Это можно сделать и это мы должны сделать.

Собственно, кулаков в их прежнем дореволюционном виде в стране к этому времени уже не осталось. Они были физически уничтожены к началу 20-х гг., в Гражданскую войну и в период крестьянских восстаний. Были более или менее зажиточные индивидуальные крестьянские хозяйства, на которых управлялись, в том числе и с использованием наемного труда, бывшие бедняки, которые воевали именно за землю, получили ее и обустроили на ней свою жизнь. И многие из них не желали расставаться с хлебом, добытым в поте лица. До поры до времени большевистская верхушка, исключая троцкистов, вынуждена была с ними считаться. Но здесь Сталину пришлось самому убедиться в том, что добровольно крестьяне с хлебом не расстанутся. Один из них так и заявил генеральному секретарю на крестьянском собрании: «Попляши, парень, тогда, может быть, я дам тебе пуда два хлеба».

Второй раз меньше чем за десять лет Сталин получил своеобразное «подтверждение» того, что русский крестьянин консервативен и антиреволюционен по своему существу и что, добившись своего, он не поступится более ничем ради дальнейшего преобразования государства. Ни о каком диалоге или «союзе с середняком» уже не могло быть и речи.

Разговоры о том, что мы будто бы вводим продрозверстку, раскулачивание и т. д., являются контрреволюционной болтовней, против которой необходима решительная борьба. Нэп есть основа нашей экономической политики, и остается таковой на длительный исторический период.

«Длительный исторический период» уложился в несколько месяцев. Добавочный налог на крестьянство не вызывал ничего, кроме сопротивления, выражавшегося в том, что крестьяне перестали расширять производство и не желали отдавать государству хлеб по заниженным ценам. Политика сверхналогов зашла в тупик. Нужен был кардинальный выход из положения, и он померещился в сверхинтенсивной коллективизации.

Здесь смычка Сталина с левой оппозицией была неизбежна. И разгромленные оппозиционеры бурными аплодисментами встретили курс на сплошную коллективизацию: крестьянин в этой среде всегда представлялся лишь как источник выкачивания материального продукта, не более того.

Вояж в Сибирь завершился вполне успешно. Лишние 142 миллиона пудов собранного хлеба послужили самым весомым аргументом в борьбе с теми, кто недоволен качал головой, предчувствуя, что подобное потрясение крестьянского мира может не кончиться добром для будущего Советского государства.

* * *

Все эти перипетии тут же отразились на литературной атмосфере, в частности на обстановке, сложившейся вокруг «Сибирских огней», где Павел Васильев появился после недолгого перерыва, встретился со старыми друзьями и тут же попал в бурлящий котел литературно-политических схваток.

11 ноября 1927 г. Владимир Зазубрин на заседании Новосибирской группы Сибирского Союза писателей выступил с докладом «Писатели и Октябрь в Сибири», в котором прозвучало буквально следующее:

Нас... обвинили в некотором шовинизме, великодержавии за то, что мы, якобы, всю сибирскую литературу свели к «Сибирским огням»... Мы должны говорить о единственном журнале, который сконцентрировал вокруг себя все писательские силы страны...

Наступление на крестьянство автоматически сопровождалось наступлением на литературном фронте. Высланные из Москвы «на руководящую работу в провинцию» троцкисты вроде Родова, Курса и им подобных обрели второе дыхание. Они почувствовали себя востребованными снова, ощутив столь знакомую и родную атмосферу нового этапа гражданской войны: насильственный зачин коллективизации сопровождался расправой с научной интеллигенцией. Совсем немного времени оставалось до знаменитых процессов по «Шахтинскому делу» и «делу Промпартии».

Речь шла об окончательном сломе старых традиционных основ русской жизни. 13 мая 1928 г. «всесоюзный староста» М. И. Калинин на VIII Всесоюзном съезде ВЛКСМ произнес речь, в которой поставил задачу «дать новый тип человека-коллективиста» и возмущался закостенелой крестьянской средой, в которой, как и прежде, на Масленицу

прыгают через костры... Демьян Бедный, официальный бард революции, с упоением воспринял новый социальный заказ:

**Самобытной, исконной,
И жижею гнойной, зловонной,
Пропитавшей рогожи,
Обмазать их истинно русские рожи.**

Слишком знакомые мелодии, знакомые уже нашим современникам... Периодически, во время очередного революционного потрясения, возрождается все тот же мотив ненависти к России, еще сохраняющей старейший быт и традиционные нравственные и культурные устои, к людям, берегущим в своих душах основы традиционного общежития, что вызывает совершенно бешеную реакцию «вечных революционеров», сыплющих проклятиями:

**Подлецы и лжецы
Патриоты, что любят бывшее оплакивать,
Величием России нам мозги
обволакивать.**

<...>

**Тут мало словесной хлесткой шрапнели.
Тут мало словесные путни вскрывать
И крыть сатирической дробью, петитом.
Их надо — с концами вместе — взрывать
Не порохом, а динамитом.**

Демьян задавал тон, а менее известные, но не менее бойкие стихотворцы вторили:

**Расеюшка-Русь, повторяю я снова,
Чтоб слова такого не вымолвить век.
Расеюшка-Русь, распроклятое слово
Трехполя, болот и мертвеющих рек...**

(Александр Безыменский)

Обвинения в «шовинизме и великодержавии» были привычными и стандартными, но ничуть не менее опасными, чем в 1918 г. Любая попытка ответа неумным злопыхателям тут же влекла за собой очередную порцию обвинений. В № 3 «Сибирских огней» за 1927 г.

Валериан Правдухин выступил со статьей «Литературная шивера», в которой резко и достаточно внятно объяснялся с «неистовыми ревнителями» из СибАППа. Положение, однако, создавалось такое, что статья публиковалась лишь «в порядке дискуссии», а в качестве ответа на нее в том же номере была помещена статья некоего Г. Круссера «О революции, литературе и национализме в статье В. Правдухина», в которой оппоненту приписывалась опять-таки «великодержавная тоска по неделимой русской литературе».

С. Родов, А. Курс, А. Панкрушин и прочая «литературная шивера» действовали отнюдь не на свой страх и риск. Они были обеспечены солидной поддержкой московских рапповцев, а доносы о существовании «сибирской литературной реакции» направляли на имя заведующего отделом печати ЦК Якова Давидовича Драбкина, известного широким массам как Сергей Иванович Гусев. Доносы привели к определенному результату: был организован рапповский рейд в Сибирь, который возглавляла Анна Караваева, прочитавшая там несколько зубодробительных докладов на тему «борьбы за промфинплан и коллективизацию» и «призыва рабочих-ударников в литературу». Николай Николаевич Анов немного позднее вспоминал о своем романе «Азия», «зарезанном» в журнале «Красная новь», прямо связывая эту историю с выступлениями Караваевой о его творчестве на пленуме РоАППа. А еще через некоторое время хватку сей литераторши пришлось испытать и Павлу Васильеву.

Нервы у писателей сплошь и рядом не выдерживали, особенно при наличии «оргвыводов», принятых после соответствующей артподготовки. В резолюции бюро крайкома ВКП(б), посвященной «Сибирским огням», указывалось, что «наряду с известными достижениями... допущены серьезные идеологические ошибки», а о писателях, работавших в

«Сибирских огнях», говорилось, что они «занимались протаскиванием на страницы рабочей печати произведений с антисоветским, обывательско-мещанским содержанием, стихов с религиозными образами и националистически-шовинистическими аргументами».

Понятно, что у сибяпповцев проза Антона Сорокина, Ивана Абабкова, Вициана Итина, Николая Анова квалифицировалась как антисоветская. Дело доходило до того, что из очередного номера, уже печатавшегося в типографии, был изъят рассказ Юрия Бессонова «Три казни». О стихах и говорить не приходится: поэзия Мартынова, Маркова, Васильева, Черноморцева, Титова стояла поперек горла Курсу и компании.

6 сентября 1927 г. Иван Ерошин подал в Союз сибирских писателей заявление, в котором выразил свое осуждение правления Союза, вынужденного согласиться с резолюцией крайкома. «Обращение правления ко всем писателям, работающим в Сибири» он назвал капитулянтским и в знак протеста попросил исключить его из членов ССП. Вскоре он уехал в Москву, и более трех лет его стихи не появлялись в сибирской печати.

Уже через много лет Сергей Николаевич Марков с горечью вспоминал о своей новосибирской литературной эпопее:

В Сибири была очень хорошая обстановка. «Советская Сибирь» и «Сибирские огни» были неотделимы друг от друга. Что же получается в этой дружной семье? Появляется Курс, и начинается нечто страшное. Маленького роста человек, розовые глаза кролика, короткие ручки, лет сорока. Неплохой журналист, до Новосибирска трепался где-то в Нью-Йорке, основал течение анархистов-эгоистов...

В Сибири создается накаленная обстановка. Курс начал устраивать невероятные вещи. Этот маленький пегий наполеончик собирает комплот, во главе которого stanовятся первый секретарь крайкома Сырцов Сергей Иванович и уполномоченный представитель ОГПУ

по Западно-Сибирскому краю Заковский*, у которого лицо как бы было обсыпано мукой, из поляков, с какой-то сложной биографией...

Заковский (или другие, не помню кто) оглашает целый список: Анов, Сергей Марков, Иван Ерошин, Зазубрин, Басов — классовые враги. То есть судьба наша заранее предрешена...

Выходит через некоторое время новый журнал «Настоящее»... Настоящевцы казались нам какими-то авантюристами. Часть из них была связана с Америкой, об этом все знали, но как-то помалкивали. Был такой странный человек с фамилией Гиндин. Он был правая рука у Курса. Был какой-то Мусинов, Каврайский и другие ссыльные троцкисты из Москвы...

И я уехал из Новосибирска. Убежал.

Марков рассказывал все это, сообщая неизвестные многим детали и фамилии, но кое-что и опуская. Помимо «национал-шовинизма» ему и его друзьям ставился в вину антисемитизм, в котором обвиняли каждого, кто осмеливался возразить в чем-либо «революционерам» еврейского происхождения.

«Наша организация должна была представлять из себя политбюро в литературе», — говорил о группе «Настоящее» ее бывший член И. Шацкий, арестованный как троцкист, давая показания на допросах в 1937 г. в Омске. То, на что было способно это «политбюро», вспоминал тот же Марков спустя много лет: «Заковский потрясал книгой Ивана Ерошина, кричал: “За это надо расстреливать! У меня нет санкции, но я добьюсь”. Понятно, что все писатели разбежались. Ерошин в одежде нищего тайно покинул Новосибирск».

* Заковский Леонид Михайлович (настоящее имя — Штубис Генрих Эрнестович) родился в 1894 г. в Курляндской губернии. С февраля 1926 г. возглавлял ОГПУ Сибирского края, был начальником Особого отдела СибВО, обеспечивал безопасность Сталина во время поездки по Сибири. Впоследствии — комиссар безопасности 1 ранга, начальник ленинградского НКВД, организатор кровавых оргий в Ленинграде после убийства Кирова. Приговорен к расстрелу 29 августа 1938 года.

* * *

Васильев не принимал непосредственного участия в тогдашних литературных битвах, но и не стоял от них в стороне. Ему еще предстояло получить свою порцию затрепчин, а пока он с увлечением работал над стихами, читал запоем, общался с друзьями, привыкал к кутежам в теплых компаниях и напряженно всматривался в жизнь Новосибирска, прозванного Сибчикаго.

«Отовсюду пришли в Новосибирск новые люди, — писал в романе “День второй” Илья Эренбург. — Жилья для них не было. Они строили лачуги и копали землянки. Их поселки назывались “Нахаловками”. Новые люди и впрямь были нахальны: они хотели во что бы то ни стало жить. Новосибирск стал областным центром... Появились в городе “форды”. Сотрудники ОНО и “Лесотреста” ходили теперь с ярко-малиновыми губами. В театре ставили пьесы Шекспира и Киршона... В клубе имени Ленина состоялось совещание красных эсперантистов. Открылся “ресторан повышенного типа” с водкой и музыкой... На окраинах было ветрено и пыльно. На окраинах люди рыли землю, и редактор “Советской Сибири” острил: “В Америке небоскребы, а у нас землескребы”.

Город мечтал о новой Америке. Начали строить большие дома: это был Новый свет — каким его показывают на экране. Жители говорили о своем городе: “Это сибирский Чикаго” — и, желая даже в шутке соблудности стиль, они поспешно добавляли: “Сибчикаго”. Дома были сделаны по последнему слову моды. Они казались выставочными павильонами, но в них жили люди. Их строили второпях, и через год они покрывались старческими морщинами...

Приезжали мечтатели из Иркутска, из Барнаула, из Тобольска: они искали удачи. Из Москвы приезжали лекторы, певцы и жокеи. Появились гербы иностранных консульств. Люди слетались из окрестных деревень на яркий свет управлений, трестов и кино».

«Сибчикаго» — это слово звучало тогда в каждом закоулке наспех строящегося города, который воспринимал себя как будущую столицу «Новой Америки», отдельной от России. Настроения эти возникли сразу после революции, когда страна была разорвана на части Гражданской войной, но нельзя сказать, что сама идея сибирской автономии не имела под собой почвы. Впервые прокламация «К сибирским патриотам» была распространена еще в 60-е гг. XIX в. В этой прокламации провозглашался курс на вооруженное восстание и утверждалось, что «в Сибири легко и прочно водрузится священное знамя независимости, свободы и прогресса», под которое встанут «раскольники и инородцы, и горнозаводские крестьяне, и приисковые рабочие... враждебные России киргизы и воинственные народы Средней Азии». Предполагалось для организации восстания призвать на помощь американцев, с которыми сепаратисты рассчитывали расплатиться частью Сибири.

Авторами сей декларации, как и лозунга «Сибирь для сибиряков!», были Потанин и Березовский. Григорий Николаевич Потанин был личностью достаточно известной. Крупный исследователь Центральной Азии и Сибири, участник экспедиций в Монголию, Туву, Тибет и Китай, он в 1886 г. был награжден Константиновской медалью — высшей наградой Русского географического общества. К этому времени он уже являлся одним из главных деятелей сибирского областничества.

Кончилось это дело, впрочем, тем, что его отправили на трехлетнюю каторгу в Финляндию, а остальных «областников», его единомышленников, — на северное поселение.

Кончилось? Как бы не так!

В октябре 1917 г. доживший до революции Потанин был избран на Первом Сибирском областном съезде председате-

лем Исполнительного сибирского комитета, который разрабатывал конституцию и структуры государственного устройства будущей сибирской автономии. Мыслилось создание Сибирских Соединенных Штатов — по образу и подобию Соединенных Штатов Америки.

27 января 1918 г. Сибирский областной совет был преобразован во Временное Сибирское правительство, поставившее своей главной задачей борьбу с большевиками, которые историческим ходом событий превратились в единственную силу, способную удержать разрываемое на части государство. Это правительство подчинилось Колчаку, а после разгрома Верховного правителя бежало в Иркутск. Последние известия о нем относятся к 1920 г. Тогда прекратил свое существование Политцентр, образованный из остатков сибирского правительства.

Как вспоминал некоронованный король сибирских писателей Антон Сорокин, «сибирская литература... до самой революции группировалась около сибирского патриота Потанина... идеи Потанина сибирские писатели воплощали в художественные образы». Впрочем, и после революции принципиальных изменений здесь не произошло. Идеей сибирской автономии в той или иной степени были заражены многие из писателей, объединившихся вокруг «Сибирских огней». Ярым ее апологетом был в то время Леонид Мартынов.

В 1932 г., давая показания в ГПУ, он не столько отвечал на вопросы следователя, сколько излагал свою «идейную программу» в следующих выражениях:

В основе идей областничества лежала мысль о невозможности для Сибири развернуть все свои богатства, экономически и политически оформиться в тех условиях, в которых она находится. Поэтому смысл разговоров о независимости Сибири заключается именно в том, чтобы обеспечить условия, максимально

благоприятствующие разворачиванию всей потенциальной мощи Сибири как по линии природных богатств, так и по линии человеческого материала.

Эти условия мною мыслились как обеспечение свободной борьбы свободных предпринимателей и исследователей с мощной природой Сибири на основе применения последних достижений науки и техники, результатом чего должна быть победа и торжество сильнейших. Пробразом такой борьбы сильных может явиться история освоения Америки, в частности, история освоения Аляски и Клондайка. Политическое и хозяйственное руководство должно сосредотачиваться в руках людей, проникнутых идеей завоевания и освоения Сибири и представляющих собой лучших и сильнейших индивидуумов, идейно сплоченных и возглавляемых лучшими из лучших, авторитет которых свободно и законно признается остальными...

Новая Сибирь, Сибирь будущего... это прежде всего Сибирь, переставшая быть провинцией, переставшая быть колонией.

Это страна, ставшая сердцем мира. Сибирь — все естественные возможности которой развернуты до предела на основе высочайших достижений индустриальной и аграрной техники.

Население этой страны, развернувшее все естественные возможности, — это особая порода людей засухо- и морозоустойчивых — в прямом и переносном смысле этих определений. Эта порода людей создается из сочетания высоких социально-психологических и моральных качеств двух основных людских групп.

Во-первых, характеризованное в моих предыдущих показаниях коренное сибирское население, и во-вторых — это переселившиеся в Сибирь выходцы из различных народов, населяющих СССР и прилегающие к нему страны...

Развитие этой страны дает общему развитию всего СССР направление к Востоку, к Тихому и Индийскому океанам. Именно в Сибири и в Средней Азии будут создаваться новые огромные культурно-политические центры, влияние которых будет содействовать освоению Востока и Юга Азии...»

Здесь ощутима явственная переключка с декларациями Антона Сорокина, который также высказывался вполне недвусмысленно: «...и я, Антон Сорокин, верующий в Великую Сибирь, нес все насмешки, все издевательства... я предчувствовал, что в лучших сибирских людях бьется великий патриотизм, великая национальная гордость... и только на это я положил всю надежду мою, все труды мои, всю веру мою», и был убежден в том, что «только свободная страна Сибирь даст силу и мощь... одряхлевшей России»... Другое дело, что Сорокин не доходил до крайностей областничества, в которые устремлялся Мартынов, будучи по мировоззрению западником и, как он сам себя называл, «разведчиком» и «конкистадором», открывающим новые Эльдorado — экономические и политические. Футурист и урбанист по убеждению, он, пожалуй, единственный из «сибирского поэтического содружества», был ярким сторонником коллективизации. Определенное влияние он оказывал и на Васильева, который писал тогда и такие стихи:

**Сибирь, настанет ли такое,
Придет ли день и год, когда
Вдруг зашумят, уставши от покоя,
В бетон наряженные города?**

**Я уж давно и навсегда бродяга.
Но верю крепко: повернется жизнь,
И среди тайги сибирские Чикаго
До облаков поднимут этажи.
<...>**

**Все дальше вглубь теперь уходят звери,
Но не уйти им от своей судьбы.
И старожилы больше уж не верят
В давно пропетую и каторжную быль.**

**Теперь иные подвиги и вкусы.
Моя страна, спешి сменить скорей
Те бусы
Из клыков зверей —
На электрические бусы!..**

Но если в Новосибирске Мартынов оказался во многом литературной белой вороной, то в Омске, в «сорокинском салоне», он был отнюдь не одинок в своих воззрениях. В то время как сам Сорокин называл футуризм «производством литературного суррогата» и признавался, что использовал это литературное течение лишь «для пропаганды своих мыслей», художник и поэт Виктор Уфимцев, с которым, кстати, был хорошо знаком и которому посвящал стихи Васильев, яростно утверждал: «Прочь здравый смысл зловонной вони, — в безумстве страдном поем восторг; быстрее, быстрее летите, кони, — о футуризме здесь кончен торг». «Торг», впрочем, был далеко не кончен, и ожесточенные схватки на квартире Сорокина не прекращались ни днем, ни ночью, эстетические дискуссии при этом неизбежно перетекали в дискуссии политические.

Так повелось еще со времен Гражданской войны. Тогда в доме Сорокина сходились активный деятель советской власти А. Оленич-Гнененко, ярый сторонник большевиков Всеволод Иванов — и редактор колчаковской газеты А. Будеев, высокопоставленный чиновник колчаковской администрации В. Язвицкий, контрразведчик и редактор еще одной белогвардейской газеты «Вперед» Янчевецкий (в типографии этой газеты, между прочим, Сорокин и Вс. Иванов отпечатали «Симфонию Революции», и там же был издан первый сборник рассказов Иванова «Рогульки» — богатой на парадоксы была эпоха революционной неразберихи!). Тогда же Мартынов работал над поэмой «Золотой легион» — о чешских легионерах, соратниках Гайды, которую он потом считал бесследно пропавшей и которая сравнительно недавно нашлась в архиве Антона Сорокина.

**На родину шел Золотой легион,
Свободный чешский отряд.
Ах, кто не запомнит
тех ярких знамен,
Тех статных и сильных солдат.**

<...>

**Так долго тянулася чужая земля.
И нежные жены солдат,
Невзгоды и радости с ними дея,
Сопровождали отряд.**

**Но около моря, в китайском порту
Взошел на корабль легион,
Блудливым китайцам
отдав красоту
Покинутых русских жен.**

**Хоть льется вино и весел смех
И благоден южный зной,
Но: «Чую, товарищ, —
сказал чех, —
Что мы не вернемся домой.**

<...>

**Узнал я, то тени покинутых жен,
Оставленных там.
Я чую, погибнет наш легион.
Россия идет по пятам».**

<...>

**Мертвящим огнем
содрогнуло туман.
Ударило только раз.
— Спасайся, кто может, —
вскричал капитан, —
Корабль утонет сейчас.**

**Но вскрипнуло в блоках.
Заело концы,
И, кинувшись в шлюпку одну,
Все чехи погибли,
не как храбрецы,
Как стадо пошли ко дну.**

...Многие из собравшихся в «Сибирских огнях» еще помнили Омскую директорию, членов Сибирского правительства и самого Верховного правителя России — адмирала Колчака, к личности которого у наших поэтов сохранялся обостренный интерес — как к последнему «конкистадору» на земле бывшей Российской империи.

Колчак сам писал о себе как о «кондотьере», то есть наемном военачальнике, в письме к А. В. Тимиревой:

«17 (30) июня я имел совершенно секретный и важный разговор с послом США Рутом и адмиралом Гленноном... я ухожу в ближайшем будущем в Нью-Йорк. Итак, я оказался в положении, близком к кондотьеру...» Адмирал не строил никаких иллюзий, когда во время тайного пребывания в Лондоне обсуждал вопрос «спасения» России с министром иностранных дел Великобритании и в США — с президентом Вудро Вильсоном и когда получал «инструкции и информацию от союзных послов»... Провозглашение его в Омске Верховным правителем России было конкретным результатом этих переговоров. Колчак совершенно естественно воспринимал себя как прямого ставленника Запада, получая щедрое снабжение оружием и обмундированием для войск под залог трети золотого запаса России.

Стоит ли удивляться тому, что Омск в период колчаковского правления был наводнен иностранцами? Очевидец тех дней Николай Анов вспоминал впоследствии:

Много было чехов, англичан, американцев, французов, сербов, поляков. Сибирская столица жила шумной веселой жизнью. Кабаки, рестораны, кафе, магазины не могли вместить нарумяненных беженок и офицеров в лихо заломленных фуражках. Английские френчи, галифе, казачьи лампасы, золото и серебро новеньких погонов, кавказские черкески придавали своеобразный вид проспекту, украшенному сибирскими бело-казачьими флагами.

Весь этот «интернационал» красочно воспроизведен в стихотворении Сергея Маркова «Отступление интервентов из Сибири», написанном в 1927 г.

**Сторожат револьверы
Вход в Особый Вагон.
Пьют в купе берсальеры
Голубой самогон.
<...>**

**Долговязые чехи —
Все мундиры в грязи, —
За свинцовым орехом
Вдоль состава ползи!**

**Шутят в польском отряде:
— Будет славный парад —
В трехдюймовом снаряде —
Дорогой шоколад!**

**И зачем дожидаться
Нам больших именов, —
Если лезут канадцы
К сибирячкам в овин?
<...>**

**Что сибирские версты?
Отступай на Баджей!
Милосердные сестры
Провожают мужей.
<...>**

**Под наганом тупея,
Обрывай ордена,
Ледяная Помпея,
Голубая страна.
<...>**

**Становись за вагоны!
Итальянцам не в толк,
Что доест макароны
Пятый Ленинский полк.**

**Загадай-ка на счастье,
Скоро ль будет капут?
Ведь латышские части
Белых в плен не берут.**

Сам же Колчак предстал перед поэтами в романтическом ореоле — как последняя блестящая и несостоявшаяся надежда на возрождение Российской империи, абсолютно неоправданная, но оттого еще более притягательная, а предательство его чехами и западными союзниками, его трагическая гибель только придавали яркости этому ореолу.

Леонид Мартынов хорошо помнил эпоху колчаковщины в Омске, был лично знаком с омскими поэтами — убежденными сторонниками адмирала, такими как Георгий Маслов, умерший от тифа в 1920 г., Юрий Сопов, погибший при

взрыве бомбы в колчаковской приемной (Николай Анов был, впрочем, убежден, что Сопов — коммунист — втерся в доверие к Колчаку по заданию подпольщиков и погиб при неудачной попытке совершить покушение), Игорь Славнин, умерший спустя десятилетия в эмиграции («Ах, пройти бы мозольными грязными лапами по склоненным нежным хребтам...»)... О них обо всех он написал статью «Поэты в стане Колчака» («Рабочий путь», 13 января 1929 г.), где «во главе колчаковской поэзии» стоят «певучий обыватель» Маслов, «божий мальчик» Славнин и «черный гусар» Сопов. «Это враги, с которыми не борются, — их просто отбрасывают»... А ведь совсем еще недавно писал стихотворение «Вдохновителю», посвятив его «врагу» и «божьему мальчику» Игорю Славнину: «Одним и тем же знаменам / мы отдали нашу юность, / мы отдали имена. / Под знаменем бело-зеленым / над бело-зеленой трибуной / кривлялась душа одна»...

Своеобразный портрет самого Верховного правителя Мартынов оставил в поэме «Адмиральский час», позднее, к сожалению, неоднократно переделанной.

Померк багровый свет заката,
Громада туч росла вдали,
Когда воздушные фрегаты
Над нашим городом прошли.
Сначала шли они как будто
Причудливые облака,
Потом — они взорвались бунтом
И мужика, и Колчака.
А после — Омск. И пыльный май.
Киргиз трясется, желт и глянец.
Его узорный малахай —
Экзотика для иностранцев.
Самарцы в каждом кабаке
Свой «шарабан» горланят хором.
И о великом Колчаке
Бормочет пьяный под забором.
Но адмирал и впрямь велик,
Жесток и крут его язык.
Он раздавил эсерский вздор,
Он положил конец кагалу.
И вот крадется, словно вор,

Посол казачий к адмиралу.
О том доносчики молчат,
И знают старые вояки,
Что волк морской степных волчат
Готовит к битве, а не к драке.

Он говорит: «Здесь скот, руда,
Экономическая база.
Здесь Атлантида. И сюда
Сначала надо водолаза,
Разведать эту глубину:
Она возвысит всю страну.
Богатство — здесь, Россия — здесь.
И наша жизнь, и наша честь...»
<...>
Еще и знать не может он,
Что будет предан, будет продан,
Что банкам лондонским в угоду
На пулю красных обречен...

Мартынов писал портрет сильной личности, железной рукой обуздывающей мужицкий бунт и затыкающей рот болтунам-эсерам, берущей все вокруг себя в железные рукавицы, дабы понятие «Россия» ассоциировалось с понятием «Сибирь», — портрет любимого им романтика-первопроходца, «засухо- и морозоустойчивой личности»... Евгений же Забелин преклонялся перед Колчаком не столько как перед воплощением некоей идеи, сколько как перед героем, не склонившим в последний час головы перед палачами.

Полковники не слушали твой зов,
Бокальный всплеск укачивал их сонно,
Созвездия отгнившего погона
Им заменяли звезды коньяков.
<...>
И золотилась Азия, как сон,
И набухала мерзостью Европа.
А ты от злобы морем был спасен,
В полярных льдах прокладывая тропы...
Приблизилась военная гроза,
Рождались дни, как скорченные дети.
От них, больных, в витринах
на портрете
Старели адмиральские глаза.
<...>

**Перехлестнул, стянул, перехлестнул
Чеканный круп неконченного рейса.
Жизнь сволочнулась ртом**

красногвардейца,

**Вся в грохоте неотвратимых дул.
Душа не вынесла. В душе озноб**

и жар.

Налево — марш к могильному откосу.

**Ты, говорят, опелив папиросу,
Красногвардейцу отдал портсигар.
Дал одному солдату из семи.**

**Сказал: «Один средь провонявшей
швали,**

**На память об убитом адмирале,
Послушай, ты, размызганный, возьми!»**

Уже в Москве 7 марта 1932 г., давая показания следователю ГПУ, Забелин подробно рассказывал о своем очаровании личностью Колчака и симпатиях к нему и к его режиму, царивших в семье поэта. Стоит привести его слова из протокола допроса, отделяя зерна от плевел, то есть фактическую основу от вынужденного самоговора.

Происхожу из семьи священника Николая Савкина, человека, настроенного антисоветски. При Колчаке я учился в коммерческом училище. В моей семье колчаковщина была воспринята именно как фактор спасения многострадальной, измученной родины... Я полностью воспринял все эти настроения, которые у меня остались вплоть до выхода из группы сибиряков... При Колчаке я никакой непосредственной работы не вел, но все мероприятия Колчака (расстрелы большевиков, рабочих и крестьян) воспринимались мной с энтузиазмом. Я считал до 1931 года Колчака вторым Наполеоном и так к нему относился... Расстрел Колчака мною был воспринят очень болезненно...

Пожалуй, самое интересное в этих показаниях — упоминание о Наполеоне. Колчак ассоциировался у молодых поэтов именно с великим корсиканцем, пришедшим к власти на волне термидорианско-

го переворота. Адмирал, упразднивший Директорию и разогнавший «эсеровских болтунов», казался им новым своеобразным воплощением знаменитого полководца. Да о чем тут говорить, если будущий президент Академии художеств Борис Иогансон служил у Колчака, писал его портреты и принимал участие в допросах коммунистов (по памяти и написал свою знаменитую картину «Допрос коммунистов» уже в 1933 г.), а будущий революционный скульптор И. Э. Шадр, по воспоминаниям Сорокина, готовил «проект коронования адмирала Колчака в Москве и проект памятника в честь освобождения Сибири»... У Сергея Маркова в этот период стихи о трагедии якобинского террора соседствовали с небольшой поэмой «Полярный адмирал Колчак», в которой приговоренный к смертной казни Верховный правитель предстал в образе рыцаря без страха и упрека, в каждом жесте которого ощущалось развенчанное величие.

**Помню стук голодных револьверов
И полночный торопливый суд,
Шпагами последних кондотьеров
Мы эпохе отдали салют.**

**Ведь прошли, весь мир испепеляя,
Дерзкие и сильные враги,
И напрасно бледный Пепеляев
Целовал чужие сапоги.**

**Я запомнил те слова расплаты,
Одного понять никак не мог:
Почему враги, как все солдаты,
Не берут сейчас под козырек?
<...>
Думал я, что грозная победа
Поведет тупые корабли, —
Жизнь моя, как черная торпеда,
С грохотом взорвалась на мели...**

**Чья вина, что в злой горячке торго
Я не слышал голоса огня?
Полководцы короля Георга
Продали и предали меня.**

**Я бы открывал архипелаги,
Слышал в море альбатросов крик.
Но бессильны проданные шпаги
В жирных пальцах мировых владык.**

**И тоскуя по морскому валу,
И с лицом, скоробленным, как жесть,
Я прошу: отдайте адмиралу
Перед смертью боевую честь!
<...>**

**Я плыву проливами тумана,
Под ругой кипит студеный вал.
В темные объятия океана
Должен возвратиться адмирал!
<...>**

**Я уйду на дно железным грузом,
Успокоив сердце навсегда.
И тогда, как синяя медуза,
Вскольхнется пьяная звезда...**

* * *

Васильев слушал стихи своих друзей, вспоминая при этом рассказы отца, в которых облик Верховного правителя рисовался совершенно иными красками... Павел не разделял романтического взгляда на «последнего конкистадора», да и творческие устремления его в этот период лежали в совершенно иной плоскости. Властное влияние стихов Есенина постепенно проходило, он нащупывал свою тему, обретал свой язык и примером для себя брал Пушкина с его объемным взглядом на мир и ясностью поэтической речи... Он неумело пытался подражать Пушкину еще в школьные годы — со временем совершалось все более глубокое усвоение пушкинского стиля, разнообразия и богатства пушкинского мира... В шестом номере «Сибирских огней» за 1928 г. появилось васильевское стихотворение «Пушкин», с которого, собственно, и начинается его серьезная поэтическая работа. Последние минуты жизни поэта перед дуэльным поединком переданы с сильнейшим душевным напряжением, перевоплощение Васильева в своего героя здесь совершенно органично и за-

ставляет говорить не просто о глубинном проникновении в образ, но о собственном переживании кратковременности бытия и предощущении скорого конца... Васильев впервые достигает здесь той слитности автора и героя, которая станет потом его «визитной карточкой» и вызовет массу нареканий, когда автор будет перевоплощаться в героев куда более одиозных.

**Вот здесь встречал, в толпе других,
не раз...**

**И вдруг его в упор остановил
Простой вопрос, должно быть,
темных глаз**

И кисть руки у выгнутых перил.

**Конечно, так! Он нежность не увез!
И санки вдруг на крыльях глубины,
И в голубом церемониале звезд —
Насмешливый полупоклон луны.**

**И санки вкось. А запад ярко хмур.
Сквозь тихий смех:**

— Какой невольный час...

**Даль зеркала и пестрый
праздник дур**

И дураков. Не правда ли, Данзас?

**Усталый снег разрезан мертвой
веткой,**

Пар от коней.

— Нельзя ли поскорей... —

**И ветер развевает метко
Трефовый локон сумрачных кудрей.**

Последнее воспоминание о женщине, да нет, не о женщине, и даже не воспоминание, а тень его, видение, поселяющее в душе легкость и умиротворение в последние минуты жизни перед несколькими шагами навстречу судьбе, обусловленными дуэльным кодексом.

Последний знак...

Судьба? Ошибка? — Вздор!

**Раздумья нет. Пусть набегает мгла.
Вдруг подойти и выстрелить в упор
В граненый звон зеленого стекла.**

**И темный миг знакомых юных глаз,
Который вдруг его остановил...
— Вы приготовились?
...И дорогая...
— Раз!**

**У тонких и изогнутых перил.
Ведь перепутались,
вдруг вспомнившись, слова,
Которые он вспомнил и забыл.
— Вы приготовились?..
...То нежность, что ли?
— Два!**

**У стынущих причудливых перил —
Вот в эту тьму багровую смотри!
Ты в этом мире чувствовал и жил.
...Бег санок легких, прозвеневших...
— Три!**

**У ускользящих, остынувших
перил.**

Ощущение кратковременности земной жизни побуждает взять у нее все, что можно, в кратчайшие сроки. Молодая энергия выплескивается наружу без остатка, работа запоем не удовлетворяет — все кажется, что сделано слишком мало. Плоть требует своего, а душа рвется навстречу все новым и новым впечатлениям.

Павел особенно сдружился в эти месяцы с Николаем Титовым, выходцем из Колывани, у которого было две страсти в жизни — лошади и поэзия. На этой почве они и сошлись, став закадычными приятелями.

Титов был профессиональным жокеем на новосибирском ипподроме и своим человеком в «Сибирских огнях», где Анов, Феоктистов, Мартынов сразу оценили его свежие, молодые, талантливые стихи... Частым гостем на ипподроме был и Васильев, сплошь и рядом ребята проводили время в доживавших последние дни нэповских кабачках и ресторанчиках, попеременно ввязываясь в легкие скандалы, что заставляло старших друзей недовольно качать головами.

«С весельем кубок поднимали, анализируя до дна...» — писал Васильев еще в школьные годы, весело пародируя Пушкина. Это «анализирование» приняло в Новосибирске не то чтобы уж вовсе неумеренный (Павел никогда много не пил), но какой-то лихой и бесшабашный характер. Образ поэта требовал соответствующего «оформления». Кстати сказать, судя по отзывам современников, не менее лихо и бесшабашно, со ссылками на классиков, вел себя и молодой Юрий Домбровский.

Позже Николай Анов вспоминал, что он и Николай Феоктистов, озабоченные тем, что «пропадают ребята» и «надо спасти талантливых поэтов», решили отправить двух друзей в путешествие по Сибири и Дальнему Востоку. Думается все же, что причина такого решения была серьезнее. Атмосфера в Новосибирске накалялась с каждым днем и становилась буквально невыносимой. Терпеть выходки Курса, поддерживаемые Сибкрайкомом, становилось все труднее, и «сибиряки» один за другим покидали Сибчикаго. Анов отправлял молодых ребят подальше из опасения за их судьбу, понимая, что дальнейшее пребывание в городе грозит им самыми неприятными последствиями, а кроме того, дает великолепный повод тому же Курсу обвинить писателей еще и в насаждении «богемных нравов».

29 августа перед отъездом друга пришли к Анову и распрощались с ним стихотворными экспромтами.

**Ты предлагаешь нам странствовать
С запада багряного на синий восток.
Но не лягут дальние пространства
Покорными у наших ног.
<...>**

**Ты сулишь нам просторы
Антарктики,**

**Ну а мы в дыму папирос
Будем думать о старой романтике
Золотых на ветру берез.**

**И разве буйство зашумит по-иному,
Если россов затянут в притон
И дадут по бутылке рому,
А не чашками самогон?**

**И когда, проплывая мимо,
Ночь поднимет Южный крест,
Мы загустим вдруг о наших**

любимых

Из родных оставленных мест.

Васильевскую лирическую ностальгию перебил ироничный Титов, посвятивший Анову четверостишие, во многом оказавшееся пророческим:

**Не будем же, друзья, грустить
О том, что если в дымной рани
Вдруг будущее на пути
Участком милицейским станет.**

...Города сменяют друг друга, как в калейдоскопе: Чита, Иркутск, Сретенск, Благовещенск, Верхнеудинск, Хабаровск... Об одном эпизоде этого странствия хочется рассказать чуть подробнее.

Однажды я получил письмо от замечательного поэта из Читы Михаила Вишнякова, которое стоит привести в солидных выдержках.

Мой отец, Вишняков Евсей Перфилович, солдат Первой мировой, затем служивший по мобилизации у белых, закончил «гражданку» у красных. Его первая жена Василиса после побоев не то белыми, не то красными болела и умерла. Отец с горя (сильно любил) долго не женился. Но как содержать хозяйство? Старуха-мать не управлялась. Наконец отец откипел сердцем, женился на моей матери, стал поправлять хозяйство. Надо было купить коня. Он собрал деньги и поехал в Сретенск. Вернулся без коня и без денег — прогулял с каким-то Васильевым Пашкой. На базаре, где выбирали коней...

Об этом эпизоде сам отец отзывается глухо (м[ожет] б[ыть], влип-

ли в милицию?). Но бабушка еще в 1952—1953 гг. ругалась сильно... У нас дома хранился кушак, которым во время той пьянки «Пашка Васильев обменялся со мной» (слова отца). Этот кушак сейчас у меня в доме как реликвия об отце. Наши староверы на вопрос — это староверческий или казацкий кушак? — определенного ответа дать не могут: может так, может этак...

Я думаю, что отец — трезвенник в те годы — вряд ли бы стал пропивать деньги на покупку коня, если бы не было какой-то причины. Тяжко трещала крестьянская, староверческая кость в те годы. Отец, бывший в белых, принял красных, но коммунист, советских, комбедовцев не любил до смерти в 1972 г. И мне советовал. Они могли о многом говорить. М[ожет] б[ыть], Павел посоветовал не покупать коня, чтоб не попасть в кулаки и не загреметь на Кольму? Вообще, отец был очень молчаливым человеком. Его бросали «на прорыв» в пред[седатели] колхоза, но потом сразу же, как появлялся заезжий коммунист, изгоняли в крестьяне. А зачем он, бросив землю, лет 5—8 возил грузы вверх по Нерче для какой-то кооперации? Иконы в нашем доме стояли до 1972 г. Заезжие начальники резко выговаривали за это, но он ссылался на «темноту» бабушки, матери, позже — мачехи.

О, сколько погребено в нашем прошлом! О скольком я сожалею: был мал и глуп, потом — вихорь пестрой молодости и т. д. О неприятии отцом моего «вхождения в корреспонденты» в 1966 году... «Сатанинское это дело».

В этом же письме Михаил Вишняков привел ссылку на номер газеты «Восточный забайкалец», где 26 октября 1928 г. было напечатано стихотворение Васильева «Урожай»... И ведь в каждом городе, где останавливались тогда два друга, есть газета с литературным отделом, где Васильев и Титов публикуют стихи, очерки, заметки, которые пишутся тут же, на скорую руку.

И — снова Дальний Восток. Дыхание Тихого океана. Зов дальних странствий. И полная неопределенность в будущем.

(Окончание следует.)

Сергей МОСИЕНКО

О БЛОНДИНКАХ И АНГЕЛАХ АЛЕКСАНДРА ШУРИЦА

— Привет, Саша... Чем занимаешься?
— Да вот в мастерской сидим с моей музой напротив чистого холста, размышляем — с чего бы начать...

Из телефонного разговора автора
с Александром Шурицем

Вот и я сижу над чистым листком бумаги и думаю — с чего начать рассказ о своем ушедшем год назад друге Александре Давидовиче Шурице, о Саше...

Я по старинке сначала пишу текст на бумаге, а уж потом доверяю его компьютеру. Так же поступал и Саша. Кстати, он очень интересно писал, заметки делал во время всех своих поездок и путешествий. Вот довольно эмоциональный отрывок из одной такой записи: «В 1993 г. в Амстердаме я наконец-то увидел “Ночной дозор” Рембрандта... Амстердам был залит светом рано заходящего декабрьского солнца. Вода каналов отражалась в больших окнах старинных домов, за стеклами которых текла неспешная голландская жизнь. Я был счастлив».

Этот текст Саша поместил на обложку каталога своих работ, изданного в 2004 г. — он не случайно так акцентировал и эту свою поездку, и это свое состояние. Впервые Шуриц оказался за границей не просто как турист, что бывало и ранее — во время поездок на Кубу по турпутевке или в Великобританию (туда его позвал старинный друг, школьный учитель Антон

Банток). В этот раз в Голландию Саша прилетел по приглашению фонда «Гуманитас» для проведения в Роттердаме большой совместной с голландцем Йосом Лойзе выставки «Европейские небеса». И выставка оказалась очень успешной: все работы были проданы! А Шурицу удалось побывать в Делфте и Амстердаме, где он и встретился лицом к лицу с «Ночным дозором» Рембрандта Харменса ван Рейна.

Спустя годы Саша вернулся к этой великой работе уже в Новосибирске во время занятий со школьниками в Городском центре изобразительных искусств: по его просьбе был изготовлен качественный баннер-репродукция «Дозора» в натуральную величину, а это 3,63х4,37 метра! Очарованные ребятишки под руководством Александра Давидовича копировали фрагменты этого шедевра, полное название которого «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтёнбюрга». Так благодаря Шурицу неожиданно и нестандартно встретились XVII век и век XXI.

* * *

Родился Шуриц на Дальнем Востоке в год окончания Второй мировой, в начале января, в далеком и провинциальном Биробиджане. Сегодня в музее города собрана внушительная коллекция работ мастера, а тогда рыжеволосый еврейский мальчик Исаак (именно такое имя получил он при рождении) еще не знал, кем он станет, когда вырастет. Отец был школьным учителем физкультуры, мама — банковским работником. Согласитесь, обе профессии далеки от той, которая досталась их Исааку...

Очень надеюсь, что со временем наши искусствоведы обязательно напишут подробную биографию Александра (он выбрал себе это имя уже будучи студентом: уж больно экзотически в то время выглядело словосочетание «Исаак из Биробиджана»), а мы в силу ограниченности журнального пространства пропустим жизненную цепочку «художественная школа — педучилище — Строгановка — армия» и сразу же окажемся в 1969 г. в Новосибирске.

После окончания знаменитой Строгановки (ныне — Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова) и отданного воинского долга Шуриц «распределился» в столицу Сибири абсолютно по собственному желанию и прибыл сюда аккурат 20 июля — в день высадки американских астронавтов на Луну. Потом, в 1979 г., он создаст темперой большую многофигурную композицию «Воспоминание о 20 июля 1969 года», где будут изображены и американский астронавт, и Иисус Христос, и Мария Магдалина, и... Он покажет эту работу одному из выставкомов местного отделения Союза художников СССР.

«Выставком единодушно и сурово отверг мое живописное откровение. С тех пор мой путь в союз был тернист и мучителен», — с горечью вспоминал Саша. Членом творческого союза он станет только в 1982 г., и то лишь после отправленной в Москву апелляции: не горели

желанием новосибирские коллеги принять его в свои ряды...

* * *

Вот назвал я очерк «О блондинках и ангелах Александра Шурица», но все никак не могу перейти к выбранной теме и посему опускаю довольно большой и яркий кусок жития мастера, связанный и с работой дизайнером в Специальном художественно-конструкторском бюро (СХКБ), и с книжной графикой (а это более ста оформленных им книг для детей и юношества, научно-фантастических книг, сборников стихов, сказок, художественной литературы) — на протяжении двадцати лет он сотрудничал с Западно-Сибирским книжным издательством в одной обойме с такими мастерами, как Гороховский, Авдеев, Калачев, Аврутис, Колесников...

Но стоп! Дальше только о блондинках и ангелах! В начале 1990-х Александр окончательно уходит в живопись (только холст, масло) и постепенно формирует для себя несколько творческих направлений: библейские сюжеты, языческая мифология, городские мужские и женские типажи, пейзаж (часто навеянный зарубежными поездками), портреты конкретных людей (в основном заказные). Конечно, среди сотен его работ есть и другие сюжеты, но именно блондинки и ангелы дают то «послевкусие», которое остается у зрителя от посещения его выставок. Это Сашино ноу-хау. Это несомненный его конек, хотя, пожалуй, в данном случае сравнение не совсем уместное.

Ангелы в работах Шурица появляются всюду: они висят над персонажами, скромно размещаются в углу композиции или откровенно являются героями сюжета. У них разный характер, они по-разному выглядят, перед ними стоят разные задачи, но все они — ангелы Шурица и только Шурица. Говоря шершавым современным языком — фирменные ангелы Шурица. Иногда слово «ангел» попадает и в название работы: «Анатомия ангела», «Ангел ночного клуба», «Золотой ан-

гел», «Ангел парижского метро», «Визит ангела», «Ангел в декабре». Одна из его персональных выставок называлась «Ангел на снегу» (Саша обычно названия своим «персоналкам» давал по одной из ключевых работ). Кстати, его «Золотой ангел» в настоящее время прижился на алтарной стене храма Святого Христофора в Бристолле. Там же находится и парная к «Золотому ангелу» работа — «Мария Магдалина».

Об ангелах Александра Шурица хорошо сказал новосибирский публицист и литератор Сергей Самойленко: «О шурицевских ангелах впору писать трактаты. Понятно, что ангелы в его картины залетели как раз из старой живописи, но ясно и то, что в его мире они чувствуют себя комфортно и органично. Они очень современные ангелы...»

* * *

В творческой философии Шурица живописная образность, которой он надеялся ангелов, очень созвучна образам муз, творческих спутниц художников, этаким ангелов в женском обличье. Как и ангелы-хранители, музы, по теории Александра, были хранительницами, а точнее — даже охранницами субъективного мира художника.

Саша любил повторять: «Художник должен ежедневно бывать в своей мастерской, иначе его муза, обитающая там, обидится на него и уйдет к другому». Шутил так, надо полагать. В начале этого не очень связного повествования я уже вспоминал один из наших телефонных разговоров, где Саша упоминает свою гипотетическую музу.

Часто он сам, начиная телефонный разговор, опять же шутя, осведомлялся: «Как там твоя муза, не скучает? Не обижай ее, Сережа, трудись!» Сам он, конечно же, был неисправимым трудоголиком: ежедневно стоял у мольберта по 6—7 часов. На ехидные вопросы журналистов: «А как же вдохновение?» — он отвечал абсолютно серьезно: «Для профессионала не существует понятия “вдохновение”».

Художник — это не профессия, это мировоззрение».

Саша выдавал 5—6 новых работ ежемесячно. Работал обычно (он любил говорить — «красил») не мастихином, а каким-то старым обрубком ножа: наносил им краску на пространство холста, а потом дорабатывал изображение кистью. Получалось вроде бы небрежно, но в то же время изысканно! Такой вот свой неповторимый почерк. А какие забавные у него были палитры! Определенную краску он, как и полагается, выдавливал в определенное место, но после работы палитру не чистил, а новый слой краски наносил поверх старого — и так изо дня в день. В итоге с годами у него на палитре вырастали целые горные массивы разноцветных «алатау» (высота некоторых из них достигала 5—7 сантиметров!). Надо думать, что и на подобное «творчество» его тоже вдохновляли златокудрые музы.

Ну а земной музой Саши была, конечно же, его жена Тамара — главная блондинка в его творчестве. Очень многие женские образы его полотен так или иначе напоминают Тамару, и это не только мое мнение: ее черты угадываются и в героинях его цикла «Времена года», и в работе «Исполнение желаний» (где, кстати, над сидящей блондинкой висит, опять же, ангел), и даже в композиции «Зеленая лужайка», где блондинка вообще лежит к нам спиной на английском газоне в модных джинсах, но все узнают лежащую даму.

Надо сказать, что Тамара, олицетворяя собой земную музу мастера, круглосуточно обеспечивала безбедное существование его творческого эго: все хозяйственные, практические и экономические проблемы всегда решала она — она водила машину, приобретенную после удачной выставки в Голландии (Саша сразу сказал: «Там три педали, а у меня всего две ноги!»), занималась строительством дачи и сделала из нее, так сказать, конфетку, а кроме того, на Тамаре всегда лежала и организация турпоездки, и прием многочисленных гостей, и совместное

посещение театральных премьер и светских раутов. Саша просто ставился в известность — когда и куда они отправляются, и эта комфортность его абсолютно устраивала. Ну а уж хлебосольность Тamarы известна всем! И сейчас, когда Саши, увы, нет с нами, она дает вторую жизнь его полотнам: организует выставки в городах Сибири, ездит на их открытия, систематизирует коллекцию. Вот такая необычная блондинка сопровождала по жизни мастера...

* * *

Но вернемся к блондинкам на полотнах Шурица. Количество их огромно: тут и блондинки на пляжных просторах наших и не наших морей, и офисные блондинки, и блондинки-соблазнительницы, и блондинки-пуританки, и блондинки в голубом (розовом, белом, черном, серо-буро-малиновом), и блондинки на диванах, и в креслах, и в пейзажах...

Как и в истории с ангелами, некоторые работы Шуриц называл, делая акцент на слове «блондинка»: «Блондинка и шоколад», «Фуршет с блондинкой», «Блондинка для Эйнштейна», «Букет для блондинки», «Блондинка на вечер» — этот ряд можно продолжать бесконечно...

В последние годы его блондинки становятся все более лапидарными — ничего лишнего, однотонные фоны, простая одежда, лаконичные прически, минимум атрибутики. Но что любопытно — притягательность этих образов увеличивается. Вроде бы «ничего в ней нет», но при этом «а я все гляжу, глаз не отвожу»... Очевидно, в этом и состоит та неуловимая энергетика таланта (Божья искра?), которая одному мастеру свойственна, а другому нет: вроде бы все здорово, а не цепляет, драйва нет.

Шуриц, несомненно, такой энергетикой и драйвом обладал, возможно, даже до конца не осознавая этого. И еще одно наблюдение: его блондинки очень сексапильны. С обнаженными моделями все

понятно — тут сама природа способствует возникновению чувства греховного вожделения, но вот когда «натура» одета, строга, когда взгляд ее белых бездонных глаз (тоже ноу-хау Шурица) отстранен, тогда в чем же манящая привлекательность этих холодных блондинок? Намеки, акценты, нюансы, предчувствия? Но, думаю, здесь мы уже заримся на вотчину старины Фрейда...

Как-то я пошутил:

— Саша, сейчас появился праздник — 31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Не хочешь собрать всех своих и забахать «персоналку» к празднику?

— Не хочу лишать работы искусствоведов, должны же они чем-то заниматься после моей смерти!

* * *

Саши Шурица не стало в конце апреля 2017 г.; в эти дни на одной из выставочных площадок города проходила его очередная и, к сожалению, последняя «персоналка». Он назвал ее «Рандеву» (как всегда, по названию одной из работ). В буклете к выставке Саша писал: «Снег в этом году падал бесконечно долго, и черно-белый пейзаж за окном казался вечным. В конце февраля случилось путешествие в тропики. Яркие краски, шум моря, красные и желтые цветы, похожие на гладиолусы, полупустынный бесконечный пляж с желтыми шезлонгами — резкая смена пейзажа, который кажется сном...»

Теперь как фрагменты ярких невероятных снов мы вспоминаем выставки Шурица...

Урна с прахом Александра (Исаака) Давидовича Шурица покоится в колумбарии новосибирского крематория. На пластине, защищающей урну, изображен ангел с одной из картин Саши — так решила семья. Это его последний ангел...

А я еще долго не мог привыкнуть к отсутствию наших почти ежедневных телефонных диалогов...

АВТОРЫ НОМЕРА

Башкуев Геннадий Тарасович родился в 1954 г. в Улан-Удэ. Окончил филологический факультет Иркутского государственного университета. Прозаик, драматург. Пьесы поставлены в театрах РФ и ближнего зарубежья. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Современная драматургия», «Сюжеты». Член Союза писателей России. Живет в Улан-Удэ.

Гапоненко Константин Ерофеевич родился в 1933 г. в с. Трушки Киевской области. Летом 1951 г. приехал на Сахалин, где окончил среднюю школу, затем педагогический институт. Работал учителем, завучем, директором школы. Краевед. Автор нескольких очерковых книг. Лауреат премии Сахалинского фонда культуры и премии губернатора Сахалинской области. Живет в Южно-Сахалинске.

Кекова Светлана Васильевна родилась в 1951 г. на Сахалине. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета. Доктор филологических наук. Автор более десяти книг стихотворений, литературоведческих книг и статей, посвященных творчеству Н. Заболоцкого, А. Тарковского, В. Ходасевича, В. Набокова, Ф. Достоевского, философов Ф. Степуна и С. Франка, поэтов-обэриутов и др. Стихи Кековой переведены на все европейские языки. Лауреат многих литературных премий. Член Союза российских писателей. Живет в Саратове.

Куняев Сергей Станиславович родился в 1957 г. в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного университета. Критик, литературовед, заведующий отделом критики журнала «Наш современник». Автор ряда книг по литературоведению. Лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Мосиенко Сергей Сергеевич родился в 1948 г. в Латвии. В 1972 г. защитил экспериментальный диплом по художественному конструированию в Новосибирском электротехническом институте. В качестве художника сотрудничал с театрами, телевидением, книжными издательствами в городах Сибири. Участник более 300 выставок, конкурсов, художественных акций в России и за рубежом. Автор ряда статей в прессе и двух книг: «Картины сущего» и «ЗАО [Парк]». Творческое амплуа — живопись, графика, книжная и журнальная иллюстрация, плакат, карикатура. Член Союза журналистов России, член Союза художников России. Живет в Новосибирске.

Плитченко Александр Иванович (1943—1997) родился в с. Чумаково Куйбышевского района Новосибирской области. Работал заведующим отделом прозы в журнале «Сибирские огни», ответственным секретарем журнала; был главным редактором Новосибирского книжного издательства, главным редактором Сибирского отделения издательства «Детская литература»; с 1993 по 1997 г. возглавлял новосибирскую писательскую организацию. Автор нескольких стихотворных книг, а также ряда публицистических, прозаических и драматургических произведений.

Полторацкий Иван Сергеевич родился в Алма-Ате в 1988 г. Окончил Новосибирский го-

сударственный университет. Научный сотрудник Института филологии СО РАН. Публиковался в журналах «Аполлинарий», «Знамя», «Сибирские огни» и др. Автор нескольких поэтических сборников. Живет в Новосибирске.

Рысенков Василий Николаевич родился в 1966 г. в пос. Кречевицы Новгородской области. Окончил аграрный вуз, работал агрономом и учителем. В настоящее время преподает литературу и ряд других дисциплин в колледже Росрезерва города Торжка. Публиковался в журналах «Нева», «Москва», «Русская провинция», «Сибирские огни» и др. Автор шести сборников стихотворений. Член Союза писателей России. Живет в Торжке.

Самохин Николай Яковлевич (1934—1989) родился в с. Утянка Алтайского края. Окончил гидротехнический факультет Новосибирского института водного транспорта. Работал в проектно-институте, мастером на строительстве новосибирского Академгородка, журналистом. Был собкором «Литературной газеты» по Сибири, ответственным секретарем журнала «Сибирские огни». Автор двух десятков книг, признанный мастер рассказа и короткой повести, которые до сих пор заслуженно пользуются читательским успехом.

Сапрыкина Татьяна Валентиновна родилась в 1970 г. в Новосибирске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Публиковалась в журналах «Полдень. XXI век», «День и ночь», «Сибирские огни» и др. Автор сборника сказок для детей «Читалка». Лауреат конкурса фантастических произведений «Белое пятно», премии им. Н. Самохина. Живет в Новосибирске.

Смирнов Михаил Иванович родился в 1958 г. в г. Салавате. Образование среднетехническое. Печатался в «Литературной газете», журналах «Север», «Литературный Азербайджан», «Бельские просторы» и др. Автор двух книг прозы. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов. Живет в г. Салавате.

Швецова Мария Павловна родилась в 1986 г. в Усть-Каменогорске (Казахстан). Окончила факультет филологии и журналистики Восточно-Казахстанского государственного университета и факультет иностранных языков Новосибирского государственного университета. Работала журналистом в ряде изданий Восточного Казахстана. Преподавала английский язык в НГУ. Лауреат литературной премии им. Н. Самохина. Живет в Новосибирске.

Шелленберг Вероника Владимировна родилась в 1972 г. в Омске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор восьми стихотворных сборников и книги эссе и стихотворений о Горном Алтае «Под присмотром орла». Публиковалась в журналах «Арион», «День и ночь», «Дети Ра», «Сибирские огни», «Урал», «После 12» и др. Лауреат ряда литературных премий. С 2017 г. председатель Омского регионального отделения Союза российских писателей. Живет в Омске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 06.04.2018 г. Дата выхода № 5 за 2018 г. в свет 08.05.2018 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.